

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА



Никколо М

Москва

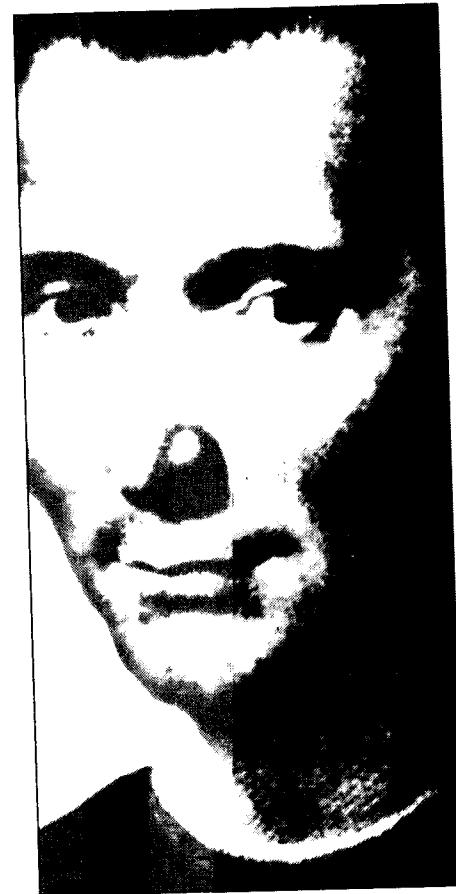
2002

X15

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА

Хазагеров Г. Г.

Никколо М



Москва 2002

НИИ
9664

ХАЗАГЕРОВ Георгий Георгиевич

Политическая риторика. – М.: Никколо-Медиа, 2002. – 313 с.

Книга доктора филологических наук Георгия Георгиевича Хазагерова представляет собой учебник по политическому красноречию, предназначенный для широкого круга людей, профессионально связанных с политической риторикой, а также для всех интересующихся публичным политическим словом. Наряду с теоретическими основаниями «Политическая риторика» Г. Г. Хазагерова содержит сведения по истории русского политического слова и анализ его современного состояния на материале предвыборных кампаний.

Издательство «Никколо-Медиа». 103031, г. Москва, ул. Тверская, д. 10, стр. 3.

Лицензия ИД № 02150 от 28.06.2000 г. Подписано к печати 21.01.2002 г.

Формат 60x90¹/₁₆. Тираж 1500 экз. Печ. л. 20. Зак. 9.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в типографии ГУП «Облиздат»,
248640, Калуга, пл. Старый торг, 5

ISBN 5-901488-04-0

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора	5
ВВЕДЕНИЕ.....	7
§ 1. Что такое риторика?	7
§ 2. Части риторики и их изложение в нашей книге.....	12
§ 3. Риторическое мышление	14
§ 4. Становление риторики. Кризис и возрождение риторики	18
§ 5. Специфика политической риторики. Специфика русской риторики ..	25
ЧАСТЬ I. АППАРАТ РИТОРИКИ.....	32
<i>Глава 1. Инвенция</i>	32
§ 1. Система доказательств в риторике	32
§ 2. Естественные доказательства	33
§ 3. Логические доказательства	36
§ 4. Доводы к пафосу	43
§ 5. Доводы к этосу	48
§ 6. Ссылка на авторитеты	53
§ 7. Общие места.....	57
<i>Глава 2. Диспозиция.....</i>	61
§ 1. Три подхода к композиции речи	61
§ 2. Принцип выдвижения. Отмеченные позиции	62
§ 3. Принцип выдвижения. Схемы выдвижения.....	68
§ 4. Композиция с точки зрения последовательности доводов.....	72
§ 5. Композиция с точки зрения инвариантных частей ораторской речи	77
<i>Глава 3. Элокуция.....</i>	85
§ 1. Принцип усиления выразительности и изобразительности.....	85
§ 2. Фигуры речи. Общие представления. Фигуры прибавления	89
§ 3. Фигуры прибавления. Неупорядоченный повтор.....	91
§ 3. Фигуры прибавления. Упорядоченный повтор	97
§ 4. Фигуры убавления	107
§ 5. Фигуры размещения	112
§ 6. Тропы речи. Тропы сходства	116
§ 7. Тропы смежности, контраста и тождества	123
§ 8. Грамматические тропы	131
§ 9. Фигуры мысли. Избыточность выражения	137
§ 10. Фигуры мысли. Контраст	145
§ 11. Звуковая сторона речи.....	156
ЧАСТЬ II. МИР УБЕЖДАЮЩЕЙ РЕЧИ И СУДЬБА РУССКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РИТОРИКИ	163
<i>Глава 1. Система убеждающих речей и становление русской ри- торической традиции.....</i>	163
§ 1. Ораторика и гомилемтика	163
§ 2. Символика и дидактика. Пропаганда.....	167
§ 3. Становление русской риторики	172

<i>Глава 2. Мир русской политической риторики</i>	178
§ 1. Становление русской оратории	178
§ 2. Политическая риторика эпохи Петра и Екатерины.....	181
§ 3. Революционная и охранительная символика	184
§ 4. Система убеждающих речей в ленинскую и сталинскую эпоху	190
§ 5. Убеждающее слово в послесталинскую эпоху.....	198
§ 6. Риторика фронды	203
§ 7. Риторика авторской песни шестидесятых – семидесятых годов .	205
§ 8. Политическая риторика и смех.....	208
§ 9. Избыток гомилетики и дефицит символики в ораторике девяностых годов.....	212
§ 10. Проблема окультуризования общественного публичного пространства.....	214
ЧАСТЬ III. ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РИТОРИКИ	217
<i>Глава 1. Риторический взгляд на предвыборные кампании.....</i>	217
§ 1. Риторическая и нериторические стратегии убеждения.....	217
§ 2. Политическая листовка и ее структура.....	222
§ 3. Анализ материала (листовка).....	225
§ 4. Политическое имя	231
§ 5. Политическая биография.....	235
§ 6. Анализ материала (биография)	240
§ 7. Политический лозунг в политической рекламе	246
§ 8. Анализ политического манифеста.....	252
§ 9. Анализ открытых писем	261
<i>Глава 2. Правильность политической речи</i>	273
§ 1. Литературный язык.....	273
§ 2. Норма литературного языка	277
§ 3. Орфография	280
§ 4. Пунктуация	283
§ 5. Орфоэпия	284
§ 6. Выбор грамматических форм	286
<i>Глава 3. Уместность речи</i>	287
§ 1. Функциональный стиль	287
§ 2. Высота стиля. Смешение стилей. Квазистилии.....	290
§ 3. Функциональная стилистика и культура речи	291
<i>Глава 4. Красота политической речи</i>	293
§ 1. Красота как качество речи.....	293
§ 2. Древнерусская литература как источник красоты политической речи.....	296
§ 3. Русская классическая литература как источник красоты политической речи	300
<i>Вместо заключения</i>	308
<i>Представление о наивной риторике</i>	308

От автора

Три вещи вдохновляли и подгоняли меня при сочинении этой книги.

Первая касается национальной традиции русской риторики. Яркое начало русского политического красноречия и его сегодняшнее едва ли не плачевное состояние одинаково наводят на мысль о том, что русская риторическая традиция сильна проповедью, речью обращенной к единоверцу и единомышленнику. Что же до умения апеллировать к колеблющимся или несогласным, то это, безусловно, не самая сильная сторона русского убеждающего слова. При таком положении дел комплементарная трактовка нашей риторики, приспывание ей какого-то особыго «диалогизма», встречающаяся у некоторых наших ученых, как и ее низкая оценка, констатация «монологизма» и «глухоты», господствующая в общественном сознании, равно бесполезны для риторической практики наших дней. Вот почему возникло желание взглянуть на русскую политическую риторику трезво, отдавая себе отчет и в сильных, и в слабых ее сторонах, имея целью не доказательство нашей безупречности или никчемности, но развитие нашей словесности.

Второе соображение, заставившее меня взяться за перо, – несоответствие той роли, которая принадлежит сегодня слову, положению, занимаемому в обществе риторикой. То, что громадная индустрия нашей политической рекламы зрымым образом игнорирует тысячелетнее риторическое наследие, довольствуясь крохами со стола современной психологии и отрывочными сведениями о западных политических технологиях – факт вопиющий. Мыши, которую рождает гора наших предвыборных кампаний, настолько тщедушна, что ей не по зубам не только риторическая культура, но и орфография с пунктуацией. Хотется, чтобы риторика и люди, занимающиеся политической речью, познакомились поближе.

И, наконец, третье. Низкая риторическая грамотность вредно оказывается и на говорящем, и на слушающем. Наше общественное сознание обладает столь скромным инструментарием для критического анализа политической речи, что сам этот анализ оказывается просто невозможным и подменяется бранью. В результате у потребителя массовой информации возникает впечатление о том, что все лгут, лгали всегда и будут лгать впредь. Надо ли говорить, что это порождает цинизм и апатию? Надо ли доказывать, что общество, зараженное подобными настроениями, недолговечно? Поэтому я радуюсь каждому шагу ритори-

ческого просвещения, возлагая надежду главным образом на школьное образование. Но хочется рассказать о политической риторике и тем, чьи поступки определяют лицо сегодняшней России, – политикам, спичрайтерам, рядовым избирателям.

Таковы были мои желания. Насколько они воплотились в жизнь, судить читателю этой книги.

Книга состоит из трех разделов. В первом я старался дать основы знаний по общей риторике, уделив особое внимание языковым риторическим средствам как разделу наиболее сложному и наименее разработанному в новых учебниках. Я пошел на это сознательно, понимая, что легче читать советы о том, как держаться перед аудиторией, чем вдумываться в тонкости языковых построений. Но искусство риторики предполагает в первую очередь владение языком. Второй раздел посвящен специфике русского политического красноречия. Я старался воспроизвести драму русской политической риторики, показать смену ее парадигм. Третий раздел целиком сосредоточен на анализе сегодняшней риторической культуры. Как особую проблему я выделил проблему красоты политической речи. Именно красоты остро не хватает сегодняшнему политическому дискурсу. Назвать этот дискурс «красноречием» просто не поворачивается язык.

Предлагаемая читателю книга – учебник. Можно закрыть его и раскрыть другой. Можно вовсе не учиться политической риторике. Но нельзя учиться не учась. Риторическая наука предполагает внутреннюю работу и в конечном счете способствует выделке души. В свое время античная риторика сделала из варвара цивилизованного человека. Публичное слово заставляло говорить ответственно и выглядеть достойно. И хотя каждый оратор всегда заинтересован в чем-то своем, все общество в целом заинтересовано в росте риторической культуры, в поиске цивилизованных форм для решения спорных вопросов. Хорошие ораторы – золотой запас общества. Их слова остаются в веках и помогают решать новые общественные проблемы. Об этом свидетельствует история. Спорить с этим трудно.

От всей души желаю читателю приобщиться к достижениям риторики, научиться убедительно говорить самому и вдумчиво слушать чужое слово.

Георгий Хазагеров

Введение

§ 1. Что такое риторика?

Определение риторики. Центральная и периферийные проблемы риторики. Качества речи и концепция риторики. Риторическая модель речевого взаимодействия. Убеждение, обман и манипулирование. Почему риторика не учит обманывать. Оборотная сторона манипулирования. Допустимые случаи манипулирования

Риторика – это наука о воздействии на человека с помощью слова. Центральная категория для изучения этого воздействия – категория убеждения.

Но воздействовать с помощью слова можно не только убеждая. С одной стороны, сюда входят способы воздействия, связанные со скрытым или явным принуждением: манипулирование, обман, приказ. Все это случаи принудительного словесного воздействия на слушателя. Только в приказе оно осуществляется напрямую, с опорой на силу, а при обмане и манипулировании недобровольность подчинения чужому слову скрыта от самого слушателя. С другой стороны, слушатель может испытать вполне добровольное влияние и помимо убеждения. Речь, например, может производить хорошее впечатление, очаровывать, забавлять, но не убеждать.

Однако прямой предмет риторики именно убеждающая речь. Манипулирование и обман для риторики явления периферийные, которые она рассматривает преимущественно с позиции воспринимающего речь: учит разгадывать уловки и противостоять им. Такие свойства речи, как привлекательность, приятность, также периферийны для риторики. Они рассматриваются ею как вспомогательные, обеспечивающие главное – убедительность.

Ключевым коммуникативным качеством речи, напрямую связанным с убедительностью и чрезвычайно важным для понима-

ния сути риторики, является ясность речи. Ясность выделяют наряду с такими коммуникативными качествами речи, как правильность, уместность и красота.

Правильностью речи ведает ортология, куда входят орфография, пунктуация и орфоэпия – наука о правильном произношении. Для риторики это подготовительный уровень владения речью и специально ортологическими вопросами она не занимается. Сведения о наиболее авторитетных ортологических источниках будут даны в конце нашей книги как вспомогательные.

Уместность – соответствие речи данной речевой ситуации – изучается функциональной стилистикой, разрабатывающей рекомендации о том, как выстраивать речь при официальном или неофициальном, научном или деловом, обыденном или торжественном общении. Ее базовая категория – функциональный стиль (деловой, научный, публицистический, разговорный), а усилия ее направлены на распределение единиц языка по функциональным стилям. И этот уровень изучения речи можно назвать дориторическим. Правда, уместная речь создает ее носителю репутацию адекватного человека, а это, в свою очередь, может повлиять на убедительность речи. Краткие сведения из области функциональной стилистики и культуры речи будут даны в последних разделах книги. Отметим тем не менее: вопросы уместности для риторики периферийны.

Привлекательность речи обеспечивается красотой. Красивую речь хочется услышать снова (речи ораторов редко перечитывают, а художественную литературу – часто). Человек, владеющий красивой речью, – желанный собеседник. Вот почему, хотя красота речи и находится в ведении поэтики, для риторики это качество небезынтересно. Недаром такой авторитетный оратор, как Цицерон, именно красоту считал главным качеством убеждающей речи. В нашей книге красоте политической речи будет уделено особое внимание. Но не будем во всем доверять и Цицерону: красота речи все же не главное свойство, делающее речь убедительной.

Убедительной речь делается благодаря ясности. Ясной называют такую речь, содержание которой быстро и надежно схватывается адресатом. В ясной речи ее форма идеально соответствует содержанию. Это и придает речи убедительность: все стоит на своем месте, все мотивировано. Именно ясность Аристотель считал главным качеством убедительной речи.

Модель риторического воздействия можно представить следующим образом. У слушающего нет ясности в каком-то вопросе (или уже в ходе речи он понял, что полной ясности у него не было). Говорящий проясняет для него этот вопрос, делает его кристальным, как бы снимает с души слушателя груз колебаний и неопределенности. За это слушатель платит тем, что принимает предлагаемую говорящим картину мира. Это и есть убеждение. Проблема ясной убеждающей речи – центральная проблема риторики.

Обратимся теперь к феномену манипулирования.

В случае прямого обмана говорящий не проясняет слушателю ситуации, а запутывает ее, сообщая заведомо ложные факты. В случае манипулирования говорящий, отрезая слушателя от независимых источников информации, подталкивает его к ложным выводам, т.е. опять-таки запутывает ситуацию. Так, сообщение «Ученые подсчитали на компьютере, что будущее России за социализмом» без указания на то, что это за ученые и как они считали, – манипулирование, рассчитанное на простаков, которые сделают из правдивого сообщения (положим, кто-то что-то действительно считал) ложные выводы.

И обман, и манипулирование – оружие обоюдоостре. Для риторики не составляет труда обратить его против самого манипулятора, именно опираясь на главное качество риторики – прояснение ситуации, в данном случае прояснение самой речевой ситуации.

Опасность обмана в риторической речи состоит в том, что эта речь всегда опирается на ту или иную систему общих мест, а запрет на обман входит в такие системы. Рано или поздно оратору

придется взвывать к честности и другим этическим нормам, а имея репутацию обманщика, он поставит себя в смешное положение. Кроме того, запрет на обман как на неправильное речевое действие корреспондирует с другими запретами, касающимися уже предметной деятельности, в частности, с запретом на воровство и убийство. Поэтому оратор, делающий ставку на обман, уже не может ссылаться на моральные аргументы (доводы к этосу) практически любых развитых этических систем. Такой оратор попадает в положение героя Салтыкова-Щедрина, который действовал «применительно к подлости» и в конце концов получил за это плевок из-за угла от того, кто руководствовался этим же принципом. Обманщику остается надеяться, что обман никогда не вскроется, что при активном речевом поведении крайне маловероятно. Поэтому риторика не может назвать обман эффективным приемом и не учит обманывать.

Гораздо сложнее категория манипулирования. На языке наивной риторики, т.е. на языке осмыслиения речевого воздействия вне науки и ее терминологии, «манипулировать» означает «морочить голову». Субъективной основой манипулирования является некритическое мышление и низкий культурный уровень слушателей. Объективной – скрытие независимых источников информации. В большинстве культур обманутых безусловно жалеют, к «обмороченным по собственной глупости» относятся по-разному, но сам «обморочиватель» больших общественных симпатий не вызывает. Особенно негативно оценивается манипуляция, основанная на силе (источники скрыты грубой силой, «железным занавесом», например), и манипуляция, примененная к детям, больным, вообще слабым. Так, с точки зрения сухой логики, дети, несомненно, отличаются от взрослых более низким культурным уровнем. Но обычно в таких категориях о детях никто не рассуждает и на «использование детской наивности», бесспорно, наложен общественный запрет. Также едва ли большим почетом и уважением в обществе пользуется тот, кто обманывает

недалекого человека. Поэтому манипулирование, как игра на слабости, вещь антиэтосная, особенно в христианской культуре.

Тем не менее существуют, по-видимому, и случаи допустимого манипулирования, когда закрытие источников является вынужденной мерой, с которой впоследствии согласится и сам объект речевого воздействия. Речь идет о крайних ситуациях. Странным было бы во время Отечественной войны публиковать в наших газетах материалы противника. В жизни, действительно, есть случаи, когда надо действовать не рассуждая. Рефлексия и анализ в этих редких случаях сковывают активность. Сент-Экзюпери рассказывает, как летчик, потерпевший катастрофу в пустыне, шел вперед, стараясь не думать о своем положении. Физиолог П.В. Симонов, вспоминая этот случай, констатирует, что летчик тем самым спасся от невроза, который лишил бы его психических и физических сил. В этой связи уместно вспомнить слова Демосфена: «Воины, вместе со мною отважившиеся на предстоящую опасность! Никто из вас в столь затруднительном положении не должен стремиться к тому, чтобы выказать свою сообразительность при оценке всех окружающих вас опасностей».

Но такие ситуации – исключение, а не правило. Жизнь не может состоять из безрассудных поступков. И в громадном большинстве случаев человек, которым манипулируют, не испытывает к манипуляторам чувства благодарности.

Даже отбросив нравственную оценку манипулирования, надо учсть то обстоятельство, что информационная структура современного общества, уровень общественной образованности и речевой конкуренции не позволяют манипуляторам и обманщикам достаточно долго скрывать несанкционированные обществом речевые действия. Скрытие источников информации одним оратором будет замечено другим, который не преминет обратить на это внимание слушателей, а то и откроет эти источники, продемонстрировав скрытые от слушателя факты и их интерпретации.

Вот почему риторика должна быть очень осторожной с манипулированием и, во всяком случае, избегать прямой лжи.

§ 2. Части риторики и их изложение в нашей книге

Пять частей риторики. Инвенция, диспозиция и элокуция как основные части риторики. Их особенности в контексте современной науки

Традиционно риторика включает пять частей: изобретение мыслей, или инвенцию, (лат. *inventio* – «изобретение, открытие»); расположение мыслей, или диспозицию (лат. *dispositio* – «расположение, размещение»); выражение мыслей, или элокуцию (лат. *elocutio* – «способ изложения, слог»); запоминание, или меморию (лат. *memoria* – «память, способ запоминания»); произнесение речи, или акцию (лат. *actio* – «действие, деятельность»).

Инвенция сосредоточена на поисках аргументации, диспозиция – на том, как найденные аргументы расположить, элокуция – как наиболее убедительным образом облечь их в словесную форму, мемория – как запомнить сочиненную речь, акция – как ее произнести.

Части эти неравноценны, неравномерно разработаны классической риторикой и неодинаково глубоко освещены в сегодняшних пособиях по риторике. Кроме того, современная наука внесла в них неравнозначный вклад. Это, естественно, отражено в объеме и содержании частей риторики в нашей книге.

В настоящей книге мы сосредотачиваем внимание читателя на трех частях риторики: инвенции, диспозиции и элокуции. Что касается мемории, то она актуальна лишь для устного произнесения речи. Мемория содержит в себе рекомендации по развитию памяти. Понятно, что классическая риторика в этом смысле на первенство претендовать не может, уступая его современной психологии. Почти то же можно сказать и об акции, с той лишь разницей, что авторы современных риторик охотно дают читателям психологические рекомендации о том, какой галстук надеть, какую позу принять и каким должен быть макияж. Рекомендации

эти, возможно и полезные, носят отрывочный характер, являясь инородным телом по отношению к наследию риторики, которая грешила всем, но только не разрозненными советами. Если бы Аристотелю пришлось рассуждать о галстуках, он вынужден был бы придумать общую теорию галстука, исчислив все возможные его формы и расцветки и дав каждой из них функциональное обоснование. Принцип «а вот еще полезный совет» не укладывается в концепцию риторики.

Инвенция разрабатывает теорию доказательств, деля их на естественные (документы, показания свидетелей, сегодня также экспертные заключения) и искусственные, куда входят так называемые аргументы к логосу (логические доказательства), пафосу (доказательства к чувствам слушателя, связанные с обещаниями или угрозами) и этосу (апелляция к этическим нормам, связанная с заведомым принятием или заведомым отторжением какого-то поведения), а также усиливающие их ссылки на авторитеты. Кроме того инвенция занимается разработкой «общих мест», под которыми в риторике понимаются не только общепринятые рассуждения, но и способы нахождения аргументов. Мы посвятим инвенции специальный раздел, где сделаем акцент на теорию аргументации, причем не столько на доводы к логосу, неизменные во все века и достаточно очевидные, сколько на доводы к этосу и к пафосу, имеющие ярко выраженную временную и национальную специфику. Отметим, что современная наука практически ничего не прибавила к разработке логической аргументации в классической риторике, но развитие когнитологии и когнитивной лингвистики позволило глубже взглянуть на аргументы к этосу и пафосу.

Диспозиция – это теория риторической композиции устных и письменных текстов. Здесь мы имеем возможность дополнить наблюдения классической риторики современными теориями композиции, рожденными в рамках стилистики под влиянием теоретико-вероятностной модели текста. Если классическая риторика рассматривала композицию с точки зрения выделения не-

ких речевых блоков (вступление, опровержение аргументов противника, возвзвание и т.п.), то сегодня композиция рассматривается под углом умения выделить главное и тем облегчить восприятие речи. Такой подход лежит в русле риторической установки на ясность. Диспозиции также будет посвящен особый раздел.

Наконец, элокуция – самая разработанная классической риторикой часть риторического учения. Ее предметом являются фигуры и тропы – особые словесные приемы, усиливающие изобразительность и выразительность речи и делающие речь убедительной за счет самой речевой формы. К сожалению, именно разработанность элокуции, породившая огромное терминологическое наследие, служит препятствием к ее освоению. Обычным недостатком современных учебников является непропорционально малое внимание, уделяемое элокуции. Мы посвящаем ей самый большой раздел книги, исходя из того, что именно здесь сосредоточены специальные знания, которые не восполнишь здравым смыслом и общими представлениями о логике и психологии. Однако нам по неволе придется вводить много специальных терминов. Эти термины, преимущественно греческие, разумеется, не нужно заучивать наизусть, но набор стоящих за ними понятий создает хороший арсенал для оратора, притом что понятия эти образуют замкнутую систему, а не набор случайно отобранных приемов.

§ 3. Риторическое мышление

Рациональный характер риторического мышления. Виртуальный характер риторической разработки, стремление к полноте

При подборе доводов установка на ясность породила особый риторический склад мышления, наиболее отчетливо проявившийся в древней риторике, но не утративший связь с риторикой и сегодня. Какими же качествами обладает риторическое мышление, помогающее подобрать нужные доводы?

Прежде всего это мышление рациональное. Сами доводы давно строго систематизированы, описаны, образуют замкнутую систему. Систематизация, классификация всевозможных казусов, обобщение, схематизация – все это признаки риторического мышления. Но, наверное, главный его, непосредственно связанный с установкой на ясность признак – это желание исчерпать все мыслительное поле вокруг данного предмета. Речь идет не о том, чтобы говорить сухо, общо. Это риторике, скорее всего, противопоказано. Речь о том, что, подбирая аргументы, настоящий оратор стремится развернуть все возможные мысленные ходы, предельно прояснить картину для себя самого. Это помогает предвосхитить аргументы противника, да и просто помогает убедить. Об Алехине рассказывают такой анекдот: перед шахматной партией он давал коту обнюхать каждую клетку шахматного поля. Так вот ритор должен уподобиться этому коту и исследовать все закоулки своей темы, а для начала нарисовать для себя само шахматное поле этой темы.

В статье “Риторика как подход к обобщению действительности” академик С. С. Аверинцев дает очень яркие примеры двух полярно противоположных типов мышления: риторического и романтического. В качестве первого автор приводит экфрасис (описание) битвы из Либания: “У этого рука отторгается, у того же око исторгается, сей простерт, пораженный в пах, оному же некто разверз чрево... Некто, умертвив того-то, снимал с павшего доспехи, и некто, приметив его за этим делом, сразив, поверг на труп, а самого этого – еще новый. Один умер, убив многих, а другой – немногих». Проанализировав значимое для текста и характерное для греческого языка обилие местоимений, С.С.Аверинцев замечает: “В экфрасисе Либания поражает этот дух отвлеченного умственного эксперимента, этот уклон к перебору и исчерпыванию принципиально представимых возможностей”. Подчеркнем для себя последние слова.

В той же статье на других примерах автор показывает склонность риторического мышления к перебору представляющих возможностей. Такой перебор образует как бы скелет риторического текста. Особенно удивительным представляется перебор и каталогизация не того, что утверждается, а того, что отвергается. Так, прославляя в своей оде уединенный жребий поэта, Гораций, носитель риторического мышления, изображает и другие, отвергаемые им жребии, при этом отдав их детальному описанию 26 из 36 строк стихотворения. А вот противоположный пример, который сам С.С.Аверинцев назвал гротескным, но который, однако, типичен для романтического мышления вообще и для русского романтического мышления в особенности: «... в предреволюционном Петрограде завсегдатай кабаре “Бродячая собака” – поэты, актеры, живописцы и музыканты – окрестили всю ту часть человечества, которая занята каким-либо иным видом деятельности, а равно и предается праздности, “фармацевтами”, причем особенно гордились тем, что не делают ни малейшего различия между статусами министра или кухарки, профессора или кавалерийского офицера». Подобное поведение, безусловно, является проявлением снобизма, но для нас важен не он, а само нежелание представителей богемы «разбираться» в том, что они отвергают. Трудно представить себе что-либо более антириторичное.

В «Бродячей собаке» собирались люди аполитичные. Но разве сами политики, их современники, не ставили всех своих оппонентов на одну доску, не видя разницы между левыми и правыми? Когда большевистская пропаганда объединяла левых и правых в одной категории «врагов», порождая такие определения, как «троцкистско-бухаринский блок», это было неубедительно прежде всего с риторической точки зрения, и при первых же проблесках свободы слова большевикам об этом напомнили.

Итак, риторическое мышление не только дедуктивно, схематично и теоретично, но еще и стремится к перебору возможностей, к полноте. Связь риторики с категорией возможного и с вы-

явлением потенций той или иной ситуации глубоко органична. Необходимость в ораторе появляется там и только там, где сообщество людей стоит перед каким-либо выбором. Сам оратор должен знать, чем чревата рассматриваемая ситуация и уметь словами дорисовать ее различные реализации.

В XIX веке, во времена негативного отношения к риторике (о чем чуть ниже), еще не знали о так называемых возможных мирах и виртуальной действительности. Теория была прежде всего “суха”, в то время как “древо жизни пышно зеленело”. В теории видели лишь скелет, оголенный ствол жизни, а не возможность быть в чем-то богаче наблюдаемой эмпирики. За теорией, конечно, признавалась возможность предвидения, но детерминированная цепь причин и следствий мыслилась как единственно возможная. В переборе вариантов не было необходимости, так как правильным вариантом был лишь один, прочие же являлись уделом “фармацевтов”. Перебор возможностей представлялся «пустоцветом на дереве познания», издержкой работы абстрактного ума, чем-то вроде побочного эффекта в нормальной познавательной деятельности. Сегодня мы имеем дело с вероятностной картиной мира и риторическое мышление стало нам ближе. Самые обычные люди привычно рассуждают о том, что события могли пойти либо по одному, либо по другому сценарию. Эти новые представления, ставшие уже бытовыми, стимулируют риторическое мышление.

Культ опыта – накопление и проверка эмпирических данных – при детерминистской картине мира и совершенном невнимании к категориям “вероятность” и “информация” (как хранить, обрабатывать и передавать результаты опыта), непонимание того, что человек живет не только в мире фактов, верифицируемых опытом, но и в мире мнений, имеющих другую верификацию, – вот те скалы, о которые еще сто лет назад разбилось риторическое мышление. Его сильная сторона, связанная с категорией возможного, временно оказалась невостребованной.

§ 4. Становление риторики. Кризис и возрождение риторики

Термин «риторика». Возникновение античной риторики. Роль риторики в системе образования. Причины общеевропейского кризиса риторики. Причины возрождения риторики. Роль информационного общества и массовой культуры в возрождении риторики. Судьба риторики в русской культуре

Слово «риторика» восходит к греческому «ораторское искусство» (лат. *rhetorica*, гр. *ρητορική*). В русской передаче оно сначала писалось через «е»: «реторика».

Под риторикой понимается как научная или учебная дисциплина (в этом значении мы и употребляем этот термин), так и само искусство риторики (для передачи этого значения будем пользоваться в основном русским термином «красноречие»). Слово «риторика» употребляется также и в уничижительном смысле. Обычно так характеризуют пустую, но претенциозную речь, пустые и громкие обещания. Это значение закрепилось за риторикой со времен ее кризиса.

Риторика возникла в Древней Греции в V в. до новой эры. Уже тогда был составлен первый, не дошедший до нас учебник риторики. Первыми теоретиками риторики в античной Греции были софисты, в интерпретации которых риторика была наукой об убеждении кого угодно в чем угодно. Кроме того софисты не вполне отделяли «очаровывание» речью от убеждения ею. Это хорошо видно по софистической трактовке специальных языковых средств (фигур), изобретение которых приписывается Горгию. Горгий пишет о том, что фигуры «чаруют». Горгиеvy фигуры делают речь скорее красивой, чем убедительной, и в последующих списках фигур фигуры Горгия занимают достаточно периферийное положение. К Горгievым фигурам относится, например, исоколон – равенство частей высказывания, делающее прозаическую речь ритмичной.

С критикой софистов выступил Платон, который в противовес риторической речи выдвинул особую речевую манеру (диалектику), когда участники диалога объединены общей целью – поиском истины. Это позволяло риторике обрести этическую опору, но уводило от решения собственно риторических задач. Эти задачи были решены Аристотелем, создавшим для риторики теоретический и этический фундамент. Именно Аристотель назвал главным качеством речи ясность, что и сегодня позволяет разграничить убеждение и манипулирование. «Риторика» Аристотеля не потеряла своего значения и в наши дни.

В середине второго века до н.э. возникает римская риторика. Крупнейшим теоретиком и, несомненно, самым талантливым практиком римской риторики был Марк Туллий Цицерон. Однако в области теории его, пожалуй, превзошел человек, который одним из первых стал носить звание профессора, – Марк Фабий Квинтилиан, автор трактата «Об образовании оратора», профессиональный учитель риторики.

В эпоху поздней античности риторика заняла в системе образования самое высокое место. Если в начальной школе – школе литератора – учили читать и писать, в средней школе – школе грамматика – понимать и ценить древних авторов, то в тогдашней высшей школе – школе ритора – учили активному владению речью. Без риторического образования общественная карьера была невозможна.

Относительная однородность риторических школ и общий круг образцовых авторов делали риторику в известном смысле слова несущей конструкцией в жизни античного общества. Трудно сказать, что могло бы заменить ее цементирующую роль в огромной, многоязыкой, почитающей разных богов империи.

Христианство, не принявшее языческой школы и построившее свою, сохранило и адаптировало к новой монотеистической религии сильные стороны античного наследия. Риторика вошла в «семь свободных наук», на которых зиждалось образование в

университетах средневековой Европы. Эти науки делились на тривиум (риторика, грамматика и диалектика) – науки о слове, и квадривиум (арифметика, геометрия, астрономия и музыка) – науки о числе. Выпускники средневековых университетов владели единой латиноязычной риторической культурой и понимали друг друга, в какой бы части Европы они ни жили.

Триумф риторики продолжился в эпоху Ренессанса, когда был заново открыт трактат Квинтилиана и христианская мысль получила возможность глубже освоить античное наследие. Первые признаки кризиса риторики появились лишь в конце XVIII столетия, а сам ее кризис разразился в середине XIX века.

После почти двухтысячелетнего развития риторики авторитет ее начал стремительно падать. Появилось сохранившееся до сих пор употребление самого слова «риторика» в уничижительном смысле: «пустозвонство, словесное плутовство», даже «обман». На протяжении XIX века риторика быстро теряла общественный престиж и сдавала свои позиции в системе образования.

Причин тому много. Одна из главных – чрезмерное увлечение передовых европейских умов историческим методом, доходившее до отрицания того, что в жизни языка и общества может быть что-то неизменное, вечное. В эпоху увлечения идеями прогресса, развития, в эпоху, когда внимание ученых занимала прежде всего смена одних жизненных форм другими, мало кто верил в риторику с ее рецептами, основанными на представлении о неизменных свойствах языка и человеческой психологии. Надо признать, что и сама риторика не сумела ответить на вызов времени, продолжая иллюстрировать свои положения античными примерами и довольно вяло приспособливаясь к культурным задачам национальных словесностей.

Характерно, что лицеисты, ровесники Пушкина, не особенно почитали своего учителя Николая Кошанского, автора книг по общей и частной риторике. И это при том, что уроки риторики для самого Пушкина прошли явно не напрасно! В рецензии на

книгу Н. Ф. Кошанского “Общая риторика” В.Г.Белинский высказался довольно категорично: “Итак, какую же пользу приносит риторика? Не только общей риторики, даже теории красноречия (как науки красноречия) быть не может”.

Другая причина упадка риторики состояла в невиданном расцвете художественного слова и в подмене самого понятия словесности понятием художественной литературы, т.е. словесности изящной. Именно тогда в школе зародилась традиция изучения языка исключительно на материале художественной литературы. Древние «слова» и «поговорки», жития и послания, уложения и исторические хроники остались за бортом, сочинения современных историков, судебные и политические речи тоже не попадали в поле зрения школы. Кстати, в отечественной школе положение это до сих пор практически не изменилось, что сильно тормозит развитие речевой культуры общества. Наша сегодняшняя школа учит не столько писать, сколько читать. В самом деле, можно вырастить хороших читателей романов, но не хороших писателей. Однако словесность не ограничивается романами. К тому же расцвет литературы и ее популярности, увы, давно миновал и вместо речей адвокатов, политиков, историков, филологов школа, наряду с подлинной классикой, изучает писателей, мало чем украсивших нашу словесность и ничего не дающих школьнику в плане активного владения русским языком. Введение риторики в круг школьных дисциплин постепенно меняет положение дел, хотя и достаточно медленно.

Наконец, еще одна причина кризиса риторики состояла в том, что с античных времен практически не разрабатывался вопрос об этике убеждающей речи. И если писатели, продолжая в светской культуре линию церковной проповеди, выступали учителями человечества, то ораторы, высказывавшиеся по частным вопросам и защищавшие частные интересы, сильно уступали им в глазах просвещенных слоев общества.

Однако во второй половине XX века в судьбе риторики случился еще один перелом: началось ее бурное возрождение.

У этого феномена также имеются свои причины, главные из которых могут быть обозначены как «информационное общество» и «массовое общество».

Риторика была востребована содержанием всех составляющих нового информационного взгляда на мир.

Во-первых, чрезмерное увлечение историзмом отошло в прошлое. На смену динамическим моделям мира пришли информационные, описывающие те или иные стороны жизни не как эволюцию, а как систему с неизменными инвариантами, с витальностью (выживаемостью) и колебаниями вокруг точки равновесия. С эволюционистской точки зрения в обществе есть отжившие классы, которым никакая риторика не поможет, и новые общественные силы, которые поднимаются в силу объективно действующих исторических законов. Для консолидации этих новых сил нужна в лучшем случае пропаганда и агитация. «Спор» нового со старым решался отнюдь не риторическим способом. Но теперь, когда стало ясно, что для общественного развития нет необходимости истреблять целые классы, а нужно поддерживать общественное равновесие и гражданский мир, лучшего союзника, чем риторика найти просто невозможно.

Во-вторых, информация стала осознаваться как ресурс, полезный запас, а не как пустые «слова», противостоящие «делу». Представление о том, что слова – это простое сотрясение воздуха, в информационный век оказались существенно поколеблены. В наше время стала понятна объективная роль речевых технологий и конструктивная роль слова в жизни общества, в поддержании общественных установлений. Понятие «языковая картина мира» вышло за пределы науки о языке. В двадцатом веке многие поняли, что язык – это очки, сквозь которые человек смотрит на жизнь, и захотели подбирать эти очки по своему вкусу. Когда же люди поняли, что удачная метафора способна изменить общественную жизнь скорей, чем мускульные усилия многих людей, успех риторики оказался предрешенным.

В-третьих, в информационном обществе люди едва ли не в большей степени живут в мире слов, чем в мире вещей. Не нужно знать, как устроен персональный компьютер, чтобы им пользоваться, можно ничего не знать о подъемной силе крыла и летать на самолете. Но нельзя не уметь заказать авиабилет, не уметь «разговаривать» с компьютером, не ориентироваться в интернете и т.д., словом, нельзя не владеть кодом большой цивилизации.

Что касается массового общества, то главное его свойство – отсутствие иерархии общественных слоев. Это в корне меняет нормозадающий механизм. Ни художественная словесность, ни язык аристократии уже не служат образцом для общества. Возникает дефицит образцов, а с ним и дефицит общественной координации. Общество как никогда заинтересовано в окультуриении дискурса – поля общественной коммуникации. Взять эту роль на себя может только риторика. Невозможно исправить язык, объясняя время от времени по телевизору, как произносится то или иное слово. Сделать язык общим достоянием может только наука о том, как эффективно пользоваться языком.

Как бы то ни было, но возрождение риторики – свершившийся факт. Начиная с шестидесятых годов, когда новая риторика заявила о себе в работах бельгийского ученого Х. Перельмана, написаны тысячи работ по риторике, она преподается в вузе и школе, и интерес к ней продолжает нарастать.

Как обстоит дело с изучением риторики у нас?

Восточнохристианская риторика и как наука, и как практика красноречия имеет свои специфические черты, о которых мы еще поговорим ниже. Сейчас же отметим, что первое сочинение, в котором описаны риторические фигуры появилось на русской почве довольно давно, в XI в. Этим сочинением был перевод статьи константинопольского библиотекаря Хиролоса «Об образах». Перевод был включен в «Изборник» Святослава 1073 года. Статья больше похожа на словарь, в котором толкуются 27 «образов» – риторических фигур в широком смысле этого слова, включая и так называемые тропы. На первом месте в трактате

стояли аллегория и метафора. Именно эти фигуры активно использовались в тогдашней русской риторической практике. Вообще употребление фигур в речах киевских ораторов не выходит существенно за список «образов», перечисленных в этом теоретическом трактате.

Однако собственно риторических сочинений с развернутой концепцией самой риторики на Руси не было вплоть до 1620 года, когда появляется первый текст с названием «Риторика». Основы этой «Риторики» (автор ее неизвестен, некогда авторство приписывали выдубицкому архиепископу Макарию) восходят уже не к греческой, а к латинской традиции.

Расцвет докризисной риторики в России приходится на конец XVII, XVIII и первую половину XIX века. Но кризис коснулся и русской риторики. Как уже было сказано, антириторическую позицию занял даже такой выдающийся публицист и знаток русского слова, как В. Г. Белинский. Впрочем, позиция Белинского вполне обусловлена временем. Его великий учитель Гегель также высказывался против риторики.

Даже поздний расцвет русского судебного красноречия в последней трети девятнадцатого века не изменил отношения к риторике. В обществе продолжал господствовать литературоцензизм. Словесность изучалась в основном на материале фольклора и художественной литературы. Это, конечно, не способствовало развитию риторики. Однако феномен риторических тропов и фигур, учение о которых занимало центральную часть риторик, привлек к себе внимание языковедов, прежде всего представителей русской психологической школы, сложившейся в Харьковском университете вокруг профессора А. А. Потебни.

В советское время риторика как наука редуцировалась до «лекторского мастерства» и «искусства пропагандиста», довольно быстро утративших связь с риторическим наследием. Сама же риторика третировалась как буржуазная наука. Однако с конца семидесятых годов табу на риторику было снято, а в девяностые годы интерес к ней приобрел лавинообразный характер.

§ 5. Специфика политической риторики. Специфика русской риторики

Три рода красноречия. Общая и частные риторики. Место политической риторики в системе частных риторик.

Со времен Аристотеля красноречие принято делить на три рода: судебное, совещательное и торжественное. Не следует, однако, понимать это деление так, что судебное относится только к судам, совещательное – к совещаниям, а торжественное – к торжественным случаям. Деление это имеет гораздо более глубокие основания. В своей «Риторике» Аристотель писал: «Слушатель бывает или простым зрителем, или судьей, притом судьей или того, что уже совершилось, или же того, что может совершиться» (Аристотель, 1358б). В зависимости от того, какую позицию занимает слушатель, и строится трихotomy Аристотеля.

Если слушатель выступает судьей того, что уже совершилось, перед нами судебное красноречие. Поэтому судебные речи обвиняют или оправдывают, говорит философ. Это, в самом деле, особый случай, и он может иметь место не только в настоящем суде. Суть именно в том, что события уже свершились и надо принять ту или иную их версию. Причем от слушателей, что для риторики существенно, ход самих событий не зависит.

Если же слушатель выступает «судьей» того, что должно случиться (например, бросает в урну бюллетень), перед нами совещательное красноречие. Дело совещательных речей, говорит философ, склонять или отклонять. Это существенно иной случай. Решая вопрос о том, имел ли место поджог или пожар был случайностью, слушатель не вправе сказать: «Я хочу, чтобы это был поджог, и да будет так!» Но решая вопрос о выборе президента слушатель может и даже должен рассуждать следующим образом: «Я хочу, чтобы выбрали моего кандидата, да будет так! Я сам приложу к этому свои силы». Поэтому эмоциональные ар-

гументы получают здесь гораздо большее оправдание, чем тогда, когда мы решаем, что же именно произошло на самом деле.

Третий случай, по Аристотелю, состоит в том, что слушатель является простым зрителем. Назначение торжественной речи, по словам философа, хвалить или порицать. Разумеется, такая речь формирует определенное мнение, на основании которого слушатель в будущем будет поступать так или иначе, но в момент произнесения речи слушатель не стоит перед выбором, от него не требуется никаких действий, и именно поэтому Аристотель выделяет этот случай как самостоятельный. В остальном же торжественное красноречие близко к совещательному, так как обращено только в будущее потенциальное, возможно, очень отдаленное, возможно, размытое. Так, восхваление героя может привести к тому, что слушатель когда-нибудь станет ему подражать. Совещательное же красноречие обращено в актуальное, ближайшее будущее.

Вот яркий пример торжественного красноречия. Перикл произносит речь на могиле павших воинов. При этом он прославляет и пропагандирует определенные политические идеи:

«Наш государственный строй не подражает чужим учреждениям; мы сами скорее служим образцом для некоторых, чем подражанием другим. Называется этот строй демократическим, потому что он зиждется не на меньшинстве, а на большинстве их [граждан]» (цитируется по Фукидиду).

Точно так же знаменитое торжественное слово митрополита Иллариона, произнесенное в храме Софии Киевской, не преследуя конкретных политических целей, пропагандирует политическую и нравственную доктрину Руси.

Итак, мы видим, что классификация Аристотеля обнимает самые общие случаи и не связана с тематическим делением, как конкретные виды красноречия: торговое красноречие, судебное (в узком смысле этого слова), военное, академическое. Эти отдельные виды красноречия изучаются так называемыми частны-

ми риториками, в отличие от общей риторики, посвященной, соответственно, общериторическим проблемам. Политическое красноречие именно такой частный вид красноречия – это красноречие, относящееся к сфере политики. К какому же из трех родов оно относится?

Как нетрудно догадаться, политическое красноречие – это в первую очередь красноречие совещательное. Сам Аристотель, говоря о совещательных речах, называет их темами финансы, вопросы войны и мира, охраны страны, снабжения ее продовольствием, выработку законодательства. Политическое красноречие обращено в будущее. От воли его слушателей зависит не только принятие решения (скажем, при голосовании), но и в определенной мере общественное поведение (трудолюбие, лень, решимость, мужество, терпение, скепсис – все это персонажи общественной драмы). Поэтому политическое красноречие захватывает и зону красноречия торжественного, направленного на воспитание определенных качеств, на мобилизацию определенных психологических ресурсов. Кроме того, в наше время, когда предвыборные кампании делятся месяцами, возникает и красноречие промежуточного вида – совещательное, ибо в конечном счете речь идет о единовременном акте выбора, и в то же время торжественное, так как реальный выбор все-таки далеко. В отдельных случаях, когда речь идет об анализе прошлого, политическое красноречие сближается с судебным, но эта связь слаба.

Итак, политическая риторика изучает красноречие в сфере политики, учитывая специфику рода и вида этого красноречия.

В чем эта специфика?

Выше отмечалось, что может риторика: она может научить, как подбирать доводы, как располагать части риторической речи и какими языковыми средствами эти доводы выражать. Политическая риторика имеет свою специфику в каждом из этих пунктов.

В аргументации политическая риторика должна опираться на соответствующие общие места, которые она заимствует как из

политических, так и из других текстов. Во второй части нашей книги мы покажем, как взаимодействуют разные типы убеждающих речей и какими общими местами располагает политическая риторика.

В области композиции специфика политического красноречия состоит в разработке системы жанров. На этом вопросе мы остановимся в третьей части книги.

В отношении языковых средств необходимо учитывать сложившиеся речевые формулы и традиции. Об этом мы поговорим в ходе изложения теории фигур в третьей главе первой части.

А сейчас, прежде чем приступить к изложению основного материала, скажем несколько слов о специфике русской политической риторики. Более обстоятельно эта специфика будет показана во второй части книги уже после ознакомления с риторическими средствами.

Русское красноречие в своих истоках было красноречием исключительно торжественным, эпидейтическим. Многие годы не было нужды ни в совещательном, ни в судебном красноречии. Жанры торжественного красноречия вызвали к жизни адекватные им языковые средства и адекватную теорию слова. Впоследствии, когда палитра русского красноречия расширилась, исконные черты русской риторики, присущие торжественному красноречию, оставались для нее неизменными. Остаются они таковыми и сегодня.

Древнерусское красноречие не столько риторика, сколько публицистика. Разумеется, публицистическая мысль далеко не аморфна, она связана с пропагандой идей, часто весьма полемичных и, уж конечно, актуальных. Однако публицистика именно пропагандирует идеи, воспитывает слушателя, наращивает и расширяет уже имеющиеся у него мысли и представления, но не переубеждает его. Это, как в зеркале, отражается в излюбленном приеме торжественного красноречия – риторической амплификации (амплификация буквально "расширение"), состоящей в по-

вторе синонимов, в возвращении к одной и той же мысли с постепенным ее углублением, как бы в бережном взращивании идеи для сохранения ее на долгие годы.

Почувствовать особенности публицистического (консолидирующего), но не риторического (конфронтующего) красноречия можно обратившись к знаменитому "Слову о законе и благодати" Иллариона Киевского (XI в.). Главная политическая мысль «слова» – о равенстве Руси среди других христианских государств – не просто патриотична и актуальна, но еще и содержит скрытую полемику с греками, рассматривавшими Русь как варварскую страну, которую они просветили. Однако само "слово" обращено к русским, а не к грекам. Обращение к единомышленникам, к своим – главная черта торжественного красноречия. Как сказал о торжественном красноречии современник его расцвета, "Не к неведущим бо пишем, но преизлиха насыщьшемся сладости книжныа, не к странным, но к наследникам небеснаго царства". Это означает, что слово адресовано не просто единомышленникам, но тем, кто опирается на тот же культурный фундамент, тем, кто поймет все аллюзии, все намеки и отсылки, т.е. к посвященным, к своим.

Торжественное, или эпидейтическое красноречие получило распространение уже в Древней Греции и было довольно прохладно встречено в Риме, где высочайшего расцвета достигли два других жанра ораторского искусства – судебное и совещательное. Даже Марк Фабий Квинтилиан, риторическое искусство которого, по мнению современных авторов, отличает "школьно-парадный идеал" (по сравнению с сугубым pragmatizmom Цицерона), рассматривает торжественное красноречие как нечто периферийное для риторики. В проводимой им аналогии между ораторским словом и оружием такие задачи оратора, как убеждать (*persuadere*) и услаждать (*delectare*), выглядят далеко не равнозначными: "...мы же, ораторы [в противоположность поэтам], сражаемся на поле битвы... и должны бороться за победу.

Но я хочу, чтобы оружие оратора не было ржавым, чтобы оно сверкало, как сталь, ослепляя глаза и умы противника своим сверканием, и не уподоблялось оружию, сделанному из серебра или золота, оружию, опасному для того, кто его носит, а не для врага".

Как эта метафора не похожа на уподобление слова меду, накапливаемому пчелами! А ведь "сладость книжнаа", содержащаяся в "Пчеле", "Златоструе", "Златой чепи" и других древнерусских сборниках, включала в себя выдержки из публицистических "слов" торжественных проповедей или сами эти "слова". После христианизации эпидейктическое красноречие, по свидетельству известного исследователя древнерусской литературы И. П. Еремина, получает распространение именно в православном мире.

Христианская риторика, сложившаяся весьма своеобразно, особенно на византийской почве, была скорее публицистикой, нежели риторикой в точном смысле этого слова. Недаром, как отмечают многие исследователи, традиции гражданского, политического красноречия рано замирают в Византии. Недаром и собственно риторическая теория (теория ведения спора) в Византии была разработана слабо, а на Руси первый собственно риторический трактат появился лишь в XVII веке. При всем том "консолидирующая" риторика православного мира имела огромные достижения как в области практики, создавшей подлинно художественные образцы христианского красноречия, так и в области теории: именно на этой почве вызревает учение Дионисия Ареопагита о символе, предвосхитившее современные теории художественного образа. Именно от этой риторики лежит кратчайший путь к теориям художественного слова. В этой связи глубоко закономерным представляется литературоцентризм русского XIX века, когда художественная литература воспринималась как главный вид искусства и решала едва ли не все задачи, стоявшие перед общественной мыслью. Русская литература не была бы столь публицистичной, если бы русская публицистика не была столь художественной.

Эти родовые черты русской риторики не следует рассматривать ни как ее великое преимущество перед риторикой западной – преимущество консолидации над словесной агрессией, ни как ее роковой недостаток – неумение переубеждать и вступать в реальный спор с инакомыслящим оппонентом. Более того, эти черты вообще не следует абсолютизировать. Русская риторика, как и любая другая национальная риторика, обладает, конечно, своей свободой маневра, в ней уживаются различные, в том числе и противоположные тенденции. Но не следует и забывать о присущих ей особенностях. Мы еще вспомним о них во второй части нашей книги. Сейчас же перейдем к изложению азов риторической науки.

ЧАСТЬ 1. АППАРАТ РИТОРИКИ

Глава 1. Инвенция

§ 1. Система доказательств в риторике

Риторика давно исчислила систему доводов, которыми может пользоваться оратор. Говорящий может опираться либо на эмпирические данные, либо на логику, либо на психологию. На эмпирических данных основаны естественные доказательства, на логике – логические доказательства, на психологии – доводы «к человеку» (*argumentum ad hominem*). Подкрепляя доводы, говорящий может ссылаться и на авторитеты других людей, а ослабляя доводы оппонента, может подвергать чьи-либо авторитеты сомнению. Это еще один вспомогательный источник доказательства, называемый также доводами к доверию или недоверию.

В целом система аргументации выглядит следующим образом. Различают доводы «к вещи» (*argumentum ad rem*), куда входят естественные и логические доказательства, и доводы «к человеку» (*argumentum ad hominem*). Последние подразделяются на доводы к пафосу, т.е. к чувству, к эмоциональной памяти, и доводы к этосу, т.е. к обычаям, к морали, к коллективной памяти. Кроме того, все эти доводы могут быть подкреплены ссылкой на авторитеты, т.е. на показания людей. Либо это сочувственная ссылка на авторитет, поддерживающий доводы, либо это доказательство от противного, отталкивание от ложного авторитета, казалось бы, опровергающего выдвинутые говорящим доводы.

В естественных доказательствах ссылка на авторитет – это просто-напросто свидетельские показания, которые обычно рассматриваются как сами естественные доказательства. Тогда довод к доверию – это обоснование весомости свидетельского показания или экспертного заключения, а довод к недоверию – напротив, обоснование их ненадежности по тем или иным причинам.

Логические доказательства могут подкрепляться мнением какого-либо авторитетного ученого или мыслителя. Еще чаще ссылкой на авторитет подкрепляются доводы к пафосу и этосу.

Такова самая общая классификация риторических доказательств. В политической риторике, как и в каждой частной риторике, она имеет свою специфику.

§ 2. Естественные доказательства

Виды естественных доказательств и их источники. Требования, предъявляемые к фактическим доказательствам

Естественные доказательства, или доводы к очевидному, особенно существенны для судебного красноречия, когда показания свидетелей или вещественные доказательства помогают восстановить ход событий уже свершившихся. В речах совещательных, обращенных в будущее, естественные доказательства играют не такую решающую роль, но применяются тем не менее достаточно часто. Они надежно «привязывают» обещания и опасения говорящего к актуальной действительности. Их доказательная сила в их объективности. Обладая ими, оратор часто подчеркивает, что «это уже не слова, а реальное дело, настоящие факты».

В политической риторике роль естественных доказательств выполняют цифры, фактические данные, письменные свидетельства, в том числе и высказывания оппонентов, рассказы очевидцев.

Самый сильный из доводов к очевидному – приглашение в свидетели самих слушающих: «Вы сами видите...».

Вот как это, в пересказе Фукидода, делали коринфяне во времена Пелопоннесской войны:

«Вам, как неосведомленным людям, нужны были бы дополнительные сведения об этом в том случае, если бы афиняне обижали эллинов как-нибудь скрытно. Но теперь разве нужно долго распространяться, коль скоро вы видите, что одних афинянे

поработили, против других, особенно против ваших союзников, замышляют козни, и что они заранее, с давних пор, приготовлялись на случай возможной войны в будущем?»

Подобным образом действуют и современные ораторы. Однако это не всегда возможно, и для естественных доказательств, особенно в политической риторике, где нет такого установленного регламента, как в судоговорении, решающую роль играют характеристики источника доказательств.

Прежде всего этот источник должен быть назван. Если в суде свидетель обязан назвать себя, то в практике политической риторики постоянно встречаются такие словосочетания, как «авторитетные аналитики полагают», «многие сходятся во мнении», «источник, близкий к тому-то полагает» и прочее. Следует помнить, что подобные расплывчатые указания хотя и могут служить доводом в споре, но не обладают неопровергимой силой естественного доказательства. Объективирующая роль таких анонимных свидетельств сильно снижена. Это особенно очевидно, когда речь идет не об оценках («аналитики полагают»), а о непосредственно увиденном («очевидцы рассказывают»). Чем точнее назван свидетель, тем убедительнее получается ссылка. Скажем, «очевидцы из окрестных сел» звучит лучше, чем просто «очевидцы», а «очевидцы из села Горохово» лучше, чем «очевидцы из окрестных сел». Всего же лучше: «Мария Николаевна Егорова, агроном из села Горохово».

Анонимность источника – один из распространенных способов манипулирования. Оппонент может отреагировать на нее иронией: «Нам эти очевидцы что-то не встретились, зато встретились Матвей Иванович Башкин, учитель из села Горохово, и Мария Николаевна Егорова, агроном того же села, которые утверждали нечто совсем не похожее на слова пресловутых очевидцев».

Из предъявляемых к источникам обязательных требований, которые оратору следует соблюдать самому и несоблюдение которых дает в руки оппонентов важный козырь, назовем также независимость источников, их компетентность и добросовестность.

Первое требование состоит в следующем. Если один человек был очевидцем какого-либо события, а другие свидетельствуют о нем со слов этого единственного очевидца, нельзя утверждать, что о происшедшем единодушно свидетельствуют несколько человек. Это утверждение будет наивной уловкой, на которую непременно обратит внимание умный оппонент. Источники должны быть независимыми.

Второе требование можно сформулировать так: вынося суждение о чем-либо требующем специальных знаний нельзя опираться на показания некомпетентных людей. «Простой человек» не может с полным пониманием дела рассказать об устройстве ядерного реактора. В годы, когда этот «простой человек» был общим местом пропаганды, подобные ситуации возникали довольно часто. Сегодня это должно быть исключено.

Наконец, источник должен быть непредвзят и правдив. Требование достаточно очевидное.

Относительно естественных доказательств следует сделать еще одно существенное замечание: безупречные в отношении фактическом, доводы могут быть недостаточно представительными и даже невыигрышными в психологическом плане.

В 1999 после одной из публикаций в газете «Коммерсантъ» в ряде периодических изданий разгорелась дискуссия о том, состоялись ли в России либеральные реформы. Один из участников дискуссии, доказывая, что реформы вполне состоялись, ссылается на успехи пивоваренной промышленности, рост ассортимента конфет и качества сигарет. Будучи фактически верными, эти доводы выглядят как гол, забитый в свои же ворота, поскольку создают впечатление «несерьезности» подобного экономического процветания.

Итак, естественные доказательства – это ссылки на цифры, факты, показания очевидцев. Решающую роль и для самого говорящего и для слушающего, собирающегося возражать, играют характеристики источника. Неуязвимы для критики источники, обладающие такими свойствами, как открытость, независимость, компетентность и добросовестность.

§ 3. Логические доказательства

Силлогизмы. Индуктивные доказательства. Требования к логическим доказательствам. Представление о логических уловках

Логические доказательства строятся либо на дедукции – переходе от общих рассуждений к частным, либо на индукции – переходе от частных рассуждений к общим. Особый случай – **рассуждения с дефиницией**, когда связь между общим и частным подвергается пересмотру.

Дедуктивные рассуждения наиболее убедительны и наиболее тривиальны. В классическом виде они представляют собой полный силлогизм, т.е. рассуждение, включающее две посылки (большую и малую) и вывод.

Например: «Все присутствующие поставили свою подпись (большая посылка). Иван был в числе присутствующих (малая посылка). Значит, под бумагой стояла и его подпись (вывод)».

Нет нужды перечислять виды силлогизмов. Все дедуктивные рассуждения построены на одном: на подведении данного случая под общий, о свойствах которого слушателям уже известно.

«Как известно, тяжесть чужого дурного мнения тем сильнее, чем достойнее и уважаемее то лицо, от которого исходит это мнение, чем выше стоит оно в наших глазах. То же самое было и здесь», – рассуждает известный судебный оратор А.Ф. Кони в одной из своих речей. Суть дедукции именно в этом «что же самое было и здесь».

Точно так же французский консервативный мыслитель XVIII в. Жан де Местр, утверждая, что народ прогадал от Великой французской революции, приводит сначала общее положение:

«Народ редко выигрывает что-нибудь от революций, меняющих форму правления, по той простой причине, что каждому устройству по необходимости ревнивому и подозрительному, ради своего сохранения необходимы большие защита и суворость, нежели прежнему.

Никогда еще справедливость этого суждения не ощущалась столь живо, как в этом случае».

Цепь силлогизмов здесь такова. Всякому новому общественному устройству приходится быть более жестким по отношению к народу, чем прежнему. Революция воплощает в жизнь новое общественное устройство, следовательно, после революции народ сталкивается с более суровым политическим режимом. Французская революция – одна из революций, следовательно, это верно и для нее.

Если верхнее платье человека забрызгано грязью, он не мог ехать в кебе. У интересующего нас человека грязное пальто, значит, он шел пешком. Такими и подобными им рассуждениями Шерлок Холмс постоянно поражает доктора Ватсона. Как видно из приведенных примеров, особенно из последнего, исходная посылка должна быть безупречно верной, тогда безупречно верным будет и все рассуждение. Поскольку забрызганный грязью человек все-таки мог ехать в кебе, вывод Холмса неоднозначен.

Индуктивное умозаключение, напротив, построено на обобщении частных суждений. Стопроцентной доказательной силой оно может и не обладать. Вспомним пример Бертрана Рассела о человеке, ведущем перепись населения и встретившем энное количество людей с одинаковой фамилией. Вывод о том, что в обследованной деревне эту фамилию носят все жители, правдоподобен, но стопроцентной гарантии не дает. Не дает этой гарантии и следующее утверждение: «Под этой бумагой подписались и мистер Смит, и мистер Баэр, и мистер Томсон. Очевидно, и Джонсон поставил свою подпись».

Вот пример реального индуктивного рассуждения из судебной практики:

«Тенденциозность определилась во всем объеме следствия. Конечно, в большей части случаев доказать этой тенденциозности нельзя; она сказалась в том, что оправдывающие обстоятельства только намечены вскользь, но есть два рода показа-

ний, в которых ясно, как на ладони, обнаруживается неправильный процесс подтягивания и прилаживания их к предвзятой идее, а именно показания подсудимых Мгеладзе и Коридзе и показания В. Андреевской; в обоих случаях допрашивали несметное число раз и добывали данные, совсем противные прежде добытым, но прямо соответствующие изменившимся представлениям и взглядам следователя».

Знаменитый адвокат В. Д. Спасович не может доказать, что следствие было тенденциозным, прибегая к неопровергимости силлогизма, и поэтому использует индуктивное рассуждение, анализируя и обобщая разрозненные факты.

Чаще всего индуктивные рассуждения подкрепляются вводными словами, оценивающими достоверность сообщения: «совершенно очевидно», «наверняка», «ясно», «не вызывает сомнения» и т.п. Эффектной бывает и апелляция к слушающему: «Как вы сами понимаете», «Нетрудно догадаться», «Читатель, верно, уже и сам сделал вывод» и т.п. в том числе и знаменитое «Суду все ясно».

Более интересно рассуждение с дефиницией.

Строится оно следующим образом. Вначале дается неправильное определение разбираемого казуса или неправильная квалификация лица, соответствующие тем представлениям, которые надлежит опровергнуть. Часто эти представления разделяет и аудитория. Затем это определение подвергается сомнению и дается новая, подлинная дефиниция.

Например: «Вы полагаете, что капитализм – это общество, где есть бедные и богатые? Но это не так! Бедные и богатые есть всюду. Капитализм – это общество, в котором признается частная инициатива и частная собственность».

Идея рассуждения с дефиницией состоит в том, что в основе противоположного мнения лежит неправильная концептуализация действительности. На ее базе строятся неправильные силлогизмы. Оппонент рассуждает о вреде капитализма, исходя из своего о нем

представления. Это представление суммировано в ложном определении, а затем предлагается другое определение. То же и относительно лица. «Вы считаете Иванова вором, потому что у него оказалась ваша вещь. Следовательно, вор – это человек, у которого найдена чужая вещь. Но это не так. Вор – это тот, кто присвоил чужое тайно, сознательно, помимо воли владельца».

Обратимся к уже процитированной речи В. Д. Спасовича по делу Нины Андреевской:

«У средневековых юристов для доказательства убийства требовалось тело убитого, *corpus delicti*. Здесь есть *corpus*, но весьма сомнительно есть ли здесь *corpus delicti*. Может быть, утоплена, может быть, задушена, но без давления на горло, а одним из способов в романах только встречающихся, например, приложением пластиря и програждением дыхания, а может быть, и утонула. Чтобы обличить убийство, необходимо доказать, что ее известные люди убивали, поймать их на самом действии убийства, а затем, так как нет действия без причины и злодеяния без мотива, доискаться личных целей убийства; необходимы доказательства не самого дела, а преступного влияния подсудимых. Таких доказательств нет, акт действия покрыт совершенным мраком».

Смысл этого рассуждения состоит в том, что не всякая смерть вызвана преднамеренным убийством. Речь идет лишь о несчастном случае. На этом строится вся защита Спасовича.

Итак, логические рассуждения не самая сложная часть риторики. В основе своей они просты, и нет нужды в их подробной дифференциации. Однако параграф о логических доказательствах будет неполон, если мы не рассмотрим феномена логической уловки.

Логическими уловками называются неверные рассуждения, которым внешне придана логическая форма. Это рассуждения со скрытым изъяном.

Наиболее известная логическая уловка называется «После этого – значит поэтому» (*Post hoc ergo propter hoc*). Ее суть в

том, что отношения следования во времени подаются в рассуждении как причинно-следственные. Имеются в виду рассуждения вроде следующего: «Если лампочка перегорела, когда я читал фельетон, значит она перегорела оттого, что я читал фельетон». Как ни стара эта уловка, люди попадаются на нее до сих пор. Особенно хорошо она маскируется статистическими данными: «Телефон – одна из причин, вызывающих близорукость. Известно, что девяносто семь с половиной процентов близоруких людей пользуются телефоном». Чаще всего в таких случаях вывод даже не формулируется. Пусть читатель или слушатель «догадывается» сам. Если наше мнимое рассуждение сформулировать с соблюдением обычной последовательности, то изъян был бы заметнее: «Известно, что девяносто семь с половиной процентов близоруких людей пользуются телефоном. Отсюда следует, что телефон – одна из причин, вызывающих близорукость».

Другой распространенной уловкой является некорректно сформулированный вопрос (**квезиция**). При любом ответе на такой вопрос опрошенный так или иначе дискредитирует себя. Например: «Давно ли вы перестали заниматься антигосударственной деятельностью?» Тем самым навязывается либо ответ «давно», либо «недавно». В обоих случаях опрошенный признает, что он занимался антигосударственной деятельностью. Этот прием срабатывает особенно хорошо, когда обвиняемого засыпают серией подобных вопросов. Тогда у стороннего наблюдателя, если он воспринимает речь обвинителя некритически, складывается впечатление, что опрошенный виноват и вина его доказана.

Эта логическая уловка настолько известна, что сама может быть использована в публицистических целях:

«Если местоимение «я» употреблено А.А. Калягиным применительно лично к себе, прокламированный им отказ от драки с новым русским приводит на память софистический вопрос «Перестал ли ты опохмеляться по утрам?» (М. Соколов).

Самой простой логической уловкой (у древних она называлась *peticio principii*) является вывод основанный ни на чем, как бы на самом себе, как в чеховском: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Убедительный вид такая уловка приобретает в том случае, когда отсутствие доказательства тонет в многословии.

Вернемся к речи Спасовича по делу Нины Андреевской:

«Что бы вы сказали, господа судьи, если бы родственник и ближайший наследник завещателя по закону стал доказывать недействительность завещания сумасшествием, а сумасшествие стало доказывать невозможностью, чтобы по духовному завещанию он, наследник по закону, был бы устранен. Ясно, что здесь будет *peticio principii*, верченье в беличьем колесе. Не то ли самое и здесь?

Вопрос о притворстве есть вопрос чисто психологический о том, что *A* знал, что чего-то нет, и несмотря на то, его искал. Если бы мы не знали по обстановке театрального представления, что мы присутствуем при воображаемых и симулируемых действиях, то мы никак не могли бы решить, правду мы созерцаем или ложь; следовательно, и для решения вопроса притворился ли Давид Чхотуа, необходимо решить, что Нина не утонула и что о неутонутии ее знал Д. Чхотуа и, несмотря на то, ее искал. Но ведь и *A* и *B* суть факты искомые, еще неизвестные. Обыкновенно и в логике идут от величин известных, чтобы определить неизвестные. Здесь же от неизвестных идем к исследованию неизвестных. Вот почему и получаются нелепые результаты».

Задачник обличает обвинение в логической ошибке: Д. Чхотуа обвиняют в том, что он притворно искал тело убитой им Андреевской. Но если он не убивал, почему поиски тела притворны?

Одной из уловок, выделенных еще в античности, является двусмысленность, или амбигю. Это не собственно логическая уловка, так как построена она на явлении омонимии, т.е. на совпадении формальных элементов при несовпадении содержания. Древние рассматривали два случая амбигю: эквилокацию и амфиболию.

Эквилокация основана на использовании разных значений одного слова. Этот прием не раз обыгрывался в художественной литературе. Садовник в басне Козьмы Пруткова понимает слово «прозябать» не в значении «существовать», а в значении «долго находиться на холодах».

Гораздо реже такое происходит в действительности. Так, имела место следующая история: «Некий лысеющий господин обратился в фирму с просьбой посоветовать, как ему лучше сохранить волосы. Заплатив за консультацию, он получил ответ: сохраняйте их в полиэтиленовом мешочке». Эквилокация построена на разных значениях слова «сохранить»: «оставить без ущерба» и «держать, содержать».

Амфиболия основана на двусмысленном истолковании синтаксической конструкции.

Выражение «Ели пирог с тайным советником» можно понять и как сообщение об обычном обеде в обществе тайного советника, и как страшную историю о людоедстве, когда тайный советник послужил начинкой для пирога (ситуация, обыгранная в литературе). Предложение «Мать любит дочь» можно понять и как то, что мать любит свою дочку, и как то, что, напротив, дочка любит свою мать.

Видом амфиболии является **акцентуация**, когда все решает расстановка логического ударения. Этот случай в «народной риторике» обычно обозначается не термином, а указанием на пример: «Казнить нельзя помиловать», где все зависит от интонации (на письме – от знаков препинания): «Казнить. Нельзя помиловать», «Казнить нельзя. Помиловать». На акцентуации построен следующий анекдот. В Политбюро поступила телеграмма от Троцкого. Сначала текст телеграммы прочитали так: «Я не прав. Вы правы. Извините!» Все обрадовались: раскол в партийных рядах преодолен. Один Каганович опечалился. Когда его спросили, в чем дело, он прочитал телеграмму по-другому: «Я не прав?! Вы правы?! Извините!»

Частой логической уловкой является **игнорация** (*argumentum ad ignorantium*), состоящая в том, что довод игнорируется потому, что «никто никогда такого не видел». Если говорящий или даже большая группа лиц не сталкивались с каким-то precedентом, то это, разумеется, не означает, что подобные факты не могут иметь места. В конце концов, все происходит когда-то в первый раз, а главное, опыт отдельного человека всегда ограничен. Но опора на «precedентное» мышление срабатывает очень эффективно. Вспомним, сколь многие рассуждения начинаются со слов «Где это видано, чтобы...» или «До сих пор никто не видел, чтобы...».

В «Беге» М. Булгакова владелец тараканых бегов Артур опровергает обвинение в том, что он напоил пивом фаворита состязаний Янычара, прибегая именно к игнорации: «Где вы видели пьяного таракана?» На игнорации построена также тактика отвержения аргументов противника – антирезис (см. ниже).

Подведем итог. Логические доказательства достаточно тривиальны, зато убедительны. Прибегающий к ним пользуется либо дедукцией (наиболее убедительные доказательства), либо индукцией, либо рассуждениями с дефиницией. От логических доказательств следует отличать логические уловки. Ими не стоит злоупотреблять, но обнаружение их в речи оппонента – очень сильный аргумент. В этой связи мы и дали представление о наиболее распространенных видах уловок. Разоблачение уловки, а тем более называние ее имени (в частности – латинского термина) выглядит в словесном поединке особенно весомым.

§ 4. Доводы к пафосу

Угрозы и обещания. Опора на эмоциональную память. Соответствие декларируемой установки языку

Доводы к пафосу (буквально к "страстям", греч. πάθος) апеллируют к чувствам человека. Традиционно их подразделяют на **угрозы и обещания**. Угроза заключается в том, что оратор пока-

зывает, какими неприятными последствиями чревато принятие того или иного решения.

«Наперед сообразите, сколь велики неожиданности войны, прежде чем она вас застигнет. Надолго затянувшаяся война ведет обыкновенно к таким случайностям, от которых мы, как и вы одинаково не застрахованы, и каким будет результат ее, остается неизвестным. Когда люди предпринимают войну, то начинают прямо с действий, какие должны были бы следовать позже, а рассуждать начинают тогда уже, когда потерпят неудачи. Мы еще не сделали никакой подобной ошибки, не видим ее и с вашей стороны. Пока правильное решение зависит вполне от вашей и нашей воли, мы советуем не нарушать договора и не преступать клятв, разногласия же между нами решить судом, согласно условию. В противном случае, если вы начнете войну, мы, призывая в свидетели богов, охранителей клятв, попытаемся защититься так, как подскажет нам ваш образ действия».

Как видно из примера (он позаимствован из Фукидода) угроза может выглядеть достаточно взвешенно. Сильный момент этой речи – «мы еще не сделали никакой подобной ошибки», т.е. война опасна, но мы до сих пор были достаточно благоразумны, и еще не поздно остановиться.

Обещание, напротив, состоит в том, что с принятием того или иного решения связываются какие-то улучшения. Например, оратор может утверждать, что, проголосовав за коммуниста, мы обеспечим себе социальное страхование. Это будет обещанием. Соответственно, угрозой будет рассуждение о том, что проголосовав за коммуниста, мы обрекаем себя на дефицит, а то и на репрессии.

Такова общая схема. Практика предоставляет огромный простор для творчества, которое, естественно, чревато и удачными риторическими находками, и промахами. Законы логики сегодня те же, что и в античной Греции, а вот страсти человеческие и те же, и не те же. Те же они в том смысле, что направления их век-

торов остались неизменными. Людьми движет чувство самосохранения, желание «расширения» (продления рода), понятие о справедливости (что я обязан дать и что мне причитается), познавательное и эстетическое любопытство (в том числе и безотносительно к практическому результату). Так было всегда. Однако чувства эти и не те, потому, что аргументы к пафосу опираются на эмоциональную память. А эмоциональная память человека определяется его жизненным опытом. Поэтому довод к пафосу не следует формулировать так: «Вот вы проголосуете за Зюганова, и возникнет дефицит». Слово «дефицит» слишком абстрактно, чтобы глубоко задеть эмоциональную память. Аргумент к пафосу даже в самом схематичном виде может звучать только так: «Вот вы проголосуете за Зюганова, и получите пустые полки», а еще лучше: «...и на полках будет только «Завтрак туриста». Это уже обращение к эмоциональной памяти конкретного поколения людей. Картина можно развить и дополнить: «На полках вы обнаружите только «Завтрак туриста» и «зельц русский», а продавщица не захочет с вами разговаривать».

Аргументируя к пафосу, оратор использует только две крайние точки шкалы эмоциональной памяти: то, что заведомо неприятно, и то, что заведомо приятно. Первое приурочено к угрозе, второе – к обещанию. Но каковы единицы этой шкалы?

Во-первых, это попросту эмоционально окрашенная лексика: слова, вызывающие приятные и неприятные ассоциации. Такой «точечный» жанр, как коммерческая реклама, пользуется этой лексикой весьма охотно: на одном полюсе «свежесть», «чистота», «здоровье», на другом – «перхоть», «морщины», «болезнь».

Следует, однако, заметить, что использование крайних точек шкалы не подразумевает чрезмерной интенсификации речи. Подобно тому как слова «исключительный», «эксклюзивный» не красят товарную рекламу, так и интенсификаторы в виде превосходных степеней прилагательных («наикраснейший из краснейших») не красят рекламу политическую. Удержать крайние точки

шкалы без интенсификатора – означает искусно построить рекламу. Это помогают сделать конкретизаторы. Например, вместо «исключительное ощущение свежести» в торговой рекламе можно употребить выражение «свежесть, напоминающая запах сена» или «свежий запах сосновых иголок». Точно так же и в политическом красноречии такие слова, как «знающий», «компетентный», лучше конкретизировать: «знаток юридических тонкостей», «хорошо знает производство». Всякая конкретизация заставляет говорящего остановить на чем-то свой выбор и предполагает ответственность за этот выбор. Сказать «исключительная свежесть» – все равно что не сказать ничего. Но пообещать запах сосновых иголок – это уже значит обязать себя. Употребление интенсификатора ни к чему не обязывает, говорящий неувовим. Используя конкретизатор, говорящий за отказ от этой безответственности и неувовимости получает доверие слушающего, ибо и слушающий понимает, что чем больше интенсификации и меньше конкретики, тем меньше стоит само сообщение.

Во-вторых, на шкале эмоциональной памяти располагаются и более крупные, чем слова, единицы: это описания неких известных ситуаций, образов. Выше мы говорили об изображении пустого магазина как о доводе к пафосу. Пустой магазин – это некая трафаретная картинка – фрейм, который может быть эмоционально «раскрашен» говорящим. Вот почему мы припомнили «пустые полки», «Завтрак туриста», «зельц русский», «грубую продавщицу»; все это психологически значимые элементы картинки «пустой магазин при дефицитной экономике».

Слово **фрейм**, столь широко применяемое сегодня в когнитивной науке, буквально означает «рамка». «Магазин» это рамка с готовыми позициями: продавец, покупатель, ассортимент, цены. Оратор заполняет эти позиции, опираясь на эмоциональную память аудитории: «невнимательный (предупредительный) продавец», «свальяжный (стиснутый очередью) покупатель», «скучный (богатый) ассортимент», «низкие (недоступные) цены». За-

полнение фрейма похоже на подбор цветных карандашей для детской книжки-раскраски. От оратора требуется подобрать правильный фрейм и умело его раскрасить.

При апелляции к пафосу автор должен быть очень внимателен к своему языку. Очень часто, постулируя высокий пафос, взволнованность, стараясь зажечь аудиторию, говорящий пользуется вялым языком, красноречиво свидетельствующим о полном равнодушии к предмету речи. В «Теркине на том свете» А.Твардовского есть такие строчки:

*Надпись: «Пламенный оратор» –
И мочалка изо рта.*

Этот загробный оратор – пример самой грубой риторической ошибки. Более тонкие состоят в том, что языковые средства оказываются неуместными в данной «пафосной» ситуации и гораздо больше соответствуют другой ситуации.

Излагая теорию риторических фигур, мы специально уделим внимание наиболее уместному их употреблению. Предваряя же эти сведения, рассмотрим следующий искусственно построенный сюжет. Вообразим себе, что некто, заверяя нас, что непременно сдержит свое слово, высказываетя так: «Обещания я, конечно, сдержан. Свои. Да, обещания – ну те, которые я (помните) давал (и в прошлый раз тоже) вам». Вряд ли, по этой речи вы составите впечатление о человеке, уверенном в себе, хотя это речь, призванная продемонстрировать именно это качество говорящего. Здесь употреблены риторические фигуры, не подтверждающие данного пафоса, пафоса уверенности. А как может быть воспринята речь человека, выражающего свои колебания в таких словах: «Я растерян и каждую минуту меняю свои решения. Я растерян и каждую минуту не знаю, что предпринять. Я растерян и поэтому пребываю в большом смущении»? Поверим ли мы в такую растерянность?

Итак, использование доводов к пафосу – это апелляция к чувствам слушателя с опорой на его эмоциональную память. Сами доводы к пафосу состоят в обещании или в угрозе. Стремясь ак-

тивизировать эмоциональную память, заразить слушателя тем или иным чувством, заставить поверить в обещание и почувствовать угрозу, говорящий должен тщательно выбирать узнаваемые ситуации – фреймы, должен уметь «попасть в струю», разбудить знакомые воспоминания. Ему необходимо с осторожностью относиться к абстрактным интенсификаторам речи и следить за тем, чтобы языковое выражение аргументов соответствовало пафосу его речи.

§ 5. Доводы к этосу

Отвержение и сопереживание. Опора на коллективный опыт. Системный характер этической аргументации

Доводы к этосу (буквально "обычаю", греч. ηθος), или этические доказательства, принято делить на доводы к сопереживанию и доводы к отвержению. И те и другие опираются на общие для данного этоса (этноса, социальной группы, людей одной веры, конфессии) нравственные представления. Однако опорой для них является уже не индивидуальный опыт, как для доводов к пафосу, а опыт коллективный. Доводы к сопереживанию предполагают коллективное признание определенных позиций, а доводы к отвержению – коллективное их отторжение, неприятие. В последнем случае этическое доказательство ведется от противного.

Вот как в изложении Фукидида Перикл в одной из своих речей доказывает полезность военных действий:

«Следует знать также, что величайшие опасности доставляют, в конце концов, величайший почет как государствам, так и частным лицам. Ведь отцы наши противостояли же персам: они были не в таком блестящем положении, как мы теперь, а оставили и то, что у них было, и отразили варваров, благодаря не столько слепому счастью, сколько собственному благородству, не столько материальными силами, сколько нравственною

отвагою, и подняли наше могущество на такую высоту. Мы должны не отставать от наших отцов, но всякими способами отражать врага и стараться передать это могущество потомкам в неуменьшенном виде».

Оратор говорит не об опасностях войны или возможности легкой победы, как это было бы в случае аргументации к пафосу, связанному с угрозой и обещанием, а об этических категориях и ценностях, способных поднять дух афинян, – о верности памяти отцов, о славе.

Рассмотрим совсем другой пример. Герой кинофильма «Берегись автомобиля» Юрий Деточкин дерзко и изобретательно угнает автомобили, а вырученные от их продажи деньги жертвует детским домам. Красть нехорошо. Но все симпатии зрителей на стороне угонщика, потому что тот проявляет полное бескорыстие (довод к сопереживанию) и чувство справедливости (также довод к сопереживанию). В фильме есть еще один мотив: Деточкин крадет автомобили, приобретенные на неправедно нажитые деньги. Это уже довод к отвержению: зрители не сочувствуют пострадавшим. Бескорыстие и чувство справедливости – чрезвычайно ценимые в нашем этносе качества. Поэтому мы и симпатизируем герою кинокомедии.

Отметим, что доводы к сопереживанию чаще всего направлены именно на личность. Личность, являющаяся носителем социально одобренных качеств, вызывает симпатии. Если, например, нам скажут о человеке, что он добр, это расположит нас к нему, ибо доброта – одно из особенно одобряемых в нашем этносе качеств.

Доводы к отвержению направлены на личность реже. Правда, осуждая кого-либо, мы обычно называем такие его качества, которые порицаются принятой у нас моралью. Но это не самый удачный случай применения доводов к отвержению. Любопытно, что в русском языке есть глаголы «обелять» и «очернять». Есть и слово «очернитель», и слово «клеветник», но слова «обелитель» нет. Вообще, обвинение распространено в нашей культуре гораз-

до шире, чем оправдание, и для обозначения ложного обвинения в нашем языке припасено гораздо больше слов, чем для обозначения ложного оправдания. Чего стоят хотя бы такие выражения, как «марать», «лить грязь», «копаться в грязном белье».

Наиболее удачные доводы к отвержению направлены не на конкретную личность, а на ее пороки, что соответствует христианскому принципу отделения греха от грешника. Например, риторический вопрос «Разве мы должны оставлять без помощи детей и стариков? Да еще к тому же больных детей? Беспомощных стариков?» прозвучит как сильный довод к отвержению. Всякому понятно, что речь идет о поведении, не одобряемом нравственной нормой. Беспомощных стариков и детей нельзя бросать на произвол судьбы.

Вот пример довода к отвержению:

«Господа присяжные! Щадите слабых, склоняющихся перед вами свою усталую голову; но когда перед вами становится человек, который, пользуясь своим положением, поддержкою, дерзает думать, что он может легко обмануть общественное правосудие, вы, представители суда общественного, заявите, что ваш суд – действительная сила, сила разумения и совести, и согните ему голову под железное ярмо закона».

Здесь защитник А.И. Урусов, оправдывая своего подзащитного, в то же время перелагает вину на другого, используя довод к этосу, в данном случае опираясь на представление о том, что сильные мира сего тоже должны отвечать перед законом, наравне с прочими. Довод, действенный и сегодня. Не случайно уже в самом начале своей речи Урусов говорит:

«Есть одно чувство, господа присяжные заседатели, которое как бы вставало воочию перед вашими глазами, словно возвышалось над этим уголовным процессом, чувство величественное и гордое, – это чувство общечеловеческого равенства, равенства, без которого нет правосудия на земле!»

Это типичный довод к этосу.

Использование несимпатичных свойств человека в качестве доводов к отвержению – распространенная ошибка политической риторики. Общество с большим подозрением относится к тому, кто ругает других. Это тоже след христианской этической нормы. Нет человека, который не знает, что не хорошо видеть в чужом око соломинку, а в своем не замечать и бревна. Кроме того, русская коллективная память помнит совершенно бескорыстных, праведных обличителей, Христа ради юродивых, правоискателей, отказавшихся от мирских радостей и ради правды подвергавших себя опасности. Поэтому человек, становящийся в позу обличителя и преследующий при этом собственные интересы, производит тяжелое впечатление: если ему и удается бросить тень на другого, то и на него самого падает тень.

Плохое впечатление от обличений может сгладить только «мораль» – обобщение, выводимое из конкретного случая. Так, собственно, и поступает процитированный выше судебный оратор Урусов. Если оратор морализирует, ему многое прощают. От моралиста ждут полезных советов. Русская культура любит посрамление порока, разоблачение греха. К этому она подготовлена нравственными проповедями, в том числе и проповедями художественными, которыми так богата русская классическая литература. Но если «морали» мало, а очернения конкретного человека в преизбытке, это воспринимается как «грязь», и риторических очков такой оратор не заработает.

Рассуждая о доводах к этосу, мы говорили «в нашем этносе», «у нас». В самом деле, имея много общего, этические нормы разных этнических и социальных групп во многом расходятся. Если аргументы к логосу универсальны, а аргументы к пафосу обусловлены индивидуальной эмоциональной памятью, то аргументы к этосу, как уже было сказано, обусловлены коллективной памятью и коллективной моралью. Вопрос об уместности аргументации встает здесь особенно остро.

И еще одно замечание. Если доводы к очевидному и к логике должны быть точными, истинными, то доводы к пафосу и этосу

должны быть искренними. Оратор уничтожает сам себя, когда своим поведением противоречит своим же аргументам. Оратор оказывает себе плохую услугу, когда в одном и том же выступлении апеллирует к взаимоисключающим нравственным нормам. Его оппонент окажется очень неискусным, если этим не воспользуется. И уж совсем невыигрышная для оратора позиция – смена этических норм, именуемая «приспособленчеством». Нельзя в одном выступлении прославлять атеизм, а в другом – религию. Этого оппоненты не простят никогда, даже если слушатели об этом и забудут.

Доводы к этосу ставят говорящего в определенную позицию. Иногда эту позицию трудно выдержать, и тогда доводы к этосу оборачиваются против говорящего.

«Не жаждой власти, не карьерными устремлениями, не пустым тщеславием и честолюбивыми устремлениями обусловлено мое решение баллотироваться на должность губернатора на второй срок. Моя жизнь сложилась, и с высоты своих лет и в нелегких трудах приобретенного опыта я ощущаю это не просто своей обязанностью, а, если хотите, долгом», – заявляет в открытом письме губернатор В. А. Стародубцев.

Этим заявлением, как и другими, содержащимися в том же письме, автор отводит себе в предвыборной борьбе роль бескорыстного правдолюбца, роль на Руси очень уважаемую и хорошо проработанную в русской культуре. Слишком уж высокие образцы подлинного правдолюбия и бескорыстия были заявлены в нашей истории и нашей культуре и остались в народной памяти. Поэтому, не будучи подкрепленной, завышенная аргументация к этосу производит комическое впечатление. На память приходит цитата из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова: «Не корысти ради, но токмо волею пославшей мя жены...».

Подытожим сказанное. Доводы к этосу апеллируют к этическим представлениям, отложившимся в коллективной памяти. Они подразделяются на доводы к сопереживанию и доводы к от-

вержению. Доводы к отвержению лучше не связывать с осуждением конкретного лица. Если же такая связь необходима, она должна быть сглажена обобщением, «моралью». Доводы к этосу ко многому обязывают говорящего, ставя его в определенную этическую позицию. Эта позиция должна быть соизмеримой как с его персоной, так и с его словами, сказанными ранее.

§ 6. Ссылка на авторитеты

Доверие и недоверие. Подкрепление логических, эмоциональных и этосных доводов.

Ссылка на авторитеты называется еще доводами к доверию и доводами к недоверию. Их суть в усилении логических, этических и эмоциональных доказательств. Для этого привлекается третья сторона (первая стороной мы называем говорящего, второй – слушающего). Если третья сторона – союзник, то это доводы к доверию, если противник, – к недоверию.

Если речь идет о логическом доказательстве, довод к доверию состоит в том, что наряду с логическим рассуждением указывается лицо, которому это рассуждение принадлежит, и, как правило, дается характеристика этого лица, соответствующая «логосному» духу, такая, как «великий мыслитель древности», «знаменитый логик двадцатого столетия», «китайский мудрец» и т.д. Иногда имена говорят сами за себя, и тогда обычный способ их введения выглядит следующим образом: «Еще Сократ полагал, что...», «Сам Аристотель, отец логики, считал, что...».

В качестве третьей стороны при приведении логического доказательства могут выступать эксперты. Ссылаясь в одной из своих речей на показания экспертов, А.Ф. Кони вначале рассуждает о роли бухгалтерской экспертизы вообще (в разбираемом деле требовалась именно такая экспертиза):

«Бухгалтерская экспертиза требует особого навыка и особых специальных знаний. Если в представителях ее вы не найде-

те признаков навыка или ручательства в полном обладании счетоводной техники, если заключение их нетвердо, шатко, уклончиво, вы хорошо поступите, если отвергнете экспертизу и не будете ее считать доказательством. Но если экспертиза произведена и выражена со спокойствием и достоинством истинного знания, если сами эксперты являются настоящими представителями своей специальности, то экспертизу надо принять и прислушаться к ней со вниманием и уважением».

После такой преамбулы применяется сам довод к доверию: «Вы слышали, что говорили эксперты, вы знаете, кто они: один опытный чиновник министерства финансов, другой – бухгалтер частного банка, третий – представитель счетоводного учреждения и изобретатель новой системы, системы тройной бухгалтерии».

Ссылка на авторитет в доводе к пафосу также обычно содержит характеристику самого авторитета. Это может быть не только авторитет в собственном значении слова, но и малоизвестный человек, ставший авторитетом как лицо, испытавшее на себе то, о чем говорится в угрозе или обещании. Более того, в последнем случае третья сторона может быть названа обобщенно: «Всякий американец вам скажет, что ...», «Тому, кто испытал ужасы войны, не надо объяснять, что...», «Тот, кто жил при социализме, прекрасно помнит, как ...». Так как речь идет не о фактическом доказательстве (свидетельских показаниях в узком смысле слова), такое обобщенное называние третьей стороны вполне допустимо, если только не расходится с действительностью.

Ссылка на авторитет в доводе к этосу чаще всего содержит характеристику авторитета (с «этосной» стороны) и указание на самого адресата речи. Ее обычная схема такова: «Такой-то, а уж он в этом знает толк, сказал, что мы часто забываем о том-то».

Интересную ссылку на авторитет содержит одна из защитительных речей С. А. Андреевского. Ссылка замечательна тем, что довод к доверию сочетается в ней с доводом к недоверию, причем оба авторитета – великие русские писатели. Андреевский за-

щищал мужчину, убившего женщину из ревности, и вполне естественно вспомнил «Крейцерову сонату» Толстого. Кстати, он не мог ее не вспомнить еще и потому, что повесть в то время была на слуху у присяжных.

«Конечно, он погиб из-за любовной страсти, из-за того чувства, которое так глубоко заявляет о себе в процессах и над которым так мучительно думал Толстой, когда писал свою «Крейцерову сонату». К чему же пришел знаменитый писатель? Он нашел, что единственное средство избегнуть бедствий и преступлений от любви – это совершенно и навсегда отказаться мужчинам от женщин. Легко ли сказать? Единственное возможное средство – и то невозможное. Значит, дело не так просто. Многие благородные мыслители предлагают теперь заняться очищением нравов путем целомудренного воспитания. Но Иванов созрел ранее этих благих начинаний; к тому же он имеет болезненно-пылкую кровь. Да еще и неизвестно, насколько поможет горю проповедь борьбы со страстями. Не глубже ли сказал Пушкин: «И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет!»

Не полемизируя прямо с Толстым и современными моралистами, защитник мягко отвел их рецепты и сослался как на авторитет на Пушкина.

Выше говорилось о доводах к доверию.

Недоверие при доводе к логосу создается тем, что приводится заведомо неверное высказывание, принадлежащее человеку, в логических способностях которого автор сомневается. В этом случае также часто используется эффект «эксперт не в своей области».

«Конечно, если нет мотива, так о чем же и говорить; но полагаться на судебно-медицинскую экспертизу, что она раскроет мотивы, кажется мне совершенно неосновательным; исследование мотивов преступления ложит в области явлений более сложных, чем те, которыми занимается медицина» (А. И. Урусов).

Недоверие при доводе к этосу создается тем, что какое-то лицо квалифицируется как не знающее людей (чаще всего людей

вполне конкретных, данную социальную или возрастную группу), не понимающее их этических установок. Например: «Такой-то с большим чувством говорит о проблемах молодежи. Но он, видимо, забыл, чем живет молодежь. А о сегодняшней молодежи, ее мыслях и чувствах просто не имеет представления». В одной из сатирических песен Галича описана ситуация, когда выступающему на митинге дают текст чужой речи и он, мужчина, вынужден произносить слова: «Как мать говорю и как женщина». В данном случае сатирик выразил глобальное недоверие к этосу советских речей, показывая несоответствие этических клише пафосу реальной жизни оратора.

Недоверие при доводе к пафосу (угрозе или обещанию) создается аналогичным образом: показывается, что лицо, апеллирующее к пафосу, плохо знает людей, к которым апеллирует. Например: «Он обещает голодным старикам «сникерсы» и дискотеки! Он приглашает их насладиться звуками тяжелого металла, а им нужно бесплатное медицинское обслуживание!» Или: «Он угрожает повстанцам войной? Людям, которые уже сорок лет носят при себе оружие! Да... Навряд ли этот политик сможет управлять людьми!»

Выразительный пример возбуждения недоверия при доводе к пафосу находим у А. Ф. Кони. Знаменитый судебный оратор берет на себя смелость выразить недоверие общественному мнению, противопоставив его общественной совести.

«Но суд общественного мнения не есть суд правильный, не есть суд свободный от увлечений; общественное мнение бывает часто слепо, оно увлекается, бывает пристрастно и или жестоко не по вине, или милостиво не по заслугам. Поэтому приговоры общественного мнения по этому делу не могут и не должны иметь значения для вас. Есть другой, высший суд – суд общественной совести. Это ваш суд, господа присяжные».

Очень часто доводами к недоверию ставятся под сомнение свидетельства, т.е. доводы к очевидному. Самым типичным в таких случаях является сомнение в компетентности свидетеля:

«Но я не хочу сказать, что Пайт – ложный свидетель, придумывающий события, чтобы припутать свое неизвестное к загадочному процессу. Просто он в темноте, сидя на пароходной пристани, не разглядел хорошо происходящего, перепутал и время, и место и ошибочно утверждает, что Мезина стояла сверху на панели, тогда как в действительности она стояла внизу, у самой воды» (из речи адвоката М. Г. Казаринова)

Итак, доводами к доверию или к недоверию поддерживаются основные виды аргументации: доводы к очевидному, логические доказательства, доводы к пафосу и доводы к этосу. Обращаясь к авторитетам, говорящий привлекает «третью сторону»: для доводов к очевидному – очевидцев, для логических доказательств – специалистов, для доводов к пафосу – «лицо, испытавшее все это на себе», для доводов к этосу – «лицо, знающее в этом толк». Выстраивая доводы к недоверию, говорящий отталкивается от показаний лжеавторитетов: некомпетентных свидетелей, специалистов, действующих не в своей области, «лиц, не испытавших этого на себе», и «лиц, ничего в этом не смыслящих».

§ 7. Общие места

Два понимания термина «общие места». Широко принятая трактовка общих мест, ее значение. Экспрессия и стандарт. Аристотелево понимание общих мест. Четыре основных топоса. Статисы. Тезис и гипотезы

Термин «общие места» – калька с греческого κοινοί τόποι, существовавшая уже в латинском языке (*loci communes*). Однако разными авторами термин применялся в разном значении, частично даже пересекаясь с понятием «аргумент». Нас будут интересовать два значения этого словосочетания: первое, закрепившееся в языке и выходящее за пределы риторики, второе, введенное Аристотелем.

В первом значении общие места – некие расхожие истины или привычные концепты, штампы, на которые ссылается оратор

либо явно, либо опираясь на них как на распространенные представления. Это близко к этическим доводам. Но общие места, имеют более узкое и менее укорененное распространение, чем этические максимы. Например, общим местом современного западничества является концепт «цивилизованного мира», а современного почвенничества – концепт «национальных ценностей». Часто общими местами называют риторические штампы, некие клишированные риторические ходы. Например, ярых антикоммунистов часто уподобляют самим коммунистам, точнее большевикам, говоря о «большевиках с обратным знаком».

Что дает нам такое понимание общих мест? Прежде всего оно позволяет характеризовать разные идеологические направления политической риторики, диагностировать принадлежность оратора к той или иной политической группировке, к той или иной ораторской школе.

Далее, система общих мест и особенно их динамика позволяет увидеть политическую карту эпохи. Смена парадигмы в государственной риторике ленинского, сталинского, хрущевского, брежневского периодов – это смена общих мест. В нашей книге мы будем говорить об общих местах именно в этом значении.

Наконец, категория «общее место», как и категория «штамп», содержит в себе и положительную, и отрицательную характеристики. За этими характеристиками стоит вечная игра экспрессии и стандарта, которые постоянно сменяют друг друга. Стандарт в выражении обеспечивает некую риторическую стабильность. Повторение риторических ходов делает их узнаваемыми, способствует консолидации единомышленников, служит своего рода фирменным знаком эпохи. Но затянувшееся господство стандарта приводит к риторическому застою, речевые ходы теряют остроту, возникает необходимость обновления штампов, общих мест. Когда такое обновление состоится, его успех, как правило, вызывает к жизни желание закрепить его. Так появляются новые общие места.

Другое понимание общих мест связано с поисками доводов через тематическое членение действительности. Во избежание путаницы используем здесь термин «толос» (от гр. τόπος – «место»).

Аристотель выделяет четыре общие темы, которые можно развивать:

- 1) то, что произошло и чего не было;
- 2) то, что будет и чего не будет;
- 3) то, что может или не может (должно или не должно) произойти;
- 4) мера существующих вещей.

На первый взгляд, все это слабо связано с убеждающей речью и выглядит довольно абстрактно. В действительности эти четыре толоса – своеобразные стороны света в поле аргументации. Предположим, вы защитник социалистической модели общества, а ваш оппонент – капиталистической. Как выстроить свою аргументацию? Отвечая на этот вопрос, вы можете выбрать любое из указанных направлений или их комбинацию. Например, первый толос можно развивать в направлении «а был ли у нас в стране социализм?» или в направлении «потерпел ли он поражение?» Второй толос, естественно, будет связан с перспективами социализма или капитализма. Третий можно разворачивать в модальности должного и в модальности возможного. Можно, скажем, ссылаться на исторические законы, говорить о беспрецедентности чего-то или, напротив, о precedентах. Четвертый толос наиболее сложен. Здесь может быть поставлен вопрос о том, в какой мере капитализм можно рассматривать как положительное явление, или о том, до какой степени надо поддерживать идеи социализма. Суть четвертого толоса в установлении оптимального, положительного, полезного, допустимого масштаба какого-либо явления, определение оптимальной степени участия какого-то компонента в чем-то и т.д. Коротко говоря, толосы – это внутренняя кухня инвенции. Их роль – наводить говорящего на нужные мысли.

Обращение к четырем общим топосам можно рекомендовать на первой стадии инвенции, особенно, если нет более определенных замыслов. Вполне возможно, что оратор имеет дело с достаточно разработанным тематическим полем. Тогда ему самому следует наметить частные топосы применительно к уже существующему полю и затем выбрать направление для дальнейшего тематического разворачивания. Скажем, реально поле «социализм – капитализм» уже достаточно истоптано. Существует, например, тема «Социализм в СССР не был социализмом» и тема «В некоторых капиталистических странах социализм построен». Такие частные темы близки к общим местам в первом значении. Если оратор собирается выступить в этом тематическом поле, лучше всего его исчислить, исчерпать хотя бы для своего внутреннего пользования те направления, в которых он может двигаться. Это поможет оратору найти собственную аргументацию, «изобрести мысль» и подготовит его к встрече с аргументацией оппонента.

К тематическому членению мыслительного пространства близко еще одно понятие древней риторики – стасис (от. гр. *στασίς* – «состояние»). Стасисы – это обстоятельства дела (преимущественно в судебном красноречии). Они отвечают на вопросы: кто сделал, что сделал, когда сделал и как. Могут включать и вопрос: «А судьи кто?» Тематический подход со стороны стасиса полезен тогда, когда нужно подвергнуть сомнению некую цельную картину, нарисованную оппонентом. В «Братьях Карамазовых» этим приемом пользуется, например, защитник Дмитрия Карамазова. Дмитрий ли убил? (кто) Да и было ли убийство? (что). Иногда стасисы рассматриваются как последовательные барьеры, защищающие от обвинения: Иван не убивал, а если и убил, то в целях самообороны, а если и не в целях самообороны, то мы можем его оправдать психологически, а если ему и нет психологического оправдания, то посмотрите, на его обвинителей, чем они лучше?

В этом же русле лежит деление аргументов на главный – тезис – и вспомогательные – гипотезы. К последним относятся семь элементов: действующее лицо, действие, время, место, причина, начальные условия.

Таким образом, общие места и близкие к ним риторические категории полезны в отношении тематического исчисления мыслительного и риторического поля. Собственно общие места полезны для оценки именно риторического поля, для понимания того, из каких кирпичиков строится тот или иной дискурс. Топосы и примыкающие к ним стасисы и гипотезы полезны в отношении оценки мыслительного пространства. Топосы особо полезны на первой стадии поисков аргументов.

Глава 2. Диспозиция

§ 1. Три подхода к композиции речи

Теория выдвижения. Теория расположения доводов. Теория частей ораторской речи

Диспозиция – это учение о композиции речи. В отношении диспозиции речи возможны три подхода.

Речь, во-первых, должна быть выпуклой, правильно структурированной. Главное в ней должно быть подчеркнуто, а не утоплено в общем содержании. Дряблые, аморфные речи плохо воспринимаются. Они лишены главного качества – ясности. Обратим внимание на простую вещь – разбиение печатного текста на абзацы. Сплошной текст всегда воспринимается хуже, читается медленней, чем графически структурированный, например такой, части которого снабжены заголовками. Вспомним, как облегчает восприятие новой информации графическое выделение, подчеркивание, особенно необходимое в учебнике или конспекте. А хорошо ли запоминается монотонная устная речь?

Умению правильно структурировать речь, выделяя в ней главное, посвящена специальная теория – теория выдвижения.

В классической риторике в законченном виде ее не было. Существовали лишь отдельные замечания на этот счет. Теория выдвижения родилась уже в наш век и адекватно отражает законы распределения информации в речи с опорой на нейролингвистическую и теоретико-информационную базу.

Во-вторых, доводы должны образовывать наиболее выгодную последовательность, которая существенно зависит от таких факторов, как степень принятия аудиторией самого оратора и его системы ценностей. Теория расположения доводов учит нас, когда следует отступать, когда наступать, а когда маневрировать. С этой стороной композиции знакома даже наивная риторика. У нее в ходу такие обороты, как «Самый сильный довод он приберег на конец», или, напротив, «Он сразу выложил все главные козыри».

В-третьих, изучая композицию речи, риторика выделяет неизменные ее части, т.е. те части, из которых состоит любая речь (вступление, заключение и др.). Этим занимается разработанная еще в античности теория частей ораторской речи. Эта теория открывает возможность отдельного изучения каждой части, а также классификации и каталогизации частей ораторской речи, ибо риторическое мышление распространяется не только на темы речей, но и на сам предмет риторики. Выделение отдельных «модулей» речи удобно и в дидактическом отношении. Можно тренировать себя, сочиняя, например, вступления. Можно делать «заготовки» для тех или иных «модулей», что имеет смысл как в индивидуальной работе оратора, так и в работе специальной фирмы.

§ 2. Принцип выдвижения. Отмеченные позиции

Неравномерность распределения информации в тексте и принцип выдвижения. Заголовок. Начало. Финал

Принцип выдвижения основан на современном представлении об информационной структуре текста.

И в устном ли, и в письменном тексте информация распределена неравномерно: есть информационные густоты, а есть пустые

места, «вода». В этом легко убеждаются те, кто работает с информантами, угадывающими текст побуквенно или пословно. Допустим, мы взяли фразу «Колумб открыл окно» и предлагаем участникам эксперимента восстановить ее, называя слова на выбор. Первое слово будет названо правильно явно не с десятой и даже не с сотой попытки. Зато после слова «Колумб» слово «открыл» последует с довольно большой долей вероятности. Затем угадывающий будет пытаться подставить в предложение слово «Америку», а узнав, что оно не подошло, начнет подбирать другие географические названия. Кривая распределения информации в предложении будет выглядеть следующим образом: одна вершина на слове «Колумб», другая – на слове «окно». Эти два слова и являются информационными центрами предложения.

Аналогичным образом можно подсчитать распределение информации и в отдельном слове, и целом тексте. Суть одна: есть информационные пики и спады, и это совершенно согласуется с устройством внимания человека, которое не может работать на одной монотонной волне напряжения. На пиках мы максимально напрягаемся, на спадах отдыхаем. В русском слоге пик обычно приходится на согласный, в слове – на начало корня и окончание.

Если мы компрессируем информацию, например, сокращаем слова, опускаем те их части, которые легко восстановить, воспринять речь будет сложней, чем обычно, из-за невозможности отдохнуть на том, что мы пренебрежительно именуем «водой». Известно, что конспект читать трудней, чем книгу.

Этим свойством распределения информации можно сознательно пользоваться при построении текста. В каждом тексте есть самое главное, суть его содержания, и менее главное. Правильно организованный текст – это текст, в котором информационные пики приходятся именно на главное, а побочное оказывается предсказуемым, легко расшифровываемым. Тем самым главное в тексте выдвигается на первое место, и текст в целом становится гораздо более понятным.

Поясним сказанное на примере такого известного графического приема, как курсив. Текст, выделенный курсивом, более неожидан, менее предсказуем, чем текст обычный, немаркированный. Если в тексте основные положения, определения, термины даны курсивом, общий смысл текста становится более выпуклым. Но если воспользоваться курсивом бездумно, выделяя случайные слова, до общего смысла, напротив, добраться будет гораздо сложнее. Возьмем фразу из учебника: «В античности под диалектикой понимали доказательство, в котором использованы не только силлогизмы, но и параболы, парадигмы и энтилеммы». Нормальный курсив в этом тексте должен выглядеть так: «В античности под *диалектикой* понимали доказательство, в котором использованы не только *силлогизмы*, но и *параболы, парадигмы и энтилеммы*». Такой курсив, выделив дефинируемые понятия и термины, облегчает восприятие учебного текста. А вот другой вариант выделения: «В античности *под диалектикой понимали* доказательство, в котором использованы не только силлогизмы, но и параболы, *парадигмы и энтилеммы*. Ясно, что такая акцентуация затемняет смысл текста. Читатель должен затратить лишнее время, чтобы мысленно избавиться от неоправданного курсива.

Теория выдвижения учит нас при выборе композиции особым образом маркировать главные мысли.

Для этого есть две возможности. Во-первых, это отмеченные позиции, те места, которые маркованы априорно, самим положением в тексте, как, например, заглавие. Во-вторых, это позиции, созданные специальными схемами выдвижения, когда дополнительное внимание к определенным фрагментам текста привлекается особым расположением его элементов. Остановимся на первом случае.

В устной речи естественно сильной позицией являются зачин и концовка выступления. Эти элементы маркованы тем, что с одного речь начинается, а другим завершается. В письменной речи графика порождает и другие позиции. Это заглавие, подзаголовок, лид, врезка, плюс те же начало и конец текста.

Заголовок является своеобразным символом текста: с одной стороны, он его неотъемлемая часть, с другой – представитель всего текста в целом. Заголовок – мощный ключ к быстрой разгадке смысла всего текста. Это относится не только к газетным, но и к художественным заглавиям. Так, название романа «Преступление и наказание» сразу сигнализирует и о тематике, и о высоте философских обобщений, заглавие же «Золотой теленок» – о сатирическом или юмористическом развитии темы «золотого тельца». Что касается газетных заголовков, то у них появляются дополнительные возможности, связанные с организацией газетной полосы. Заголовок в газете не только знак текста, не только его часть, он связан со всеми другими заголовками и вообще со всеми шрифтовыми выделениями. В совокупности выделенные графически места образуют своеобразную газету в газете, которую мы читаем еще не обратившись к самим текстам статей и заметок.

Последнее свойство очень важно для автора статьи. Дело в том, что газетчики почти всегда втягивают заголовок в свою собственную «игру», он участвует в создании всего номера. Для них заголовок – штрих в том политическом пейзаже, который они рисуют. Заголовками и другими выделенными словами газетчик пользуется как широкими мазками. Выделенный графически текст образует экспресс-информацию о случившемся, дает ему экспресс-оценку. Для автора же статьи заголовок – мощное средство выдвижения, обозначения главного внутри его собственной статьи. Поэтому даже тогда, когда автор солидарен с редактором в политических оценках, предложенный последним заголовок (а газета обычно сама озаглавливает материалы) может быть дисфункционален в смысле выдвижения. Это, пожалуй, в еще большей степени относится к врезкам, лидам и другим шрифтовым выделениям, образующим газету в газете. Бывают случаи, когда газетчики, выделив не самый главный и не самый сильный аргумент статьи, делают ее уязвимой для критики, которая подхватывает и использует в своих целях именно этот графически неудачно оформленный аргумент.

Одна из основных функций газетного заголовка – интригующая функция. Заголовок должен привлечь внимание слушателя, заинтриговать его, заставить прочесть весь материал. В устной речи аналогичную функцию может выполнять зacin, когда оратор привлекает внимание аудитории каким-нибудь неожиданным сообщением или вопросом. А. Ф. Кони в «Советах лектору» предлагает, например, начать лекцию о Ньютоне с рассказа о том, что в Англии родился мальчик, такой маленький, что его можно было выкупить в пивной кружке.

Интригующие заголовки могут быть самыми разными. Вот несколько примеров из разных изданий: «Распутин: что за мифом?», «Путин и Наполеон», «Банда Деда Мороза», «Любая власть принимает форму бутылки», «Искусство угрожающего жеста» и прочее. Любой читатель газетной и журнальной периодики найдет сколько угодно интересных примеров интригующих заголовков, ибо об этой их функции журналисты никогда не забывают, а в последнее время проявляют, пожалуй, даже излишнее рвение в изобретении эпатирующих названий.

Интригующая функция заголовка конфликтует с его информативной функцией, но в принципе не противоречит задачам выдвижения, особенно, если заголовок образный. К тому же журналисты, как правило, сопровождают слишком уж броский и «забористый» заголовок подзаголовком или лидом.

Лид в последнее время используется в газетах и журналах особенно широко и представляет собой графически выделенное и помещенное перед текстом краткое содержание статьи (или иные сведения, в том числе и сведения об авторе).

Так, одна из статей в «Известиях» называется «Саммит управляется с делами» с подзаголовком «Управделами президентов стран СНГ будут экономить бюджетные деньги». Лид выглядит следующим образом: «В Москве проходит встреча управделами президентов стран Содружества. Вчера завершилось пленарное заседание, на котором был подписан ряд документов по

оживлению хозяйственного оборота внутри СНГ. Сегодня президентские «завхозы» уже неформально продолжат общение в одном из лучших объектов российского управления – пансионате «Бор». Это пример чисто информативного лida.

А вот другой пример. Статья «Копейка рубль бережет!» в «Литературной газете» снабжена лидом:

«Первое, что приходит в голову при очередном повышении цен, – опять зажимают нашего брата! Неужели нельзя обойтись без того, чтобы лишний раз не раздражать население? Куда смотрит государство? Раньше ведь такого не было?

О политике ценообразование на такой популярный вид услуг, как трансляция телевизионных программ, о том, как согласуются они с нашей довольно-таки низкой платежеспособностью, мы беседуем с начальником Управления экономического развития ОАО Мостелком М. Ю. Серbsким»

Перед нами пример лida довольно распространенного типа: интервью предваряется сообщением об общем эмоциональном контексте проблемы, и лишь затем рассказывается, о чем и с кем беседует журналист. Вообще же лida – активно развивающийся микроянр газетной публицистики, и виды его чрезвычайно разнообразны.

Врезка – это графически выделенные цитаты из текста, расположенные внутри самого текста. Иногда они дублируют содержание соответствующих абзацев, иногда просто выделяют их.

Помещенная в «Новой газете» статья с названием «Прихлопнуть на «последней миле», имеет две скромные врезки: «ВЭК пришел взять штраф, потому что может это сделать всегда» и «И тогда «Голлен Лайн» начал биться за свое достоинство, и не только за свое». Врезки создают общий сюжет и успешно осуществляют функцию выдвижения. Встречаются и более объемные врезки.

Нечто схожее с врезкой образует и какой-либо размещенный на пространстве газетного текста документ или факсимильное изо-

бражение. В качестве средств выдвижения используются и надписи под фотографиями или рисунками. Сами рисунки и фотографии также позволяют определенным образом ориентироваться в тексте, если только не выполняют интригующую функцию.

§ 3. Принцип выдвижения. Схемы выдвижения

Конвергенция, сцепление, градация, обманутое ожидание

Выше речь шла об отмеченных позициях, но позиции в тексте можно создавать самому, специальным образом структурируя текст. Это достигается с помощью так называемых схем выдвижения. Список этих схем открыт. Обычно в числе их называют конвергенцию, сцепление, градацию и обманутое ожидание.

Конвергенция – это концентрация изобразительно-выразительных средств в каком-либо фрагменте текста. Тем самым этот фрагмент как бы особым образом расцвечивается, и это выделяет его, привлекает к нему внимание, ставит сказанное в нем в особую позицию. Конвергенцией называют и обратное явление: намеренно скучное использование изобразительно-выразительных средств в каком-либо фрагменте, что также выделяет его.

Конвергенцией охотно пользуется художественная литература. Для риторических текстов эта схема выдвижения менее типична. Проявление конвергенции в риторике – это «картинки», расцвечивающие текст, но не простые примеры, на которых отдаляет внимание слушателя, а красочные, выделяющие главную мысль автора.

В своей книге «Народная монархия» И.Л. Солоневич в главе «Без лица» дает развернутую метафору, содержащую главное положение всей главы:

«Сократовский рецепт «познай самого себя» выполняется так, как если бы мы в целях самопознания стали бы изучать квартиру, в которой судьбе было угодно разместить нас на постоянное жительство, соседей, которыми судьбе было угодно

нас снабдить, окружающий ландшафт, систему отопления и дыры в крыше. Жилец этой квартиры, с его талантами и темпераментом, привычками и формой носа, как-то остался вне внимания исследователей. Им, собственно и должна была заниматься история. Вот история и повествует нам о прошлом квартиры и жильца: какие там были пожары, как туда врывались воры, какие были семейные дрязги под крышей нашего «места развития» и как, в сущности, мало понятным путем стены этой квартиры раздвинулись на одну шестую часть земной суши. Молчаливо предполагается, что сам жилец тут не при чем. Были такие-то и такие географические, климатические, экономические и прочие явления, обстоятельства и даже законы – и вот автоматически создали Империю Российской. А жилец? Жилец тут не при чем».

Мысль о том, что историки не занимались познанием собственного народа, заявленная автором в запоминающейся картинке-уподоблении, пронизывает весь текст главы. «Картишка», следовательно, задает смысловой ключ к пониманию всего текста.

«Картишка» не единственный способ создания конвергенции в риторических текстах. Фрагмент теста может быть выделен эмоционально с помощью экспрессивной лексики и экспрессивного синтаксиса – фигур (см. ниже). Соответственно, и обесцвечен текст может быть скучостью красок и скучостью чувств. В художественной литературе есть множество примеров того, как красочное и напряженное повествование прерывается, а еще чаще заканчивается сухим протокольным описанием, подчеркивающим драматизм происходящего. Например, «Поединок» А. И. Куприна, где так много места уделено душевным переживаниям молодого офицера Ромашова, завершается протокольной записью о его гибели на дуэли. Намеренно скучными сообщениями о смерти главных героев заканчиваются и многие новеллы позднего Бунина.

Сцеплением называется повтор сходных элементов в сходных позициях. Элементарный случай сцепления – рифма в обычном рифмованном стихе. В конце стихотворных строк повторя-

ются сходные звуки. Это выделяет рифмованные слова, делает их ключевыми. Очень часто по столбiku зарифмованных слов можно восстановить смысл всего стихотворения. Как и в случае рифмы, при сцеплении образуются цепочки ключевых слов или ключевых высказываний. Сцепление в этом смысле то же, что врезка, но достигнутая не графическим, а лексическим способом. Предположим, что каждую часть своей речи вы заканчиваете анекдотом. Тогда эти анекдоты образуют цепочку внутри вашей речи. Если их содержание удачно интерпретирует каждый фрагмент вашего выступления, значит, вы правильно построили схему сцепления.

Развернутый пример сцепления будет дан в связи с последней схемой выдвижения – обманутым ожиданием, построенном на нарушении сцепления.

Градация – это расположение текста в порядке нарастания и убывания какого-либо признака. Градация рассматривается и как фигура мысли (см. ниже) и как схема создания выдвижения. В последнем случае она функционирует глобально, организуя весь текст. Градация подобна сцеплению, но, помимо повтора, предполагает усиление какого-либо признака в каждом из элементов сцепления. Через текст с градацией как бы пропущена лесенка, от ступени к ступени повышающая эмоциональный тон или смысловое наполнение текста. Например, каждая часть речи может заканчиваться каким-то призывом, причем каждый следующий призыв будет эмоционально или содержательно сильней, чем предыдущий.

Обманутое ожидание – это сцепление или градация с нарушением в конце. Например, последняя строчка стихотворения, вопреки ожиданию, ни с чем не рифмуется – нарушено сцепление. В последнем члене градации вместо усиления неожиданно возникает ослабление – нарушена градация. Классический пример обманутого ожидания – «Сказка о рыбаке и рыбке». В ней происходит нарушение градации: всякий раз исполняются все более и более притязательные желания старухи, но финал исполнения

желаний – разбитое корыто. В сказке же про курочку Рябу нарушено сцепление. Все были яичко и не могли его разбить, однако потом оно все-таки разбилось. Момент нарастания отсутствует. Сказке о репке – пример градации: каждый следующий из тянувших репку оказывается меньше предыдущего. Но и здесь градация нарушается: вместо ожидаемого «тянут потянут – вытянуть не могут» следует «вытянули репку». Вообще, обманутое ожидание – характерный для фольклора прием. В фольклорных произведениях оно используется достаточно прямолинейно, и понять его схему не составляет труда.

А вот пример сцепления из речи Сталина «По поводу смерти Ленина». Речь неоднократно прерывается клятвами Ленину (в собрании сочинений они выделены графически), каждая из которых завершается словами «твою заповедь».

«Уходя от нас, товарищ Ленин обещал держать высоко и хранить в чистоте великое звание члена партии. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним эту твою заповедь! ...

Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам хранить единство нашей партии, как зеницу ока. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним и эту твою заповедь».

Далее следуют еще три аналогичных пассажа. Клятвы образуют цепочку, выделяя ключевые моменты сталинского выступления. Но в конце речи схема сцепления нарушается:

«Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам верность принципам коммунистического интернационала. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы не пощадим своей жизни для того, чтобы укрепить и расширить союз трудящихся всего мира – коммунистический интернационал!»

Приемом обманутого ожидания автор подчеркивает сверхважность последней выделенной части. Тема Интернационала, в самом деле, развивается в конце речи наряду с темой народов Республики Советов. Речь Сталина подводит к идеям мировой революции.

В целом принцип выдвижения можно сформулировать следующим образом. Текст должен быть организован иерархически, главные мысли должны быть выделены, должны образовывать верхний ярус текста. Возможна многоярусная его организация. Выделение осуществляется либо за счет готовых позиций – начало, конец, заглавие и т.д., либо за счет перегруппировок внутри текста. Эти перегруппировки, называемые схемами выдвижения, могут быть организованы по-разному. Наиболее известны такие схемы, как конвергенция, сцепление, градация и обманутое ожидание. Обманутое ожидание – пример того, как образуются три яруса значимостей. На первом – основной текст, на втором – то, что выделено сцеплением, на третьем – последнее звено сцепления, в котором нарушены читательские ожидания.

§ 4. Композиция с точки зрения последовательности доводов

Доверие аудитории к личности оратора. Три композиционные схемы: амплифицирующая, шоковая и стратегия маневра

Композицию можно рассматривать и с точки зрения расположения аргументов. Начать ли с самого сильного? Приберечь ли его для конца? Сразу ли заявить о своих взглядах или сначала подготовить почву? Иногда авторы риторик дают общие рекомендации, годные на все случаи жизни. Так, Ломоносов советует: «Из доводов сильные и важные должно положить наперед; те, которых других слабее, в середине, а самые сильные – в конце утверждения, ибо слушатель и читатель больше начну и концу внимают и больше оные помнят». Последняя фраза, однако, показывает, что речь идет о расположении доводов скорее с позиции того, что сегодня мы называем выдвижением. Реально же расположение доводов зависит от характера соотношений коммуникативных установок оратора и аудитории.

Все множество случаев может быть сведено к трем типичным схемам композиции. Выбор каждой из схем зависит от того, испытывает ли аудитория доверие к данному оратору и разделяет ли она его позицию. Три схемы соответствуют трем случаям, когда оратор сталкивается с определенными трудностями: либо аудитория не склонна верить оратору, либо не разделяет его позиции, либо и то, и другое вместе. Если же оратор принят аудиторией и позиции его она в целом разделяет, перед ним открывается настолько большая степень свободы, что этот случай не представляет для нас интереса.

Итак, случай первый. Аудитория в целом разделяет взгляды оратора, хотя как всегда, у нее есть кое-какие вопросы и неясности. Сам же оратор особым ее доверием не пользуется. Может быть, она не склонна ему верить, а скорее всего он ей просто незнаком. Последнее достаточно типично.

Композиционная схема, к которой в этом случае лучше прибегнуть оратору, может быть названа **амплифицирующей** (от лат. *amplificatio* – «расширение»). Это стратегия медленного наращивания аргументации. Оратор не боится повторов, он возвращается к одним и тем же положениям и всякий раз открывает в них новые нюансы, эшелонирует свою позицию. При этом основной ствол аргументации незыблем. Наращаются и любовно украшаются лишь его ветви. В конце концов все частные сомнения аудитории рассеиваются, а сам оратор постепенно начинает восприниматься как человек солидный, знающий свое дело.

Амплифицирующая стратегия наиболее удачна, так как она «санкционирована» традициями русской риторики, которая сложилась прежде всего как торжественное слово, где сочувствие аудитории заложенным в речи идеям задано изначально и где основная тема как бы обустраивается, прирастает мыслями. Если мы прислушаемся к русскому бытовому разговору, то заметим, что он устроен на манер елочки: собеседники все время отходят от главной темы то в одну, то в другую сторону, но разговор при этом не распадается. Это же можно сказать и о сюжетных схемах русской

классической литературы. Поэтому амплифицирующей стратегии нас учить не надо, естественным образом мы склонны именно к ней. Но, разумеется, эта стратегия оптимальна только для описываемого случая. В других случаях оратору, если он хочет достичь эффекта, волей-неволей приходится идти против течения.

Случай второй, обратный первому. Аудитория ничего не имеет против оратора, она знает его как человека честного и убежденного в своей правоте, но самих его убеждений она не разделяет. Она знает, о чем он будет говорить, куда будет клонить, и настроена в общем-то скептически.

Оптимальная композиционная схема в этом случае может быть названа *шоковой*. Оратор начинает с самого сильного и обязательно неизвестного аргумента, чтобы застать аудиторию врасплох. Например, защищая социализм, лектор в свое время мог начать с неожиданного вопроса: «Вы знаете, что в Швеции уже построен социализм?» После «шока» обычно следует каскад энергичных аргументов, часто в форме риторических вопросов, от которых публика не успевает перевести дыхания. При такой стратегии речь, как правило, не должна быть слишком длинной.

Шоковой стратегией не вполне удачно воспользовался Андрей Курбский в своем первом послании к Ивану Грозному. Иван IV не мог относиться к бежавшему от него князю непредвзято, поэтому Курбским не было соблюдено оптимальное для этой стратегии условие. Кроме того, послание вышло слишком пространным. Тем не менее его начало – типичный пример шоковой стратегии, явленной в русской словесности едва ли не впервые (будучи достаточно книжным человеком, Курбский ориентировался на нерусскую риторическую традицию). После обращения, уже содержащего осуждение Ивана, князь набрасывается на царя с каскадом обвинений. В переложении на современный русский язык это звучит так:

«Зачем, царь, сильных во Израиле перебил, дарованных тебе Богом для борьбы с врагами, различным казням предал, и святую кровь их победоносную в церквях Божьих пролил, и кровью мучи-

тельскою обагрил церковные пороги, и на доброхотов твоих, душу свою за тебя положивших, неслыханные от начала мира муки, и смерти и притеснения измыслил, оболгав православных в изменах и чародействе и в ином непотребстве и с усердием тщась свет во тьму обратить и сладкое назвать горьким? В чем провинились перед тобой и чем прогневали тебя христиане – соратники твои?»

Такое начало что называется оглушает. Читатели письма – а по жанру это открытое письмо – сталкиваются недвусмысленным обвинением православного царя в попрании христианской морали и предательстве.

Случай третий. Аудитория не приемлет ни установок оратора, ни самого оратора. Скорее всего оратора она просто не знает, а установок его не разделяет и настроена крайне скептически.

Композиционная схема, рекомендуемая в этой ситуации, может быть названа *маневром*. Оратор начинает с того, что соглашается с установками аудитории, поддакивает ей, развивает ее предположения и завоевывает ее доверие, по крайней мере, как человек в ее глазах честный и неглупый. Он показывает, что понимает все то, что понимает сама аудитория. Но в какой-то момент речи оратор высказывает сомнения в собственных рассуждениях, обнаруживает в них изъян. С этого момента начинается обратная аргументация.

Это, конечно же, только общая схема. Не всегда стратегия маневра так груба, не всегда и позиция аудитории по отношению к оратору и речи так определена. Вот реальный пример подобной стратегии в речи П. А. Столыпина, произнесенной в Государственной думе в 1908 году. Думская аудитория, разумеется, прекрасно знает Столыпина.

«После всего, что было тут сказано по вопросу о морской смете, вы поймете, господа члены Государственной думы, то тяжелое чувство безнадежности отстоять испрашиваемые на постройку бронепоездов кредиты, с которым приступаю к тя-

желой обязанности защищать почти безнадежное, почти проигрышное дело. Вы спросите меня: почему же правительство не преклоняется перед неизбежностью, почему не присоединится к большинству Государственной думы, почему не откажется от кредитов?

Ведь для всех очевидно, что отрицательное отношение большинства Государственной думы не имеет основанием какие-нибудь противогосударственные побуждения: этим отказом большинство думы хотело бы дать толчок морскому ведомству, хотело бы раз навсегда положить предел злоупотреблениям, хотело бы установить грань между прошлым и настоящим. Отказ Государственной думы должен был бы, по мнению большинства думы, стать поворотным пунктом в истории флота; это должно быть та точка, которую русское народное представительство жаловало бы поставить под главой о Цусиме для того, чтобы начать новую главу, страницы которой должны быть страницами честного упорного труда, страницами воссоздания морской славы России (Возгласы: верно. Рукоплесканья).

Поэтому, господа, может стать непонятным упорство правительства: ведь слишком неблагодарное дело отстаивать существующие порядки и слишком, может быть, недобросовестное дело убеждать кого-либо в том, что все обстоит благополучно. Вот, господа, те мысли, или приблизительно те мысли, которые должны были возникнуть у многих из вас; если, несмотря на это, я считаю своим долгом высказать перед вами, то для вас, конечно, будет также понятно, что побудительной причиной к этому является не ведомственное упорство, а основания иного, высшего порядка»

Это начало думской речи Столыпина без выпусков и сокращений. До того места, когда последовали аплодисменты, оратор излагал позицию аудитории, которую он собирается переубедить. Затем он говорит о своей собственной позиции и начинает развертывать свою аргументацию. К концу речи раздаются одобри-

тельные возгласы и аплодисменты, правда, не всего зала. В данном случае стратегия маневра снимает напряжение между автором и аудиторией тем, что позиция аудитории нравственно оправдана в глазах оратора и тем, что собственную позицию оратор оправдывает так же нравственно, как бы говоря: и вы и я – принципиальные люди, и вы я радеем о России, но давайте же разберемся в существе вопроса.

Подчеркнем еще раз: три схемы расположения доводов – это только схемы. Но каждая из них дает оратору правильную ориентацию, общую композиционную установку. Чувствуя, что слушатели в целом согласны с вами, прибегайте к легко всем нам дающейся амплификационной стратегии. Чувствуя, что аудитория не принимает доводов, хотя ничего против вас и не имеет, используйте шоковую стратегию, смягчив ее, если потребуется. Чувствуя же, что аудитория не верит ни вам, ни вашей позиции, смело пускайтесь в опасное плаванье под парусом стратегии маневра. Наиболее верный ход здесь – это честное и уважительное, как в речи Столыпина, обсуждение позиций. Более «театральным» вариантом стратегии маневра является согласие с аудиторией и «неожиданное» разочарование в ее позиции.

§ 5. Композиция с точки зрения инвариантных частей ораторской речи

Восемь классических частей ораторской речи. Их дидактическое и технологическое значение

В седьмом и восьмом параграфах этой главы мы рассмотрели композицию с точки зрения актуализации смысла, в девятом – с точки зрения распределения доводов. Но композиция – это порядок следования частей, поэтому естественен и вопрос о наборе самих частей, входящих в убеждающую речь, об атомах композиции, иными словами, о том, можно ли выделить в речи какие-то неизменные части, кроме «начала», «середины» и «конца». Кое-

что об этих частях мы говорили в связи с отмеченными позициями выдвижения, но они составляют лишь рамку речи, а не саму речь.

Римская риторика в лице Квинтилиана выделяла восемь частей речи: обращение, именование темы, повествование, описание, доказательство, опровержение, воззвание, заключение. Эти восемь частей, или поджанров речи, образуют замкнутый круг, так как исчерпываются комбинацией трех признаков: «новое», «данное по факту» и «данное в речи противника». Подробно о логической систематике этих частей можно прочитать в «Общей риторике» Ю. Рождественского. Нас же интересуют сами части ораторской речи.

Обращение (выше это называлось зачин, для письменной речи – заголовок и имя автора) – это начальная часть речи, привлекающая внимание слушателей. Это также самопредставление говорящего, поэтому объем обращения зависит от того, насколько аудитория знакома с говорящим, насколько она расположена к нему. Зачастую роль обращения выполняет сама персона говорящего. Е.Н. Зеленецкая, автор одного из курсов риторики, очень точно объясняет функцию обращения: оратор как бы говорит: «Я вам сейчас нужен».

А. Ф. Кони в «Советах лектору» пишет: «Привлечь (завоевать) внимание слушателей – первый ответственный момент в речи лектора – самое трудное дело. Внимание всех вообще (ребенка, невежды, интеллигента и даже ученого) возбуждается простым интересным (интересующим) и близким к тому, что наверно пережил или испытал каждый». Вспомним также и то, что было сказано выше об интригующей функции заголовка.

Свою первую речь в уголовном процессе молодой Цицерон начал именно с самопредставления:

«Я понимаю, что вы удивляетесь, судьи. Как? Столько славнейших ораторов и знатнейших мужей остаются сидеть, а поднялся с места всего-навсего я, – я, которого ни по летам, ни по

способностям, ни по влиянию нельзя сравнить с сидящими рядом. Все они, кого видите здесь, полагают в нынешнем деле необходимым, чтобы несправедливости, порожденной неслыханным преступлением, противостояла защита, но сами защищать не решаются из-за превратностей времени. Вот и выходит, что они присутствуют, следя долг, но молчат, избегая опасности. Что же? Я всех смелее? Ничуть. Или настолько вернее долг, чем прочие? Да нет, и к этой славе я не так жаден, чтобы мне захотелось урвать ее у других. Так что же меня побудило, всех опережая, принять на себя дело Секста Розия?»

Именование темы (вступление, для письменной речи – подзаголовок, лид) – это введение аудитории в предмет речи. Если в обращении, как и в заголовке, автор может заинтриговать слушателя, то в именовании темы он должен, напротив, как можно яснее растолковать, о чём он будет говорить. Обратим внимание на то, что в современной газете подзаголовок нередко смягчает экстравагантность заголовка. В научной речи, где экстравагантность исключена, именование дается либо в самом заглавии, либо в начале научного текста. В риторике же именование темы обычно выступает в паре с обращением.

Повествование описывает историю вопроса, является развернутой во времени прелюдией к теме.

Так, в одной из своих речей Сталин специально оговаривает факт отсутствия в своем выступлении этой части, что показывает объективный характер ее статуса:

«Товарищи! Обычно наши ораторы на дискуссионных собраниях начинают с истории вопроса: как возник вопрос о внутрипартийной демократии, кто первый сказал А, кто после выполнил Б и пр. Я думаю, этот метод не пригоден для нас, потому что он вносит элемент склоки и взаимных обвинений и ничего путного не дает».

Совершенно необходимо повествование в том случае, когда вся речь является одной из реплик в длинной дискуссии.

Описание дает синхронный срез ситуации, рисует положение дел на настоящий момент. Описание подводит черту под повествованием. Произошли такие-то и такие-то события, и вот какая сложилась картина.

«Наконец, давай припомним с тобою ту самую позапрошлую ночь. Мы оба бодрствовали, но, согласись, я вернее действовал на благо республике, чем ты на ее погибель. А именно в эту ночь ты явился в дом – не буду ничего скрывать, – в дом Марка Леки на улице серповщиков. Туда же собралось большинство твоих товарищей в преступном безумии. Полагаю, ты не посмеешь этого отрицать. Молчишь? Улики изобличают тебя, если вздумашь отпираться. Ведь здесь, в сенате, я вижу кое-кого из тех, кто был там вместе с тобой».

Это отрывок из известной речи Цицерона против Катилины. Доказательство сосредотачивает логические аргументы.

Здесь используются силлогистика, рассуждения с дефиницией, индукция. Здесь широко применяется так называемый апофазис – последовательный перебор и отвержение всех возможных альтернатив, кроме одной.

«Затем, далее, ей в самый день убийства вручается книжка чеков; она знает, что дядя скончался, и, видя у сына книжку, принадлежащую Филиппу Штраму, не может не догадаться, каким образом она взята. Быть может, подарили дядя? Нет, это не соответствует его наклонностям. Забыл? Тоже, конечно, нет, потому что это значило бы, что он забыл то, без чего он сам немыслим. Остается одно: книга взята насилием; но так как книга эта составляет часть самого дяди, то ее можно было взять только с ним самим, только с его жизнью, следовательно – он убит» (А. Ф. Кони).

Апофазис логически противостоит диализис – учет всех альтернатив. Чаще всего это перебор всех альтернатив для доказательства невозможности чего-то.

«На что же мы рассчитываем, кидаясь в войну без приготовлений? Не на флот ли? Но тут мы слабее афинян, а если станем

упражняться и равносильно с афинянами вооружаться, то на это будет потребно время. Не на деньги ли? Но в этом отношении мы уступаем афинянам еще больше: у нас нет денег в государственной казне, нелегко взимаем мы подати и с частных лиц. Быть может, кто-нибудь полагается на то, что мы превосходим афинян хорошо вооруженными силами, и потому можем часто делать набеги на их землю и опустошать ее. Но во власти афинян много другой земли, все же наружные запасы они могут доставлять себе морем. Если, с другой стороны, мы попытаемся поднять их союзников, то и им должны будем помогать флотом, так как большинство союзников – островитяне. Итак, как же нам вести войну?» – так рассуждал, согласно Фукидиду, царь лакедемонян Архидам. Смысл его речи в том, что решение ввязаться в войну не выдерживает никакой критики. Главный ораторский прием в приведенном отрывке речи Архидама – диализис.

Опровержение – это разбор и отведение реальных или возможных аргументов противника.

Доводы противника могут отводится, в частности, как смешные или нелепые. Это так называемый антирезис (ср. выше: игнорация).

«Настоящее дело представляется небывальным, как по сущности предъявляемого обвинения, так и по тем картинам, которые попутно развернуло перед нами судебное следствие» – вот типичный пример антирезиса, взятый из речи известного русского защитника М. Г. Казаринова:

Казаринов использует сразу две формы антирезиса: отрицание аргумента противника как «небывалого по сущности» (так называемая элевация) и отрицание предположения, версии как «небывалого по развернутым картинам» (так называемый диасирмус).

В опровержение входит и истолкование аргументов противника в свою пользу – антистрефон.

«Никогда еще, господа судьи, мне не случалось видеть обвинительного акта, написанного в виде самого полного и убеди-

тельного оправдательного приговора – настолько полного, что как раз на том месте, где написано «посему Нотович и Василевский обвиняются», он может, не добавляя ни одного слова, написать: «и посему Нотович и Василевский должны быть признаны оправданными», – так начинает свою речь защитник С. А. Андреевский. Вся защита и далее строится на антистренге.

Воззвание – это обращение к чувствам, где сосредоточены доводы к «человеку».

В классической риторике изображение сильных эмоций имело место в донизисом. Выделялись различные его виды: демонстрация восхищения или удивления (таумасмос), демонстрация гнева (бделигма) и т.д. Такая дифференциация и терминологизация сегодня может показаться пустой схоластикой и ненужной нагрузкой на память. Смысл же ее состоит в том, чтобы научиться работать в каждом из названных микрожанров, чтобы закрепить в сознании каждый прием.

Вот пример воззвания из речи Столыпина о земельном законодательстве. Речь начинается довольно сухо:

«Господа члены Государственной думы!

Если я считаю необходимым дать вам объяснение по отдельной статье, по частному вопросу, после того как громадное большинство Государственной думы высказалось за проект в его целом, то делаю это потому, что придаю этому вопросу коренное значение».

Самим же воззванием можно считать следующую часть:

«Но главное, что необходимо, это когда мы пишем закон для всей страны, иметь в виду разумных и сильных, а не пьяных и слабых (Рукоплескания центра).

Господа, нужна вера. Была минута, и минута эта недалека, когда вера в будущее России была поколеблена, когда нарушены были многие понятия; не нарушена была в эту минуту лишь вера русского Царя в силу русского пахаря и русского крестьянина (Рукоплескания центра и отдельные – справа)».

Проявление эмоций зала – характерный признак действенности воззвания. Отметим, что слова об ориентации на «разумных и сильных», а не на «пьяных и слабых» цитируются до сих пор.

В заключении речи содержится резюме. Сама концовка – финальная часть заключения – должна мотивировать прекращение речи. Вот как изящно это делает Искократ в речи «О мире»:

«Можно еще много и хорошо говорить на эту тему, но два обстоятельства побуждают меня прекратить свое выступление: длина моей речи и мои годы. Я прошу и призываю тех, кто моложе меня и имеет больше сил произносить и писать такие речи, чтобы склонить с их помощью наиболее сильные гражданские государства, привыкшие причинять зло остальным, обратиться к добродетели и справедливости. А в обстановке процветания Эллады лучшие условия и для ученых занятий».

В этом заключении называется мотив, в силу которого оратор перестает говорить, и одновременно содержится обращение к другим ораторам. Собственно, любой монолог, сколь бы он ни был развернут, является репликой в одном большом диалоге. Поэтому наиболее умелые концовки и зачины служат рамкой, помогающей вписать данное выступление в общественный диалог.

Выделение этих восьми частей ораторской речи удобно и в дидактическом, и в технологическом отношении.

В отношении обучения средневековая риторика шла именно путем выделения значимых частей ораторской речи. Существовали, например, различные виды описания – «графии». Так, хорографией называлось описание стран и обычая. Следовательно, можно было специально совершенствоваться в хорографии. Для овладения жанром воззвания выделялись различные типы донизисов – эмоциональных речей. В освоении каждого вида донизиса также можно было совершенствоваться. В связи с опровержением и доказательством назывались уже поминавшиеся выше приемы. Таким образом, каждому виду описания можно было учиться.

В технологическом отношении такой подход дает возможность собирать текстовые данные (или даже отдельные речевые шаблоны) в некие базы данных, состоящие из всевозможных описаний – «графий» и донизисов. Любопытно, что путем средневековой риторики идет сегодня научное направление, именуемое искусственным интеллектом. Сама концепция гуманитарной базы знаний, особенно полнотекстовых баз, весьма родственна духу средневековой риторики.

Описание и повествование хорошо известны и русистике, где они входят в группу четырех типов текста (описание, повествование, рассуждение, диалог). На тренировку в жанре описания направлено школьное изложение по картине, а в жанре повествования – изложение по тексту. Школьное сочинение в какой-то мере готовит и к конструированию доказательств, и к умению строить вступление и заключение. Однако школа до сих пор не имеет целостной концепции развития речи, в полной мере отражающей многовековой опыт риторики.

Политическая риторика сталкивается с типичными для политической жизни ситуациями. Это позволяет строить общую теорию, вырабатывать общие технологии и накапливать общие материалы для восьми частей политической речи. Так, фирма, деятельность которой связана с политической риторикой, может организовать свой архив в соответствии с выделением восьми частей ораторской речи.

Подводя итог сказанному, следует подчеркнуть, что сам порядок следования частей ораторской речи может, конечно, не соблюдаться, исключая первую и последнюю части – обращение и заключение. Реальная речь может и не содержать всех выделенных Квинтилианом частей, однако это не снижает их роли. Они остаются блоками, микроярами, из которых строится речь и которыми должен владеть настоящий оратор.

Глава 3. Элокуция

§ 1. Принцип усиления выразительности и изобразительности

Связь выразительности с выдвижением. Неспециальные способы усиления изобразительности: атрибуция и гипонимия

Поскольку из всех качеств речи самым главным для риторики является ясность, речевые средства, которыми она располагает, должны так или иначе обеспечивать именно это качество. И в самом деле, все речевые приемы, называемые риторическими фигурами, связаны с выразительностью и изобразительностью речи, а выразительность в совокупности с изобразительностью и обеспечивают ясность.

Что же такое выразительность? Как она связана с ясностью, и чем она достигается?

Под выразительностью речи понимают способность речи привлекать к себе внимание, а также удерживать его. Понятно, что есть сообщения, которые сразу обращают на себя внимание, а есть и такие, которые надолго запоминаются. Но это может быть обеспечено просто их содержанием, а не особыми риторическими усилиями. Человек, который объявит, что в здании пожар, овладеет вниманием аудитории быстрее, чем выступающий в той же аудитории лектор из общества «Знание». Поэтому в риторике принято говорить не просто о выразительности, априорно присущей тому или иному содержанию, а об *усилении выразительности*, создаваемом самими речевыми средствами. Речь идет, следовательно, об *усилении выразительности* при прочих равных, так что одно и то же сообщение может быть изложено более или менее выразительно.

Способность обращать на себя внимание и запоминаться может относиться как ко всему сообщению, так и к отдельным его частям.

В первом случае цель усиления выразительности понятна. Чтобы речь была ясной и убедительной, ее надо для начала просто донести до слушателя. Речь должна быть услышана в потоке других речей. Необычный заголовок в газете быстрее бросится в глаза, чем обычный и примелькавшийся. А высказывание типа «Умиротворять агрессора – значит кормить крокодила в надежде, что тебя он съест последним» (У. Черчилль) имеют больше шанса запомниться, чем обыденная фраза на политическую тему, например: «Умиротворять агрессора – только оттягивать момент его агрессивных проявлений».

Второй случай интереснее. Усиленная выразительность расставляет в тексте акценты, выделяя его части. Это то, что мы в свое время назвали выдвижением. Связь такой выразительности с ясностью очевидна: текст с расставленными акцентами быстрей и надежнее воспринимается, лучше запоминается.

Но когда мы говорили о выдвижении, речь шла о крупных блоках композиции. Усиление же выразительности может касаться отдельных компонентов предложения или даже слова. Все так называемые фигуры речи как раз и являются такими миниакцентами – способами усиления выразительности. Простейший пример – лексический повтор. Повторение слов привлекает к себе внимание: «*Патриоты были под мечом тирании, так было с патриотами Марселя и Лиона. А ныне в их руках меч правосудия, и они поразят им всех врагов свободы*» (М. Робеспьер). Метафоры «меч тирании» и «меч правосудия» делают содержание высказывания исключительно образным, выпуклым. Если «расподобить» метафоры и выразиться так: «Патриоты были под мечом тирании, а теперь в их руках весы правосудия», фраза, призывающая к гражданской мести, потеряет часть своей действенности: не сразу сообразишь, какое отношение меч имеет к весам. А вот «обещающий» образ меча произведет должное впечатление, тем более, что один меч связан с тиранией, несправедливостью, а другой, напротив, с установлением справедливости, с правосудием.

Изобразительность речи – это ее наглядность. Не все сообщения вызывают в памяти живую картину. Даже отдельные слова обладают разной степенью изобразительности. Это используется в детских кубиках, где к букве А приурочен арбуз, а не, скажем, астрофизика, к Б – барабан, а не бином Ньютона. Но, как и в случае с выразительностью, нас будет интересовать не априорная изобразительность, а усиление изобразительности, точнее – специфические речевые средства, усиливающие изобразительность.

Что это за средства? Совершенно очевидно, например, что изобразительность усиливается сравнениями. Если, описывая лицо человека, мы сравним его с печеным яблоком, это сразу активизирует воображение. Даже устойчивые сравнения, такие, как «холодный как лед», «легкий как перо», «лысый как билльярдный шар» дают пищу для нашего воображения, позволяют увидеть описываемое, а значит, быстрее понять содержание. Кстати, уже на этих примерах видно, что усиление изобразительности достигается не только подключением зрительных, но и других (слуховых, тактильных, вкусовых) образов.

Все риторические приемы так или иначе связаны с усилением изобразительности. В этом мы убедимся, когда рассмотрим фигуры и тропы речи. Но и кроме специальных приемов, с которыми мы познакомимся ниже, изобразительность может быть усиlena и обычными языковыми средствами.

К числу таких средств относятся атрибутизация и гипонимия.

Атрибутизация – это развертывание предложения, распространение его различными атрибутами – прилагательными и наречиями. Так, фраза «Вошел мужчина» менее изобразительна, чем «Медленно вошел плотный мужчина».

На первый взгляд, атрибутизация больше нужна художественной литературе, чем риторике. Однако это не так. Если, например, речь идет о фактической стороне дела, и оратор (допустим, адвокат), хочет продемонстрировать свою осведомленность, придать своей версии большую убедительность, атрибутизация ему просто необходима.

Предложение «*К реке ведет крутая и обрывистая тропинка, по которой спуск довольно труден*» позаимствована не из любовного романа, а из речи защитника по делу об убийстве. Это фраза из речи известного адвоката Спасовича, входящая в довольно пространное описание места действия. Вот еще одна фраза из этого же описания, также имеющая достаточно «романский» облик: «*Дом этот представляет каменное двухэтажное здание, обращенное передним фасадом во двор, окруженный с трех сторон густым запущенным садом, примыкающим к саду летнего помещения, а сзади – к небольшой площадке, обнесенной деревьями, за которой спускается в виде обрыва крутой берег Куры*». Если выбросить атрибуты, предложение примет вид: «*Дом обращен фасадом во двор, а сзади – к площадке*».

То, что верно относительно судебной риторики, верно и относительно риторики политической. Сухие, лишенные атрибутов описания стесняют аргументацию к пафосу. Именно они создают впечатление демагогии, расплывчатых обещаний или неясных угроз. Возникает ощущение, что за сухостью формулировок оратор просто прячет реальные последствия своих советов, а то и не знает, как все сложится на самом деле. Впрочем, демагогия, и реальная, и мнимая, больше связана с дефектом другого способа усиления выразительности – с гипонимизацией.

Что такое гипонимизация? Слова более общего значения принято называть гиперонимами, а слова, более частного – гипонимами. Так, гипонимом к слову «животное» будет слово «лошадь». Соответственно, слово «животное» будет гиперонимом к слову «лошадь». Гипонимизация – это использование гипонима.

Замена гиперонима гипонимом всегда ведет к усилению изобразительности, а обратная замена – к ее ослаблению. Предложение «Вошел мужчина» можно сделать менее изобразительным, заменив и глагол, и имя гиперонимами: «Появился человек». Более изобразительным вариантом будет фраза «Вкатился толстяк».

Очень часто ораторы-демагоги, рисуя картины счастливого будущего или мрачного прошлого и не желая связывать себя ни конкретными обещаниями, ни анализом конкретных фактов, прибегают именно к гиперонимизации.

«Царила нищета» и «Не на что было купить даже картошку, не говоря уже о мясе» – два очень разных высказывания. За первое оратор не несет никакой ответственности, его невозможно поймать за руку: царила или не царила нищета, доказать трудно. Вопрос о том, могла ли средняя семья купить картошку, вполне конкретен. «Благосостояние трудящихся» и «Возможность для каждой семьи проводить лето на море» – тоже разные высказывания. Отсутствие гипонимов, сухость очень часто создают впечатление демагогии, пустых слов, «трескотни». Гиперонимы в иных случаях служат сознательным прикрытием пустоты, дешевого популизма, ничего не стоящего и ни к чему не обязывающего.

§ 2. Фигуры речи. Общие представления. Фигуры прибавления

Определение фигуры. Выразительная и изобразительная сущность фигуры. Фигуры как диаграммы чувств

Центральным понятием античной риторики было понятие фигуры. Сегодня фигуру определяют, как необычный, особый оборот речи, придающий речи выразительность и изобразительность. Под этими необычными оборотами понимают всевозможные повторы, пропуски и перестановки слов. Если точнее, то следует говорить о «словесных фигурах», потому что есть еще целый ряд близких к ним явлений, которые древние также называли фигурами. В словесной фигуре, или фигуре речи, в глаза бросаются ее выразительные возможности. Она привлекает внимание именно своей необычностью – ведь не в каждом предложении прибегаем мы, скажем, к повтору слов. Поэтому даже окрик «Стойте, стойте! Это не так!» обратит на себя внимание больше, чем обычное «Стойте. Это не так». Но в плане усиления выразительности

все фигуры относительно одинаковы, и богатство фигур было бы избыточным, а искусство употребления их в речи – бесцельным, если бы фигуры не различались между собой в отношении изобразительности.

В отношении изобразительности фигуры представляют собой своего рода синтаксические диаграммы чувств. Навязчивому, повторяющему чувству соответствуют повторяющиеся слова.

«Значит, заведомо знают, что лгут? Да, вкруговую знают, что лгут, — и лгут!» Устойчивое возмущение ложью заставляет А. Солженицына трижды в коротком отрезке текста повторить слово «лгут».

Нетерпению, стремлению перескочить через время и обстоятельства соответствуют, напротив, пропуски слов.

«Скорее! Все – за мной!» Спешка заставляет пропускать слова, в данном случае сказуемые.

Перебоям в чувстве соответствуют перебои в словесном выражении.

«Я думаю (если я только не ошибаюсь) что теперь мы добрались до главного». Колебание, оговорки заставляют говорящего перебивать самого себя.

В фигуре форма выражения похожа на содержание в том смысле, что она, как своеобразный синтаксический график, копирует движение эмоций. Вот почему еще древние греки уподобляли фигуру жесту в танце. Некоторые ученые думали, что фигура передает само содержание чувства: эта фигура – гнев, та – любовь и т.п. Но это не так. Фигура не пантомима, а именно танец. Энергичные повторы мы встречаем и в панегириках, и в филиппиках, все те же энергичные повторы встречаем в любовных клятвах. Общественный ли гнев, общественный ли восторг, любовная ли страсть прибегают для своего выражения к одним и тем же фигурам, передающим, сильное, неизменное чувство. Но вот обвинитель заколебался, влюбленный смущился – и появились другие фигуры. Характерно, что взволнованная, приподнятая речь всегда изобилует фигурами.

Фигурами усиливаются доводы к пафосу. Можно сказать, что фигуры сами выступают как доводы к пафосу, ибо они проясняют чувства говорящего, демонстрируют их. Несоответствие фигур и пафоса всегда бросается в глаза. В утрированном виде это можно представить себе следующим образом. Человек, собирающийся продемонстрировать свою уверенность в благополучии страны вместо обычных в таких случаях фигур неожиданно произносит следующее: Я думаю – да, пожалуй, я думаю... То есть, в известном смысле слова, я считаю, что страна будет – как это в таких случаях говорится – вполне (я серьезно говорю) будет ... благополучна. Это, конечно, гротеск, но неумелое и неуместное употребление фигур встречается в политических речах нередко. Древние греки называли такое неуместное употребление фигур *асхематон* (буквально – бесфигурье). Тем же словом обозначалось и отсутствие фигур вообще.

Существовало множество классификаций фигур, и каждая из них имела свои основания. Для наших целей лучше всего придерживаться деления фигур на три большие группы, поскольку каждая из этих групп имеет свой эмоциональный портрет. Неправильное использование фигур внутри какой-либо классификационной группы значительно менее ощутимо, чем употребление фигур одной группы вместо фигур другой, как это было сделано выше в приведенном нами искусственном примере.

Итак, будем выделять фигуры прибавления, фигуры убавления и фигуры размещения.

§ 3. Фигуры прибавления. Неупорядоченный повтор

Общие свойства фигур прибавления. Лексический повтор, многосогласие, морфемный повтор, синтаксический параллелизм, период

Общее структурное свойство фигур прибавления состоит в повторении в речевой цепи единиц плана выражения. Это мо-

гут быть повторы служебных или полнозначных слов, значимых частей слова (морфем) или синтаксических позиций. Общее изобразительное свойство фигур прибавления заключается в том, что все они демонстрируют неизменность, постоянство овладевшего говорящим чувства. Само это чувство может быть как положительным, так и отрицательным.

Фигуры прибавления делятся на фигуры неупорядоченного повтора, когда повтор не связан с симметричным относительно остального текста расположением повторяющихся элементов, и фигуры упорядоченного повтора, когда такое симметричное расположение имеется. Последние фигуры обладают своей спецификой, и мы рассмотрим их отдельно.

Самой распространенной фигурой прибавления является обычный лексический повтор – повтор полнозначных слов. Особенно часто используется двукратный повтор – **геминация**.

На примере двукратного повтора хорошо виден механизм фигур прибавления. На первый взгляд, повтор слова кажется избыточным. Зачем говорить «Сюда, сюда надо было вкладывать средства!» вместо того, чтобы сказать «Средства надо было вкладывать сюда»? Ведь нужное лексическое значение выражается уже первое «сюда». Однако второе «сюда» не дублирует этого значения. Оно свидетельствует об интенсивности чувств, охвативших говорящего. Вместо него в риторическом «подстрочнике» фразы следовало бы написать: «Именно сюда надо было вкладывать средства. И это обращает на себя внимание. Я даже говорить спокойно об этом не могу». Вот какую примерно гамму чувств передает второе «сюда»! Если расписывать значения повторов, они не только не окажутся длиннотами, но и обнаружат себя как отличные средства экономии слов. В этом их отличие от повторов вынужденных, которые не передают никаких дополнительных смыслов и тонких мыслей, но обнаруживают беспомощность говорящего, застрявшего на одном слове просто потому, что второе все никак не приходит ему в голову.

Пример повтора – знаменитое «Не могу молчать» Льва Толстого: *«Не могу молчать и не могу, и не могу»*. Именно повтор и передает интенсивность толстовского чувства: молчание стало невыносимым.

Повторяться могут и служебные слова. Вспомним гоголевское «Что? что? что?» – сказало значительное лицо». В самостоятельную фигуру речи выделяют повтор союзов, называемый многосоюзием, или **полисиндetonом**. Чаще всего в русском языке повторяется союз «и». Сравните эффект от произнесения фраз «Он сделал одно, другое, третье» и «Он сделал и одно, и другое, и третье». Второе предложение звучит гораздо весомее. Как и в случае с обычным лексическим повтором, говорящий показывает, что описанные действия произвели на него определенное впечатление и делится этим впечатлением со слушателями.

«Откуда-то изнутри в Андрееве поднялась могучая волна, которая захлестнула собой и разум, и сердце, и совесть, и волю, и память о грозящем законе» – вот пример многосоюзия из защитительной речи С. А. Андреевского, доказывающего, что его подзащитный совершил преступление в состоянии беспамятства. Без многосоюзия эта фраза выглядела бы гораздо менее убедительной: выражение «волна, захлестнувшая разум, сердце, совесть, волю и память о грозящем законе» производит, пожалуй, даже комическое впечатление. А вот «волна, захлестнувшая разум, сердце, волю, память, страх перед законом» (фигура бессоюзия) подошла бы скорее обвинительной речи, чем речи в защиту.

Многосоюзие обладает и еще одним качеством: оно придает речи торжественность, приподнятость, поскольку создает стиль, который ассоциируется с языком Библии.

Повторятся могут и отдельные части слова. К такого рода повторам относится повтор морфем – приставок, корней, суффиксов, окончаний. Общее название этой фигуры – **гомеология**. Приставки и суффиксы выражают определенное грамматическое значение, и их повтор актуализирует это значение. В выражении «Высоко забрался, далеко залетел, на многое замахнулся» значе-

ние приставки «за» будет акцентировано, так как с нее начинаются сразу три глагола в одном предложении. Окуджавское: «Любовь такая штука, в ней так легко пропасть, зарыться, закружиться, затеряться» также актуализирует значение приставки «за». То же наблюдается при повторе суффиксов. Ср.: «Тощенький, маленький, слабенький» и «Тощий, маленький, слабый». Повтор суффикса страдательного причастия в названии повести «Униженные и оскорбленные» подчеркивает идею «страдательности», претерпевания, как и в некрасовских строчках: *«Иди к униженным, иди к обиженным. Там нужен ты»*. У журналиста Шендеровича эта идея страдательности используется в целях создания комического эффекта: *«Церковь, построенная при Алексее Михайловиче, перестроена при Анне Иоанновне, разграблена при Владимире Ильиче и взорвана при Иосифе Виссарионовиче»*.

Повтор корня усиливает то общее в значении, что заключено в родственных словах. Часто такие повторы образуют тавтологические словосочетания: «горе горевать», «зimu зимовать», «дурак дураком», «ливмя лить», «криком кричать», «кипмя кипеть», «кишмя кишеть» и т.п. Повтор в прилагательном корня существительного делает высказывание убедительным: «Кесарю – кесарево, Богу – богово».

Повторяться могут и окончания. Этот случай называется гомеотелевтоном.

Вот пример повтора окончаний из древнерусского оратора Серапиона Владимира. Речь идет о татарском нашествии.

«И землю нашу пусту створиша, отци и братию нашу избираша, матери наши и сестры наши в поругание быша».

Любопытно, что русская рифма возникла именно как следствие гомеотелевтона. У рифмы в романских и германских языках судьба была иной.

Часто гомеотелевтон входит в синтаксический параллелизм. Синтаксическим параллелизмом называется повтор однотипных синтаксических единиц в однотипных синтаксических позициях:

«... сильный губернатор – большие права, слабый губернатор – никаких прав; публичный политик – республика известна в стране, непубличный политик – о ней никто не знает» (В. Рыжков).

«Цель конституционного правительства – сохранить республику; цель революционного правительства – создать ее» (М. Робеспьер).

В обоих примерах параллелизм парный, что особенно типично для этой фигуры, родившейся в фольклоре, где одно предложение обычно характеризует состояние природы, другое – человека: «Собрались мрачные тучи, пригорюнился добрый молодец».

Синтаксический параллелизм может быть очень компактным и не обязательно парным. Он используется даже в газетных заголовках, придавая им особый динамизм: «Цены растут, инфляция галопирует, власть не выполняет обещания». Здесь параллелизм объединяет три члена.

Синтаксический параллелизм бывает и весьма пространным. При этом он может быть не вполне точным. Повторяться может лишь общая схема предложений.

Вот такую картину счастливой и гармоничной жизни рисует в своей обвинительной речи А. Я. Вышинский, оттеняя ею преступления «троцкистско-зиновьевского террористического центра»:

«Цветет, радостно растет наша великая родина. Богато колосятся золотом хлебов бесчисленные колхозы, полной грудью дышат тысячи новых социалистических стахановских фабрик и заводов. Дружно и чудесно работают на благо своей родины железные дороги, по бесконечно сверкающим стальным лентам которых из конца в конец мчатся кривоносовские поезда и маршруты. Несокрушимо, как гранит, стоит на страже родных границ окруженная любовью народа Красная Армия. Дороги и близки родные нам и всем, кто преисполнен сыновней любовью к своей матери-родине, имена замечательных большевиков, неутомимых и талантливейших строителей нашего государства – Серго Орджоникидзе, Клима Ворошилова, Лазаря Моисеевича

Кагановича, руководителей украинских большевиков – Косиора и Постышева, руководителя ленинградских большевиков – Жданова. С непревзойденной великой любовью произносится трудащимся во всем мире имя великого учителя и вождя народов СССР – Иосифа Виссарионовича Сталина!»

Предложения построены по-разному, но их объединяет то, что все они начинаются со сказуемого. Одного этого достаточно, чтобы создать своеобразный синтаксический ритм, вписав в него и расположив в порядке возрастания все пропагандистские штампы времени.

Синтаксический параллелизм используется и в сложной синтаксической конструкции, называемой периодом.

Период – двучастная конструкция. Одна из ее частей – протазис – состоит, как правило, из нескольких синтаксически параллельных конструкций и сопровождается повышением интонации, другая часть – аподозис – представляет собой общий член ко всем частям протазиса и сопровождается понижением интонации. Аподозис, в отличие от протазиса, состоит обычно из одной части. Так, Конституция Российской Федерации открывается периодом:

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие,

сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов,

чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость,

возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы,

стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешними и будущими поколениями,

сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Графика документа сохранена нами полностью. Последовательность деепричастных оборотов, начинаяющихся с деепричастия (утверждая, сохраняя, исходя, чтя, возрождая, стремясь, исходя, сознавая) задает синтаксический параллелизм, образуя протазис. Эта часть читается с повышением интонации. Заключительная часть предложения («принимаем Конституцию Российской Федерации»), относящаяся ко всем причастным оборотам и произносящаяся с понижением интонации, является аподозисом периода. Период призван придать тексту конституции особую торжественность.

Бывают и такие периоды, в которых протазис состоит из одной части, а аподозис – из нескольких:

«Наоборот, если вы хотите заменить эти власти, вы покажете аристократии, что не одобряете того, что совершил народ, того, что вы сами совершили; вы воскресите надежды недоброжелателей, вы вторично возбудите аристократические секции против народных масс; вы предоставите злонамеренным лицам возможность клеветать на патриотов, подавлять их и снова нарушать общественное спокойствие» (М. Робеспьер).

С периодом связано такое качество речи, как красота. Мы еще обратимся к периоду во второй части нашей книги, когда будем говорить о красоте политической речи.

§ 3. Фигуры прибавления. Упорядоченный повтор

Свойства упорядоченного повтора. Анафора. Эпифора. Стык. Кольцо. Анаэпифора. Хиазм и его виды

Фигуры упорядоченного повтора имеют два специфических свойства, отличающих их от прочих фигур прибавления. Во-первых, они способны не только передавать ритм чувств говорящего, но и своим синтаксическим расположением описывать

траекторию какого-либо действия. Во-вторых, они способствуют ритмизации прозы и тем самым делают речь не только ясной, но и красивой.

Рассмотрим шесть таких фигур: четыре фигуры с повторением одного элемента – в начале смежных отрезков речи (анафора), в конце смежных отрезков (эпифора), на стыке их (стык), в обрамлении отрезка речи (кольцо), и две фигуры, основанные на повторении двух элементов (эпанафора и хиазм).

Анафорой называют повтор слов в начале смежных отрезков речи. Этими отрезками могут быть (а в политической речи бывают чаще всего) части сложного предложения, самостоятельные предложения, единицы более крупные, чем предложения (например, абзацы).

Как и другие фигуры прибавления, анафора передает некое постоянство настроения. Чаще всего это чувство уверенности. Это наиболее мажорная фигура. Вспомним, какой популярностью пользовалось во время войны построенное на анафоре лирическое стихотворение К. Симонова «Жди меня»:

Жди, когда снега метут,
Жди когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.

Приведем пример обычной, типичной для политической риторики анафоры из речи, относящейся ко временам Великой французской революции:

«Напрасно друзья интриганов или лица, одураченные ими, требовали, чтобы конституция не была декретирована, чтобы арестованные лица не были возвращены в Конвент. Напрасно они протестовали против этой конституции и даже против всего того, что было сделано во время отсутствия государственных людей – вождей мятежной партии; патриоты шли к своей цели, не обращая внимания на их вопли». (М. Робеспьер)

Образующее анафору слово «напрасно» повторено всего два раза, но этим повторением создается особый риторический напор. Подобные «недлинные» анафоры, содержащие двукратный повтор, в политических речах встречаются довольно часто.

Способность фигур упорядоченного повтора образно передавать траекторию движения применительно к анафоре выражается в том, что она передает движение от исходной точки вперед. Так, в приведенных выше примерах Робеспьер отталкивается от того, что планы изменников напрасны, а для Симонова исходной аксиомой является ожидание.

Анафора – одна из самых частотных фигур в политическом красноречии, притом в разных его видах. Это и понятно: она идеально передает чувство уверенности, позитивный настрой говорящего, она как бы закладывает основы, на которых держится вся речь.

Анафора встречается и в торжественно-спокойных политических декларациях, и в страстных речах.

Вот пример анафоры в тексте Конституции СССР (1991):

«Это – общество, в котором созданы могучие производительные силы, передовая наука и культура, в котором постоянно растет благосостояние народа, складываются все более благоприятные условия для всестороннего развития личности.

Это – общество зреющих социалистических общественных отношений, в котором на основе сближения всех классов и социальных слоев, юридического и фактического равенства всех наций и народностей, их братского сотрудничества сложилась новая историческая общность людей – советский народ.

Это – общество высокой организованности, идейности и социальности трудящихся – патриотов и интернационалистов.

Это – общество, законом жизни которого является забота всех о благе каждого и каждого о благе всех.

Это – общество подлинной демократии, политическая система которого обеспечивает эффективное управление всеми обще-

ственными делами, все более активное участие трудящихся в государственной жизни, сочетание реальных прав и свобод граждан с их обязанностью и ответственностью перед обществом».

Повторяющиеся слова «это – общество» (тире передает логическое ударение на слове «это») – демонстрация основы, исходного пункта всего пассажа. Все остальное в нем – описание признаков этого общества. Здесь встречаются и другие фигуры речи (забота всех о благе каждого и каждого о благе всех, см. ниже хиазм), но доминирующей во всем отрезке является именно анафора.

Некоторые анафоры запоминаются настолько хорошо, что становятся крылатыми словами или, по крайней мере, знаками всей произнесенной речи. Такова знаменитая анафора «У меня есть мечта...» из речи Мартина Лютера Кинга.

Анафора может строиться на повторении не только полнозначного, но и служебного слова. Такая анафора часто сопровождается синтаксическим параллелизмом. Характерна анафора с нагромождением вопросов.

«В чем видел этот человек, что мы ниже римлян? В чем видел этот человек, что конституция, которую мы заканчиваем, ниже деспотического Сената, никогда не знавшего Декларации прав человека? В чем увидел он, что народ, проливающий свою кровь за всеобщую свободу, ниже римлян, которые не только не были героями во имя свободы, но были угнетателями других народов?» (М. Робеспьер).

Эпифорой называют повтор слов в конце смежных отрезков.

Вот знаменитая эпифора из «Слова о полку Игореве», передающая обращение князя Игоря к дружине:

«Братье и дружино! Луце ж нам потяту быти, неже полоняну быти» («Дружина и братие! Лучше нам убитыми быть, чем плененными быть»).

Смысл вынесения «быти» в конец предложения в том, что этим подчеркивается неизбежность и серьезность выбора: все равно чему-то быть – или смерти или плена, но лучше умереть, чем сдаться.

Если в анафоре актуализируется общая посылка рассуждений, демонстрируется фундамент уверенности, то эпифора, напротив, актуализирует следствия. Анафора говорит: «Мы и сейчас и впредь будем исходить из такого-то положения», эпифора: «Мы и сейчас и впредь будем приходить к такому-то результату». Из-за этого оттенка неизбежности с эпифорой чаще связываются настроения безысходности и безвыходности. Это, в частности, проявляется, в поэтической речи. Эпифора более маркированная, более отмеченная, чем анафора, фигура. Она встречается реже и поэтому ее охотней используют как средство украшения речи.

Вот характерный пример эпифоры из Фридриха Ницше, который вообще очень любил эту фигуру:

«И самой справедливостью является тот закон времени, чтобы оно пожирало своих детей, – так проповедовало безумие.

Нравственно все распределено по праву и наказанию. Ах, где же избавление от потока вещей и от наказания «существованием»? Так проповедовало безумие.

Может ли существовать избавление, если существует вечное право? Ах, недвижен камень «было»: вечными должны быть все наказания. Так проповедовало безумие».

Естественно, что политики пользуются эпифорой реже, чем анафорой. Ситуаций, в которых бы эпифора годилась для политической речи, объективно меньше, чем ситуаций, выигрышных для применения анафоры.

Как бы то ни было, но и эпифора, и анафора, как и все фигуры повтора, передают чувство уверенности говорящего в том, о чем он сообщает.

Стыком, или анадиплозисом, называют повтор слов на границах смежных отрезков.

«Между тем без культуры в обществе нет и нравственности. Без элементарной нравственности не действуют и социальные законы, экономические законы, не выполняются указы и не может существовать современная наука, ибо трудно, напри-

мер, проверять эксперименты, стоящие миллионы, огромные проекты «строек века» (Д. С. Лихачев). Стык образуется повтором слова «нравственность» в конце первого и в начале второго предложения.

Как диаграмма чувств эта фигура передает ощущение обоснованности, спокойной и плавной преемственности в развитии чувства. Но выступает она также и в качестве диаграммы мыслей и даже диаграммы развития событий.

В отношении передачи хода мысли стык идеально демонстрирует логичность и последовательность. Рассуждения вроде «Если мы хотим знать, что произошло вчера, мы должны знать, что случилось с Иваном, но Иван поехал к Петру, а Петра не оказалось на месте» хотя иногда и выглядят занудливыми, однако создают ощущение «железной логики».

Вот пример стыка, передающего ход мысли, из рассуждения Ирины Петровской о свободе слова:

«Надо бы защищать Доренко с Березовским, да не хочется. Не хочется, поскольку именно благодаря усилиям Березовского и Доренко власть *решила*, что СМИ и особенно телевидение – ее собственный карманный инструмент, тень, которая должна знать место. Не хочется, поскольку Сванидзе – бездарный, но последовательный ученик того же Доренко, и сколько у него таких учеников по всей стране развелось. Несть им числа.

Не хочется, да надо. Надо защищать и защищаться».

Дважды используя стык (со словами «не хочется» и «надо»), автор как бы ставит точку на мысли, забивает сваю. Кроме того, общая «зеркальная» расстановка слов: «надо – не хочется – не хочется – надо» образует хиазм (см. ниже). Без повторов ход мысли автора не был бы актуализированным, возможно даже оставил бы читателя в затруднении: так надо или не надо?

В отношении передачи хода самих событий стык выражает их последовательность, причинную обусловленность, а также замедленный характер протекания.

Последовательно продолженный стык называется цепным повтором.

Вот пример использования цепного повтора со смысловым нарастанием (градацией) в афоризме:

«Порядок – привычка, привычка – характер, характер – судьба»

Цепной повтор передает здесь причинно-следственную обусловленность.

Наконец, всем известен библейский пример цепного повтора. Речь идет о земной генеалогии Иисуса Христа в первой главе Евангелия от Матфея:

«Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его; Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрому; Есрому родил Арама; Арам родил Аминодава; Аминодав родил Наассона; Наассон родил Салмона; Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея; Иессей родил Давида царя; Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею; Соломон родил Ровоама; Ровоам родил Авию; Авия родил Асу; Аса родил Иосафата; Иосафат родил Иорама; Иорам родил Озию; Озия родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза; Ахаз родил Езекию; Езекия родил Манассию; Манассия родил Амона; Амон родил Иосию; Иосия родил Иоакима; Иоаким родил Иехонию и братьев его, перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон, Иехония родил Салафиля; Салафиль родил Зоровавеля; Зоровавель родил Авнуда; Авнуд родил Елиакима; Елиаким родил Азора; Азор родил Садока; Садок родил Ахима; Ахим родил Елиуда; Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил Матфана; Матфан родил Иакова; Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос».

Характерно, что этот повтор строится не механически, исходная синтаксическая конструкция слегка варьируется вставками. Искусный антаподозис, как и искусственная анафора вообще предполагает некоторое варьирование, «раскачивание» синтаксиса.

Кольцом называют отрезок речи, который одинаково начинается и заканчивается.

В следующем пассаже Адам Михник, говоря о приоритете высших ценностей, дважды применяет кольцо:

«Есть что-то выше нас, я не знаю что, но есть. Не только Россию, но и высших ценностей до конца умом не понять. Интуиция, например, подсказывает, что надо вести себя порядочно. Никто не знает. Но надо».

Кольцо образуют слова «есть» и «надо». Это символически замыкает речь на высших ценностях, показывает их неизбежность.

«Пошлость – это, например, когда член политбюро позирует в храме со свечой, когда малообразованный дядька говорит от имени народа. Когда за даровым балыком болтают о духовности. Когда у стен Кремля лепят мишек и рыбок а-ля рюс. Вот что – пошлость» (М. Шендерович).

Кольцо описывает не только состояние говорящего, но и объективный мир – материальный или ментальный. Во всех случаях оно передает замкнутое движение по кругу, «зацикленность» мысли на чем-либо, возврат.

Одновременная реализация анафоры и эпифоры дает фигуру *эпанафору* (называемую также *анаэпифорой*), которая, однако, ничего существенного нового в содержание анафоры и эпифоры не вносит.

«Теперь стал позорен тот солдат, который довел себя до наказания розгами, теперь смешон и считается бесчестным тот крестьянин, который допустил себя наказать розгами» (П. А. Александров, судебный оратор). Слова «теперь» и «розгами» составляют обрамление анаэпифоры.

Анаэпифора используется довольно редко, поскольку выглядит несколько искусственной. Однако в торжественных речах к ней иногда обращаются. Вот фрагмент из речи Сталина о выполнении первого пятилетнего плана:

«У нас не было черной металлургии, основы индустриализации страны. У нас она есть теперь.

У нас не было тракторной промышленности. У нас она есть теперь.

У нас не было автомобильной промышленности. У нас она есть теперь.

У нас не было станкостроения. У нас оно есть теперь.

У нас не было серьезной и современной химической промышленности. У нас она есть теперь.

У нас не было действительной и серьезной промышленности по производству современных сельскохозяйственных машин. У нас она есть теперь.

У нас не было авиационной промышленности. У нас она есть теперь».

Нельзя сказать, что применение эпифоры выглядит здесь вполне уместным: эпифора передает дух неизбежности, смысл же речи мажорен.

Вот другой пример этой же фигуры из Ницше:

«Я люблю тех, кто живет для познания и кто хочет познавать для того, чтобы когда-нибудь жил сверхчеловек. Ибо так хочет он своей гибели.

Я люблю того, кто трудится и изобретает, чтобы построить жилище для сверхчеловека и подготовить к приходу его землю, животных и растения, ибо так хочет он своей гибели».

Приведенный отрывок лишь часть большого построения, в котором сплетаются анафора «я люблю» и эпифора «ибо так хочет он своей гибели». Иногда анафора не поддерживается в нем эпифорой, однако эпифора возвращается вновь и вновь. Такое сложное переплетение анафоры и эпифоры называется *плокой*.

Одновременное использование анафоры и эпифоры встречается все же достаточно редко. Иное дело – хиазм, реализующий свойства анадиплозиса и кольца.

Хиазмом называется фигура, в которой повторяются два элемента, причем при повторе они располагаются в обратном порядке. Вот яркий пример хиазма, веками переписываемый из трактата в трактат: *Мы не живем, чтобы есть, но едим, чтобы жить.*

Хиастические построения, в самом деле, афористичны, они предельно запоминаются: «*Возмездием мы освободимся, свободой мы отмстим*» (П. Струве).

Есть два вида хиазмов: в одном случае элементы высказывания просто воспроизводятся в зеркальном порядке (у Блока: «*Вот лицо возникает из кружев, Возникает из кружев лицо*»), в другом перестановка сопровождается тем, что синтаксические связи меняются на обратные. Именно таков приведенный выше хрестоматийный пример: в первом случае «мы не живем» – главное предложение, «чтобы есть» – придаточное, во втором «едим» – главное, а «чтобы жить» – придаточное. Такая перестановка может касаться не только частей сложного предложения, но и словосочетаний («Не начальник жены, а жена начальника», «не исторический роман, а романтическая история»). Хиазм с изменением смысловых связей называется антиметаболой.

Вот пример чистого хиазма из речи Иоанна Златоуста:

«*Если нельзя разлучить мужа и жену, то еще более не во власти человека разлучить пастыря и паству. Где я, там и вы, а где вы, там и я. Мы одно тело. А тело от головы, как и голова от тела, не отделяются*».

Здесь хиастически переставлены слова «я» и «вы», «тело» и «голова». Хиазм подчеркивает нерасторжимость и симметрию отношений пастыря и паствы.

А вот пример хиазма-антиметаболы из речи У. Черчилля:

«*Позволить нам проповедовать, что мы практикуем, – практиковать, что мы проповедуем*».

Подведем некоторый итог. Фигуры прибавления – главное средство придания речи уверенности, демонстрации стабильности чувства. Фигуры этой группы достаточно разнообразны. Наиболее ярки фигуры упорядоченного повтора, связанные с симметрией. Но именно они требуют особо умелого обращения, так как различия в употреблении той или другой фигуры здесь весьма существенны. Кроме того, в отношении этими фигурами велик соблазн механического использования фигурной схемы. Можно,

к примеру, «налечь» на анафору и повторять ее с постоянством компьютера. Решение вопроса о количестве повторов, об их уместности требует от говорящего особого языкового такта. В целом же более замысловатые (вроде анаэпифоры) и многократные повторы лучше использовать в торжественных речах. В деловитых, полных конкретики речах уместнее минианафоры, однократные анадиплозисы, реже – эпифора и кольцо. К чистому хиазму лучше обращаться в торжественных речах или для передачи очень сильного эмоционального накала. Антиметабола допустима в том случае, когда выполняет смысловую нагрузку – актуализирует противопоставление. Среди фигур неупорядоченного повтора особо деликатного обращения требует многосознание. Неумеренное использование многосознания может завысить стиль, оторвать его от конкретного содержания, придать речи претенциозный характер. Период очень удобен для передачи логических рассуждений, но слишком длинный период грешит теми же недостатками, что и слишком длинная анафора, – придает речи нарочитость. В особых торжественных документах вроде конституциональных текстов это вполне уместно, в остальных случаях период лучше не перегружать. Итак, фигуры прибавления – это не только демонстрация уверенности говорящего, это еще и своеобразные кнопки, регулирующие пафосность (накал чувств) и торжественность (высоту стиля). Зная это их свойство, надо пользоваться ими с большой осторожностью.

§ 4. Фигуры убавления

Эллипсис. Контекстуальная элизия, зевгма. Бессоюзие. Апосиопезис и умолчание. Просиопезис

Общее структурное свойство фигур убавления состоит в том, что в них какие-то единицы плана содержания остаются без соответствующих единиц плана выражения. Речь, следовательно, обращает на себя внимание пропуском каких-либо элементов.

В этом фигуры убавления противоположны фигурам прибавления, что, впрочем, не означает, что фигуры двух этих групп не могут встретиться в одном отрезке текста. По характеру выражаемых чувств фигуры убавления не противополагаются фигурам прибавления. Главное впечатление, которое они создают, это впечатление поспешности, быстроты, готовности, энергичности. Причем они способны передавать и темперамент говорящего, и объективную скорость протекания событий. Это фигуры, предназначенные для демонстрации решительных действий, они создают ощущение, что говорящий вот-вот перейдет от слов к делу.

Эллипсисом называют пропуск членов предложения (обычно главных, чаще всего – сказуемого). Пропущенный компонент эллипса восстанавливается не из контекста, а просто из самой языковой конструкции. Это фигура лозунгов.

«Вся власть Советам!»
«Все – на трудовой субботник!»
«За Родину! За Сталина!»
«Пятилетку – в жизнь!»
«Пятилетку – в три года!»

Все пять предложений понятны без контекста. Во всех пяти случаях пропущено сказуемое. Со сказуемыми эти предложения утратят значительную часть своего динамиза. Ср.: «Все власть должна быть передана Советам!», «Все должны пойти на трудовой субботник!», «Пойдем в атаку за Родину и за Сталина!» «Пятилетку претворим в жизнь!», «Пятилетку выполним в три года!»

Очень важно, что опускаются именно те слова, которые выражают повелительное наклонение, императив. Именно это и укрепляет императивность, как бы переводя долженствование в план реализации. Ведь эллипсис можно восполнить и так: «Все уже вышли на трудовой субботник». Эллипсис наглядно воплощает в себе принцип «сказано – сделано».

Если пропущенный элемент восстанавливается из контекста, то такую фигуру называют контекстуальной элизией.

«Проницательный помощник пристава усмотрел в смерти ее самоубийство с горя по муже, и тело было предано земле, а дело Божьей воле» (А. Ф. Кони). Сказуемое «предано» («предано Божьей воле») во втором предложении опущено, но легко восстанавливается из первого предложения.

Элизия менее энергична, чем эллипсис, и если встречается в кратких речевых формах, то не в лозунге, а в афоризме, пословице: «Рыба ищет, где глубже, человек – где лучше», «Не место красит человека, а человек – место».

Видом элизии является зевгма – единственная из фигур убавления, связанная с симметрией. Зевгмой называется ряд сходно оформленных синтаксических конструкций, в одной из которых главный член предложения реализован, а в других – опущен.

«В каждом кризисе кайзер пасовал. В поражении – бежал, в революцию – отрекся; в изгнании заново женился» (У. Черчилль). Слово «кайзер» присутствует только в первом предложении. Все предложения имеют одинаковую синтаксическую структуру: обстоятельство («в кризисе», «в поражении», «в революцию», «в изгнании») и сказуемое («пасовал», «бежал», «отрекся», «женился»). Зевгма связывает все предложения в одно целое, само слово «зевгма» означает по-гречески «игло».

В риторике различают протозевгму (реализованный член находится в первом предложении), гипозевгму (реализованный член – в последнем предложении) и месозевгму (реализованный член – в среднем предложении).

Наиболее типична протозевгма:

«Перед нами трое подсудимых. Один из них старик, уже окончивший свою жизнь, другой – молодой человек, третья – женщина средних лет» (А. Ф. Кони).

Иногда зевгма используется в комических целях. В этом случае за одинаково оформленными синтаксическими отношениями стоит смысловая разнородность. Особенно часто это одновременная реализация фразеологически связанных и свободных значений слова, например: «Шел дождь и студент». «Шел дождь» – фразео-

логически связанное значение, «шел студент» – свободное. «Один человек ел хлеб с маслом, другой – с удовольствием». Оба значения свободные, но они разнородны: значение совместности (с маслом) и качественная характеристика (с удовольствием).

Комическая реализация зевгмы тоже может использоваться в риторических целях:

«Майор этот с самого начала тихонько сидел в углу комнаты, имея при себе цепкий взгляд и черные артиллерийские петлицы» (В. Шендерович)

Пропуск союзов называется бессоюзием, или асиндтоном.

«Никто не слушает того, что я кричу, о чем умоляю людей, но я все-таки не перестаю и не перестану обличать, кричать, умолять все об одном и том же до последней минуты моей жизни, которой теперь немного осталось» (Л. Н. Толстой).

«Обличать, кричать, умолять» – бессоюзие, придающее энергию всей фразе. Бессоюзие противостоит многосоюзию. Для того чтобы бессоюзие стало ощутимым, достаточно последний однородный член присоединить без союза «и». Даже пара однородных членов способна образовать бессоюзие, создать особый ритм.

«Организация Красной Армии, ее усиление остаются, по-прежнему, нашей задачей» (В. И. Ленин). Перед нами пример самого ординарного бессоюзия. С союзом предложение теряет всю свою энергичность: «Организация Красной Армии и ее усиление по-прежнему остаются нашей задачей».

Апосиопезисом называют внезапный обрыв высказывания. Высказывание остается при этом коммуникативно незаконченным.

В форме апосиопезиса часто передается упрек или угроза, например: *«Власть же столько своих обещаний не выполнила...»*. В роли апосиопезиса могут выступать части цитат, что охотно используется в газетных заголовках: *«О сколько нам открытий чудных...»* (статья посвящена фестивалю классической музыки). Впрочем, газетные заголовки вообще любят апосиопезисы: *«За совершение поступка, умаляющего авторитет судебной власти...»*.

В современной журналистике апосиопезис часто строится на основе искаженной цитаты. В статье Максима Соколова *«Когда я слышу слово «гуманитарий»...»* есть такая фраза: *«Когда в 30-е гг. немецкий гражданин начальник заявил: «Когда я слышу слово «культура», я хватаюсь за пистолет», он умело использовал настроение аудитории, несколько утомленной веймарским высококультурным пиром во время чумы»*. Собственно, уже название содержит весьма прозрачный намек на известную цитату, в тексте же намек превращается в параллель с современной действительностью, для чего титул нацистского политического деятеля заменяется сугубо отечественным и ироническим перифразисом *«гражданин начальник»*.

Апосиопезис называют еще и умолчанием. «Умолчание» и «фигура умолчания» – наиболее известные, наряду с риторическим вопросом, риторические термины. Следует, однако, отметить, что под умолчанием понимают также и всевозможные недоговорки, не выраженные синтаксически – внезапным обрывом предложения. Иногда умолчанием называют еще и ораторский прием, состоящий в том, что говорящий обещает чего-то не говорить, но тем самым уже говорит об этом. Сам оборот *«не говоря уже о»* является застывшим проявлением этого приема.

«Говорить вам, господа присяжные заседатели, о том, что ваши приговор имеет не только значение основания для наказания подсудимого за совершенный им поступок, казалось бы, излишне. Всякий судебный приговор прежде всего должен удовлетворять нравственному чувству людей, в том числе и самого подсудимого» (А. Ф. Кони). Оратор как бы не хочет говорить о нравственной составляющей приговора (а он выступает как обвинитель), но тем самым уже говорит о ней.

Просиопезисом называют высказывание, начатое не с начала. Вместо опущенной первой половины высказывания обычно ставится многоточие. *«...а по утру они проснулись»*, *«И это все о нем»*.

Начало высказывания легко восстанавливается, так как в качестве просиопезиса обычно используются части крылатых слов, цитат, либо подразумевается какая-то известная ситуация. Чаще всего просиопезис применяется в заглавиях, особенно в газетных заголовках.

Подводя итог, следует сказать, что фигуры убавления придают речи энергичность. Мягким способом придания энергичности являются бессоюзие и контекстуальная элизия, сильным – эллипсис и апосиопезис. Впрочем, и апосиопезис, и просиопезис – средства достаточно экзотические, применяемые в экстраординарных случаях. Фигуры убавления, особенно, эллипсис, – лучшие средства для оформления политического лозунга.

§ 5. Фигуры размещения

Инверсии. Разрывы и вставки (парцеляции, парентеза)

Структурной особенностью фигур размещения является то, что элементы плана выражения размещаются в них необычным образом. Это связано с нарушением порядка следования (фигуры перестановки) или с дистантным расположением того, что обычно следует рядом (фигуры разрыва). С точки зрения трансляции эмоционального состояния говорящего эти фигуры идеальны для передачи внутреннего колебания,мятежности, тревожности (перестановка), неуверенности, нерешительности, смены настроения (дистантность).

Все нарушения привычного порядка слов (перестановки) называют инверсией. Школьный пример инверсии – строка лермонтовского «Паруса»: *«Белеет парус одинокий в тумане моря голубом»*. Без инверсии она выглядела бы так: *«Одинокий парус белеет в голубом тумане моря»*. Взволнованная поэтическая речь превращается едва ли не в протокольное описание.

В русском языке, для которого характерен свободный порядок слов, инверсия создается в основном помещением определения

после определяемого слова (*«парус одинокий»*, *«калина красная»*, *«ивушка неплакучая»*, *«очи черные»*). Такая инверсия всегда ощущима. Менее ощущима инверсия – постановка подлежащего впереди сказуемого (*«белеет парус»*, *«грядет свобода»*, *«убили негра»*). Эта инверсия регулярно используется для актуализации смысла в предложении – членения предложения на то, что уже известно (оно помещается в начале предложения), и то новое, что сообщается (оно помещается в конце). Таким образом, инверсия подлежащего довольно регулярна и поэтому менее заметна.

Предложение *«Люди делают историю»* построено без всякой инверсии, но в предложении *«Историю делают люди»* инверсия уже есть, актуализовано слово *«люди»*, подчеркивающее, что именно они, а не какие-то объективные законы определяют ход исторических событий.

Инверсивность может сочетаться с дистантностью.

Нарушение обычного порядка слов, осложненное дистантным расположением, называют гипербатоном.

«Мы не вправе требовать от районного судьи героизма» (*«Новая газета»*). Без инверсии было бы: *«Мы не вправе требовать героизма от народного судьи»*. Сказуемое *«требовать геройства»* оказалось разорванным, *«геройство»* попал в конец предложения. Это создает ожидание: мы не вправе требовать чего-то от судьи, но чего? Так предложение понятнее и драматичнее, чем с обычным порядком слов. Конечно, все это тонкие стилистические нюансы. Есть фигуры более выразительные, действующие более грубо (как, например, апосиопезис), но изобразительность инверсии от отсутствия грубости не страдает. Просто работа инверсии в тексте менее заметна.

Парцеляцией называют расчленение высказывания на два или несколько интонационно обособленных отрезка. Тем самым пауза конца предложения вклиняется в предложение и разбивает его на части. Возникает как бы рубленое предложение. Графически пауза передается точкой, реже многоточием.

Вот пример парцелляции из газетного лида: «*Вчера в резиденции французского посла Александру Исаевичу вручили премию Большую. Гран-при французской Академии нравственных и политических наук*». Парцелляция осложнена инверсией. Без фигур предложение выглядело бы так: «Вчера в резиденции французского посла Александру Исаевичу вручили Большую премию Гран-при французской Академии нравственных и политических наук». В парцеллированном и инверсированном виде лид выглядит значительней, заставляет вдуматься в событие, а в сочетании с подзаголовком «Писатель получил премию и защитил Путина» получает политическое звучание. Правда, инверсия слова «большую», входящего в название премии, создает ненужную двусмысленность («большую» характеризует вид премии или величину суммы?), что, по-видимому, не входило в намерение автора лида.

Иногда присоединение к предложению заключительной части меняет его смысл. Этот вид парцелляции называют **синтаксической аппликацией**. Классический пример – чеховское «*От меня жена ушла... в другую комнату*». Но, конечно, не все аппликации связаны с комическим эффектом.

«Одним словом, чтобы лучше стать партией власти, надо от нее, от власти, временно дистанцироваться. Хотя бы на словах». В этом примере из «Новых известий» добавление «хотя бы на словах» меняет смысл сообщения.

А вот менее удачная и менее неожиданная аппликация из ранних работ Сталина:

«*Но кто же эти «прогрессивные элементы»?*

Это мирообновленцы, кадеты, трудовики, социал-демократы.

И «Запросы жизни» добиваются объединения этих «элементов»!

Не правда ли: это очень оригинально и... неумно»

Парцелляция относительно новое явление, оно фиксируется с конца девятнадцатого века, а сам термин возник лишь во второй половине двадцатого. Парцелляция активно используется именно

в письменной форме речи, прежде всего в газетных текстах, особенно в заголовках.

Наконец, к фигурам размещения относится и парентеза – вставка, разрывающая предложение.

«*Когда нам льстят, то хвалят наше гостеприимство, когда нас бранят – а когда нас не бранят? – про нас говорят, что единствено хорошую нашу сторону – гостеприимство – мы разделяем с племенами, стоящими на низкой ступени культуры*».

В этом отрывке из заключительной части обвинительной речи А. Ф. Кони парентезой служит вводное предложение «а когда нас не бранят?». Парентезой является и слово «гостеприимство», также разрывающее предложение. Вообще говоря, парентеза хорошо передает настроение колебания, она удобна для всевозможных оговорок. Почему же известный оратор заканчивает судебную речь парентезой? Думается, что парентеза здесь (и это тоже достаточно типично) выполняет роль тактического маневра. Перед процитированной фразой сказано: «*Здесь заявлялось, что подсудимые явились в Россию с полным доверием к русскому гостеприимству. Оно им и было оказано*». Продолжение же нашей цитаты и окончание речи следующее: «*Поэтому надо иметь что-нибудь за собой, кроме благодушного свойства. Надо дать место и справедливости, которая выражается в правосудии. Оно иногда бывает сурово и кончается подчас насильственным гостеприимством. Этого правосудия ждет от вас обвинительная власть*». Иными словами, защита поставила на пути обвинения этосный барьер – «русское гостеприимство». Обвинитель с помощью парентезы как бы кружит вокруг этого барьера, а затем предлагает этосные основания для обвинения – справедливость.

Вставки и парцелляции стали характерной чертой современной прозы. Однако употребление их в риторических целях должно быть дозированным. Следует помнить, что фигуры размещения разрушают ощущение той уверенной силы, которое исходит от оратора, пользующегося фигурами прибавления. Фигуры размещения в риторике удобны для всевозможного маневрирования.

§ 6. Тропы речи. Тропы сходства

Тропы сходства: метафора и ее виды. Разворачивание метафоры. Антаподозис. Подхватывание метафоры. Зооморфная метафора

Тропы и фигуры – альфа и омега риторики. Изобразительность речи усиливается либо фигурами, делающими ясными эмоции говорящего, либо тропами, делающими ясным сам предмет речи.

Тропом называют слово или оборот, употребленный в переносном смысле. Примером тропа может служить хорошо знакомая всем метафора рождения. Слово «рождение» в выражении «рождение новой политики» – метафора, т.е. троп. Такая метафора, ставшая уже фактом языка, называется языковой. Это означает, что слово «рождение» имеет в языке не только прямое значение, связанное с родами, но обозначает также появление чего-то нового. Метафора, еще не вошедшая в язык, остающаяся только фактом речи, называется речевой. «Вынашивание новой политики» – это тоже языковая метафора, так как у глагола «вынашивать» есть соответствующее переносное значение и оно дано в словаре. Но вот «высиживание новой политики», «получение новой политики кесаревым сечением» – это уже речевые метафоры. То же самое относится и к другим тропам: они тоже бывают речевыми и языковыми.

В литературоведении языковые тропы называют мертвыми, или стершимися, этим подчеркивается, что автор не творит их заново. Но в риторике к языковым тропам следует отнестись более сочувственно. Именно этими тропами выложена мозаика понятийной картины мира, в котором мы живем. Так, метафора «государственный аппарат» создает впечатление чего-то неорганического, обезличенного, а метафора «государственное строительство» предполагает, что государство можно и нужно (ведь строительство прежде всего созидательно) конструировать, составлять

из каких-то элементов. «Кресло министра» (это уже не метафора, а метонимия, но тоже троп) сигнализирует о его власти: кресло – это своего рода минитрон, на котором восседает министр, а вот «портфель министра» скорее говорит о его занятости и важности (в портфеле носят деловые бумаги).

Речевые тропы со временем могут войти в язык. Это значит, что родившись в индивидуальном словоупотреблении, они подхватываются остальными участниками дискурса и входят в общий словарь, обогащая его. В политике, как нигде, принято обозначать различные общественные реалии теми или иными тропами. Так возникло слово «перестройка», сразу же навязавшее, как и всякий политический троп, определенное видение жизни: нечто было построено неправильно, необходимо его перестроить. Сравним обозначение одного и то же явления разными тропами: «застой» (политическая метафора) и «стабилизация» (политическая метонимия).

Тропы делятся на четыре группы: тропы сходства (метафора и ее виды), в которых перенос значения осуществляется на основании сходства представлений; тропы смежности, в которых перенос значения осуществляется на базе пространственной или временной смежности (метонимия и ее виды); тропы контраста, когда в основе переноса лежат ассоциации по контрасту (антифразис и его виды); и тропы тождества, когда основанием для переименования служит тождество представлений (перифразис и его виды). Рассмотрим эти случаи подробней.

В основе метафоры лежат ассоциации по сходству. Процесс изменений в обществе похож на перестройку, поздняя пора жизни похожа на осень, отсюда «осень жизни» или «осень Средневековья», водная поверхность похожа на зеркало («зеркальная гладь») и т.п. Во всех случаях «фокус» состоит в том, что сопоставление двух представлений выделяет их общие признаки. Сопоставление реальной перестройки и общественного процесса выделяет в общественном процессе признаки созидания и пере-

деливания, сопоставление осени и поздней поры жизни выделяет в последней такие признаки, как угасание и в то же время зрелость («плоды»), сопоставление зеркала и воды – такие свойства воды, как гладкость и способность отражать предметы. Если вместо перестройки воспользоваться метафорой «агония системы», в социальном процессе будут подчеркнуты те признаки, которые объединяют его с агонией. Если позднюю пору жизни назвать увяданием, исчезнет признак «зрелость, принесение плодов». Напротив, слово «зрелость» не включает признака увядания. Выражение «стальная гладь воды» дает иные впечатления, нежели «зеркальная гладь воды» или «хрустальная поверхность» и т.д.

Метафоры очень активно размечают смысловое пространство, а если они к тому же запоминаются, то надолго определяют картину мира. Такова политическая метафора «холодная война»: в относительно мирном времени подчеркивалось то, что объединяет его с войной: противостояние, напряжение, действия, рассчитанные на ослабление партнера («противника», «потенциального противника») и т.д. Метафора «империя зла» (так Рейган назвал СССР) выделяла в американском противостоянии СССР моральный компонент. Метафора «Советская Россия в кольце врагов» подчеркивала в международной ситуации признак опасности, необходимости напрячь силы для защиты социалистического отечества.

Метафора обладает одним чрезвычайно интересным качеством: она может развертываться. В статьях и выступлениях особую роль приобретают именно развернутые метафоры. **Развернутой называется такая метафора, в которой уподобление происходит сразу по нескольким основаниям.** Например, уподобление государства кораблю можно развернуть, уподобив главу государства кормчему, политический курс – курсу корабля, враждебное государство – пирату и т.д. В подобных случаях на основе метафоры строится целый условный мир. Такие метафоры-миры превращаются в долго функционирующие аллегории.

Именно такова аллегория «государство – корабль», встречающаяся уже у Горация. Аллегория эта, как, впрочем, и всякая другая, в любой момент может быть оживлена и дополнена.

«Народное доверие для политика – что попутный ветер для морехода. Когда он есть – хорошо, когда его нет – надо лавировать, выгребать etc. Если мореход станет двигаться лишь по ветру, не сообразуясь ни с целью похода, ни с лоцией, в лучшем случае его плавание будет состоять из ряда хаотических маневров, в худшем – он, повинуясь ветру, проложит курс по суше», – рассуждает современный публицист Максим Соколов.

А вот как использует метафору «государство – корабль» Максимилиан Робеспьер:

«Конституционный корабль был построен вовсе не для того, чтобы оставаться постоянно в верфи; но следует ли бросить его в море во время бури и навстречу противному ветру. Это то, чего хотели тираны и их рабы, которые сопротивлялись строительству этого корабля, но французский народ повелел вам ждать, когда море успокоится; он выразил единодушное желание, чтобы вы, несмотря на волни аристократии и сторонников федерализма, сначала освободили бы его от врагов».

Другая развернутая метафора, обозначающая государство, – здание. Отсюда выражения «государственное строительство», «перестройка», «общественный фундамент», «несущие конструкции государства» и т.д.

Степень развернутости метафоры может быть различной. В приведенном ниже высказывании Уинстона Черчилля она незначительна, но метафора превращает это высказывание в афоризм.

«Я не приемлю того, что любезно говорили обо мне многие: будто я вдохновил народ. Воля его была тверда и беспощадна – и оказалась непобедимой. У этого народа, расселившегося по всему свету, было сердце льва. Мне же повезло в том, что меня позвали рыкнуть».

Развернутая метафора может быть источником намека, который в прямой метафоре или сравнении был бы просто невозможен. Так, Виктор Шендерович говорит о Сергееве Доренко: «Вместо берцовой кости Примакова Доренко теперь грызет горло Путина. А мы, местные, знаем, что Доренко, если его отвязать, в живых жертву не оставляет... Вот Путин и понял, что если Доренко не остановить, он просто перекусит ему рейтинг» Тема «кости», «горла», «привязи», «перекусывания» формирует определенный мир.

Уже пущенная кем-либо в оборот метафора, иногда уже развернутая, может быть со временем развита и дополнена, что нередко сопровождается смещением смысловых акцентов. Так, уподобление парламента лодке породило возможность ставить вопрос о том, «кто раскачивает лодку». Появились «левый и правый борт» и т.д.

В следующем примере, автор отталкивается от развернутой метафоры, прямо называя ее таковой:

«В начале 60-х годов знаменитый в то время обозреватель «Нью-Йорк таймс» Джеймс Рестон назвал Кубу «мертворожденным дитем Советского Союза, отделенным от матери пуповиной в 14 тысяч километров». Метафора не выдержала проверку временем: «дитя», напротив, оказалось на редкость живучим, «пуповины» же в действительности было две: одна связывала кастровский режим с Москвой, другая, более короткая, и как оказалась, более прочная, – с Канадой, единственной страной западного мира, отказавшейся после Карибского кризиса поддержать торговую-экономическую блокаду Кубы» («Общая газета»).

Развернутая метафора может перерастать в целую притчу (параболу). В притче второй план метафоры, образующий переносные значения, превращается в самостоятельную новеллу. По своей семантической природе парабола наиболее близка к басне. И подобно тому, как басня может содержать мораль, некоторые притчи могут включать комментарий. Этот прием, называемый

антаподозисом, берет начало в евангельской притче о сеятеле и активно используется в древнерусской риторике. В древней литературе комментирование притчи делалось «в лоб»: сначала, например, рассказывалось о доме, его господине и о винограднике, а потом пояснялось, что подразумевается под каждым из элементов притчи. В художественной литературе XIX века такие притчи-антаподозисы даются как вкрапления в основной текст, когда автор хочет прояснить какое-либо положение. Таково, например, знаменитое рассуждение о «дубине народной войны» в «Войне и мире» Льва Толстого. Оно начинается с пассажа о фехтовальщиках, один из которых хватает в руки дубину, затем эта ситуации «опрокидывается» на войну с наполеоновской Францией. Вот другой пример антаподозиса у того же автора: *«Точно так, как вследствие того, что нальется вода на сухую землю, исчезнет вода и сухая земля; точно так же вследствие того, что голодное войско вошло в обильный пустой город, уничтожилось войско и уничтожился обильный пустой город и сделалась грязь, сделались пожары и мародерство»*.

Подобные антаподозисы допустимы и в составе политической речи. Антаподозис – наиболее прямое средство создания ясности, им широко пользуется психотерапия при проведении рефрейминга. Собственно, всякий антаподозис – это и есть рефрейминг, своего рода «промывание мозгов», навязывание реципиенту определенного видения ситуации.

Еще в древних классификациях метафора делилась на виды в зависимости от того, переходят ли свойства с одушевленного предмета на неодушевленный или наоборот. В литературоведении с этим связано выделение олицетворения (неживое толкуется как живое: «небо хмурится») и овеществления (живое уподобляется неживому: «железный человек»). В риторике этот признак также важен. Есть много возможностей уподобления человека чему-то неживому или, особенно часто, животному. При этом лицо может получить как положительную, так и отрицательную

характеристику. На этом, собственно, основан феномен кличек и прозвищ: Ричард Львиное Сердце, Орденский Вепрь, горный орел (так Сталин назвал Ленина в речи 1924-го года).

Зооморфные ассоциации могут использоваться и при назывании политических партий и объединений, а также целых народов. Сравни: «медведи» и «русский медведь» (о России в целом). Зооморфные ассоциации часто черпаются из геральдических обозначений, но и сами дают толчок к созданию эмблем. Разумеется, такие метафоры провоцируют развертывание. Так, у медведя много широк известных свойств, каждое из которых может быть обыграно при развертывании метафоры.

К группе метафор следует отнести и **сравнения** – обороты с «как», «как будто», «словно», «подобно» и т.д., когда в тексте реализуются сразу оба члена сопоставления. Например: «Водная гладь как зеркало», «Парламент похож на лодку». Есть также формы, промежуточные между сравнением и собственно метафорой: лететь стрелой (лететь как стрела), взрыв негодования (взрыв похож на негодование).

У метафор есть одно важное свойство: она тяготеет к позиции сказуемого и редко, если это свежая метафора, попадает в позицию подлежащего. Поэтому использование метафоры в этой позиции может создать комический эффект. Если вы назовете девушку фиалкой, она воспримет это как комплимент. Но если вы скажете о ней: «Фиалка сидела за столом и поедала бургеры», это комплиментом не будет. Точно так же, если оппонент сравнил некое лицо с орлом, то фраза «Орел удалился в свой кабинет» сразу же снизит образ. Вообще, если придерживаться метафоры «слово – оружие», то сами метафоры лучше всего уподобить скрещенным шпагам: метафора – это тот прием в речи, который гораздо чаще, чем что-либо другое подхватывает оппонент, как правило смешая при этом смысловые оттенки. Метафора – оружие обоюдоостре, но действенное. Если продолжить тему оружия, развернутую метафору можно назвать миной замедленного

действия. Многие метафоры прошлого продолжают жить в нашем сознании даже помимо нашей воли. Так, взрыв нигилизма XIX–XX веков не сумел искоренить христианскую метафорику из риторики социалистов и анархистов.

§ 7. Тропы смежности, контраста и тождества

Метонимия. Эмблематичность и этикетность метонимии. Синекдоха. Антифразис. Литота. Астеизм. Перифразис. Антономасия.

В основе метонимии лежат ассоциации по смежности. Портфель не похож на должность ministra, но он сопряжен с ней отношениями смежности: министры носят (или носили) портфели. Это же относится к выражению «занять кресло» в значении «занять должность». В отличие от метафоры метонимия не привносит в ситуацию ничего додуманного, заимствованного из другого мира (ср. уподобление государства кораблю). Портфель и кресло входят в «мир ministra». «Фокус» метонимии в том, что она выделяет нужную автору деталь, расставляет акценты.

Обычно метафора используется в языке для обогащения семантики. Метафора – отличный концептуализатор действительности. Метонимия же используется чаще всего для удобной «упаковки» готовых смыслов. В речи мы, не замечая этого, постоянно пользуемся незаметными метонимиями. Так, мы говорим «выпил два стакана, съел три тарелки», вместо более длинного «выпил два стакана молока, съел три тарелки супа». Метонимия, таким образом, обыденнее метафоры. Она не создает новых смыслов, но удобно выражает старые. Это, однако, не означает, что с помощью метонимии нельзя выразить своей позиции, что метонимия не используется в риторике. Называя документ «бумажкой», мы используем метонимию (документ связан с бумагой, она его материальный носитель), но это название, навряд ли, нейтрально. Когда говорят «корочки» о дипломе, этим подчеркивается выхолощенность самого образования: только корочки – со-

держания нет. Более того, такие выражения, как «бумажная душа» или «чернильная душа» (о чиновнике) тоже метонимичны по своему происхождению.

Как и метафоры, метонимии дают почву для эмблематики. Таков меч как эмблема войны. Эта метонимия используется во многих выражениях: «поднять меч», «кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет» и т.д. Эмблемы получают материальное выражение в гербах, значках (например, щит и меч как эмблема государственной безопасности). Кроме статичных эмблем, метонимии связаны также с этикетными действиями. (Ср. выражение «преклонить колено», «взойти на престол», «надеть шапку Мономаха»). Такие метонимии также могут получать материальное выражение в церемониях.

В группе метонимий выделяют как особый случай – **синекдоху** – перенос значения с части на целое (или с целого на часть), а также с абстрактного на конкретное (или с конкретного на абстрактное). Выражение «сопровождающие лица» – синекдоха: лицо как часть человека представляет его всего. Выражение «рука Кремля» тоже синекдоха, но соединенная с метафорой (или лицетворением). Выражение «Копейка рубль бережет» содержит две синекдохи, так как под копейкой подразумеваются мелкие, а под рублем – крупные деньги. В предложении из газетной статьи «*В России вряд ли удастся полностью разделить власть и бизнес*» синекдохами являются слова «власть» и «бизнес». Это замена конкретных наименований абстрактными, мотивированное желанием сформулировать обобщенную сентенцию, под которую можно подводить частные случаи. Одно время особенно любимым штампом было называть то или иное явление, ту или иную социальную группу «нашим будущим». Вот образец из «Правды» уже за 2000 год: «Юноши и девушки! Вы – будущее страны». Это синекдоха: замена конкретного наименования абстрактным.

Если метафора может развертываться в притчу, то метонимия в своем развертывании дает пример. Уснащение речи примерами из жизни (парадигмами) суть использование «больших» метонимий, точнее синекдох.

Произнося обвинение против изготовителей фальшивых бумаг, А. Ф. Кони говорит, что в судебном зале нет пострадавших, страдает все общество. Но само по себе выражение «страдание всего общества» сухо, и оратор, не прибегая к развернутому примеру, все же вносит в речь элементы парадигмы: «*Но это происходит оттого, что потерпевшим лицом является целое общество, оттого, что в то время, когда обвиняемый сидит на скамье подсудимых, в разных местах, может быть, плачутся бедняки, у которых последний кусок хлеба отнят фальшивыми бумажками*».

И. Л. Солоневич рассуждает об устойчивости социальной жизни:

«*Для того, чтобы нация могла создать что-то ценное, нужна устойчивость власти, закона, традиции и хозяйственно-социального строя. Если этой устойчивости нет, невозможно никакое творчество, почти невозможен никакой труд*».

Далее рассуждение прерывается парадигмой:

«...вот засел Лев Толстой лет на пять за «Войну и мир». Какое «мировоззрение» окажется победоносным к моменту окончания книги? Будет ли новым властителям приемлема «Периодическая система элементов», или появится какой-то новый Лысенко, который найдет у Толстого, Менделеева, Павлова, Мичурина и прочих антисолидаристический уклон и, будучи профессиональной бездарностью, станет травить всяческий русский талант. А ведь никакой талант никогда не сможет творить «по указке партии», какой бы то ни было партии. Тем более в том случае, если «указка партии» будет меняться так же, как меняется «генеральная линия» ВКП(б). Вы начали работать над «Войной и миром», «Периодической системой элементов» или «Жизнью за царя». Или над вашим хутором. Или над вашей мастерской. И вы не знаете, что из всего вашего труда завтрашние «властители дум» – (и полиции) – сделают послезавтра».

Такова вторая группа тропов – тропы смежности.

Употребление слова в прямо противоположном значении (с соответствующей интонацией или в контексте, позволяющем

это понять) называется антифразисом. Можно, например, дурака назвать мудрецом. Механизм действия антифразиса основан на том, что слова могут ассоциироваться не только по сходству и смежности, но и по контрасту.

Антифразис делает речь ироничной. Собственно, ирония это и есть развернутый антифразис. В статье, посвященной «грязным» избирательным технологиям в Ставрополье, есть такие слова:

«А вот пример «поэтических» предвыборных технологий.

...Стасик песенку поет,

Обещая русский край

Превратить для черных в рай!»

Слово «поэтический» не случайно взято в кавычки: автор имеет в виду, что стихи в избирательной листовке, отнюдь не поэтичны, это проявление иронии.

Близок к антифразису прием, называемый литотой. Он состоит в том, что вместо обычного утверждения дается отрицание с противоположным по смыслу словом – антонимом. Например, «небогат» в значении «очень беден», «он не бедствует» в значении «он богач». В последнее время распространилось сленговое выражение «мало не покажется». Это тоже литота. Так же, как и антифразис, литота содержит иронию, но в более сглаженном виде.

Особый вид антифразиса – атеизм. Атеизм – это похвала в форме порицания, часто насмешки.

«Стоит настоящему патриоту только еще начать оплакивать судьбы родины беззаботной, а тут уже один олигарх – раз! – и независимое телевидение создал, другой – бац! – и лучшую футбольную команду страны на баланс принял. Так и норовят Россию угробить. Единственно кто еще борется против них, это наша доблестная Генпрокуратура, которая время от времени открывает против супостатов уголовные дела, насыщает на них шмоны, объявляет в розыск». Автор этого иронического от-

рывка, журналист «Общей газеты» Юрий Соломонов, использует и собственно антифразис «добролестная Генпрокуратура», «настоящий патриот», и атеизм: «норовят Россию угробить», «супостаты».

К тропам контраста можно отнести и гиперболу, основанную, однако, не только на контрасте, но и на сходстве. Гиперболой называют заведомое преувеличение

Чаще всего приводят примеры гиперболы из художественной, особенно из поэтической речи. В самом деле, в риторике заведомое преувеличение, сигнализирующее об условности речи, может, казалось бы, принести только вред. Но это не так. Вот довольно типичная для судебного красноречия гипербола из речи Робеспьера:

«Никогда еще преступление не было установлено такими многочисленными доказательствами; никогда преступление не могло иметь столь опасных последствий; никогда ваш долг не был так ясно намечен. Вы должны мечом закона покарать этих чудовищ».

Троп, обратный гиперbole и содержащий заведомое преуменьшение, называется мейозисом. Мы используем его в устойчивых выражениях, когда говорим «Это стоит копейки», «В двух шагах отсюда», «Дело займет всего одну минуту» и т.п.

Мы рассмотрели тропы смежности и тропы контраста. Остается еще один вид тропов – троп тождества, а именно перифразис.

Перифразис называют замену слова описательным выражением. Например, Москву можно назвать «первопрестольной столицей». В перифразисе как тропе тождества нет ни наложения, ни смежности, ни контраста образов. Просто в одном и том же предмете могут быть выделены различные признаки. Перифразис и есть определение предмета через выделенный признак. Таков признак «первопрестольности» в определении Москвы или нахождения на Неве в определении Петербурга – «город на Неве». Но тот же Петербург можно назвать и «колыбелью русской

революции» (перифразис осложнен метафорой: «колыбель» вместо «начало», «исток»), и «городом Ленина», и «криминальной столицей». Пушкин назвал его «градом Петра». Все эти примеры ясно показывают риторические функции перифразиса: выделять в объекте те свойства, которые нужны говорящему.

Перифразисы выполняют в языке **эвфемистическую** и **дисфемистическую** функции. Первая состоит в замене грубого слова приемлемым выражением. Вторая, напротив, – в замене обычного слова более грубым, сниженным. Вместо нейтрального «Она беременна» можно высказаться деликатней: «Она в интересном положении». Или, напротив, совсем грубо: «Она ходит с пузом» и т.п. **Эвфемистические и дисфемистические перифразисы – мощный рычаг создания приподнятости или сниженности стиля.** Кроме того, следует отметить, что эвфемистические перифразисы могут применяться иронически. Так, в газетном сообщении о гибели преступника в перестрелке может встретиться перифразис «он покинул сей бренный мир». Впрочем, подобные глумливые перифразисы далеко не всегда производят хорошее впечатление и могут повредить репутации самого говорящего.

Вот пример нагнетания дисфемистических перифразисов из речи А. Проханова:

«С Березовским – другая статья. Недавний повелитель России, кремлевский постельничий, думский стряпчий, семейный окольничий, создатель партий, гроза губернаторов, любовь чеченцев, патрон Невзорову, кум Лебедю, идеолог, астролог, черкас, – бедолага издалека скалит мелкие желтые зубки, хватает пустой воздух чужбины, тщась укусить пролетающий самолет Президента Путина».

А вот пример более обычного употребления перифразиса из речи Максимилиана Робеспьера, произнесенной в Конвенте:

«У республики не оставалось другого средства, кроме усилий народа – просвещенного друга свободы, – который своим восстанием сумел подавить все заговоры аристократии».

Перифразис «просвещенный друг свободы» дан в форме приложения к слову «народ» и изображает народ с выгодной для оратора стороны. Народ – не просто друг свободы, но ее просвещенный друг. Отметим, кстати, что перифразис «друг народа» и антонимичный ему «враг народа» возник именно в годы Великой французской революции.

Распространенным видом перифразиса является **антономазия** – описательное обозначение какого-либо лица, а также вообще замена имени собственного описательным выражением (например, «покоритель Сибири» вместо собственного имени Ермак, «берег туманного Альбиона» вместо «Англия»). Так, статья, посвященная визиту президента Путина на Кубу и в Канаду, озаглавлена «С острова Свободы к Кленовым листьям».

Тем же термином «антономазия» называют и другое явление, также родственное перифразису. Речь идет об использовании собственного имени вместо нарицательного, когда, например, жадного человека именуют Гобсеком или Плюшкиным.

Этот прием нередко используется в политической риторике. Так, в газете «Известия» статья с подзаголовком «Жириновский теперь будет учить ораторскому искусству» озаглавлена «Наши Демосфены». Демосфен выступает здесь символом красноречивого человека. Называя этим именем Жириновского, автор явно иронизирует, что подчеркнуто местоимением «наш». Сам по себе оборот «наш такой-то (Гомер, Пушкин, Цезарь и т.д.)» является риторическим штампом. Такие обороты не могут претендовать на оригинальность, но определенным образом расставляют акценты (ср. у Л. Чуковской: «*Отечественные Холмы и впрямь не блещают умом*»).

Еще чаще антономазия используется без всякой иронии, особенно в пейоративных, т.е. уничижительных целях.

«Нынешние заправилы Соединенных Штатов Америки – морганы, рокфеллеры, меллоны, дютоны и другие, – в руках которых находятся рычаги военной и государственной машины, усиленно

создают новые мировые монополии вроде Европейского объединения угля и стали, Мирового нефтяного картеля для того, чтобы побыстрее прибрать к рукам экономику других государств и подчинить их своим интересам» (Л. Берия). Здесь «морганы» и «рокфеллеры» – это и реальные носители фамилий и некое уничижительное обобщение. Это тоже одно из типичных применений тропа в политической риторике.

В мелиоративном, т.е. возвеличивающем смысле использована следующая антономазия в «Файнаншел таймс» (речь идет о генерале Лебеде):

«Он умен, как Альберт Эйнштейн, силен, как Арнольд Шварценегер, это – второй Суворов, второй Кутузов, во всех отношениях талантливый человек».

В следующем примере из «Общей газеты» с помощью антономазии строится развернутая аналогия. *«Если проводить сравнение с русской революцией 1917 года, можно сказать, что к власти в Чечне пришли аналоги чапаевых, котовских и щорсов. А чеченская эмиграция – это аналог той русской эмиграции, когда в западных городах оказались рядом царские чиновники и генералы, кадеты, эсеры, меньшевики и даже анархисты»* (Д. Фурман). «Чапаевы, котовские и щорсы» – антономазия. Любопытно, что автор не выстроил с помощью антономазии всю аналогию, видимо, не найдя для этого достаточно ярких и бесспорных имен, называющих царских чиновников, генералов, кадетов, эсеров и анархистов в эмиграции.

Антономазию-антитезу находим у Ивана Солоневича:

«Русскую психологию характеризуют не художественные вымыслы писателей, а реальные факты исторической жизни.

Не Обломовы, а Дежневы, не Плюшкины, а Минины, не Колупаевы, а Строгановы, не «непротивление злу», а Суворовы, не «анархические наклонности русского народа», а его глубочайший и широчайший во всей истории человечества государственный инстинкт».

По одну сторону у автора – литературные герои как носители отрицательных черт, по другую – исторические персонажи как носители черт положительных. В обоих случаях имена собственные выступают как обобщения.

§ 8. Грамматические тропы

Понятие грамматического тропа. Переносное употребление форм числа. Переносное употребление форм времени и наклонения. Отклонение в формах рода. Риторический вопрос. Отличие риторического вопроса от гипофоры

Грамматическими тропами, или аллеотетами, называют использование грамматической формы в несвойственном ей грамматическом значении. Проще всего это можно понять на примере традиционного «вы», которое в нашей культуре в ряде случаев замещает местоимение второго лица единственного числа «ты». Форма множественного числа употреблена здесь в переносном смысле. Другой пример: «Прихожу я вчера домой, и кого я там вижу?» Форма настоящего времени «прихожу» употреблена в переносном значении, ведь речь идет о событиях, которые имели место вчера. Во втором примере грамматический троп неведен в ранг речевого этикета, но тем не менее легко узнаваем. Слушатели понимают, что имеются в виду события, предшествующие моменту речи, хотя говорящий для придания рассказу большей изобразительности и употребляет настоящее время. Конечно, в случае с местоимением «вы» дело не в создании экспрессии. В остальных случаях формы достаточно экспрессивны – изобразительны и выразительны.

Довольно часто в риторических целях используется форма множественного числа в значении единственного. Это так называемое множественное поэтическое, множественное величия и множественное скромности.

Такие формы, как *времена* (вместо обычного «время») или *небеса* (вместо «небо») придают речи несколько возвышенный оттенок. Это случаи множественное поэтического. Например, название романа И. С. Тургенева «Вешние воды» или романа Ч. Диккенса «Тяжелые времена» звучит приподнято, торжественно (ср. современное нам «Белые одежды» В. Дудинцева).

Множественное величия используется в этикетных формах царских обращений («Мы, Николай I...»), а вне их звучит пародийно. В целях насмешки часто употребляют во множественном числе местоимение третьего лица – «они» вместо «он». Еще более насмешливо звучит «оне».

«Программа Виктору Степановичу не понравилась настолько, что они позволили себе передать свои чувства руководству телекомпании» (В. Шендерович)

Ирония усиlena архаичной формой «оне». Этот же прием использован в художественной речи: «*Он пришел с таким видом, что они недовольны. Они с большой буквы, всея Руси и Тернополя*» (Л. Петрушевская).

Множественное скромности широко применяется в научном дискурсе: «Мы присоединяемся к мнению тех ученых, которые полагают, что...». Как и в случае с местоимением «вы», эти формулы неэкспрессивны, а этикетны. Разновидностью множественного скромности является **множественное крестьянское**: «Мы люди темные, ничего в этом не понимаем...».

Во всех названных случаях, за исключением множественного поэтического, перенос формы числа связан с категорией лица. Но очень часто единственное число в значении множественного используется тогда, когда обозначением одного предмета задается целый класс: «Лес богат зверем и птицей», «Все это дело рук советского человека», «Человек проходит как хозяин необъятной Родины своей» и т.п.

В антономасиях, особенно отрицательных, употребляется форма множественного числа имени собственного: «Самое

простое, естественное для меня было бы то, чтобы высказать злодеям, называющих себя правителями, всю их преступность, всю мерзость их, все то отвращение, которое они вызывают теперь во всех лучших людях, и которое будет в будущем общим суждением о них, как о Пугачевых, Стеньках Разиных, Маратах и тому подобному» (Л. Н. Толстой).

При описании прошедших событий для придания им большей изобразительности и живописности может быть использована глагольная форма настоящего времени. Это так называемое **настоящее рассказа**, или **настоящее живописное**.

«Он дает три показания. ... Сначала заподозренный сознается совсем неправильно; потом, когда уловки группируются вокруг него, когда сила ихрастет с каждым днем, с каждым шагом следователя, обвиняемый подавляется этими уловками, ему кажется, что путь отступления для него отрезан, и он дает показание наиболее правдивое; но проходит несколько времени, он начинает обдумывать сказанное им, видит, что дело не так страшно, каким показалось сначала, что против некоторых улик можно придумать опровержение, и тогда у него является третье сознание – сознание сделанное, в котором он признается лишь в том, в чем нельзя не признаться» (А. Ф. Кони).

Особенно эффективно использование настоящего рассказа в том случае, когда требуется сблизить прошедшее и настоящее, чтобы ярче обрисовать разное поведение одного и того же лица, быть может, найти непоследовательность в его словах и мыслях.

Сравним два высказывания: «Позавчера он обещает не предпринимать никаких действий, вчера клянется, что не сдвинется с места, а сегодня совершает все это» и «Позавчера он обещал ничего не делать, вчера это подтвердил, а сегодня поступил иначе». Первое высказывание звучит сильней.

Повелительное наклонение может быть использовано в значении сослагательного, например, в выражениях вроде следующего: «Не пожалей он денег, все сложилось бы иначе» (вме-

сто: «Если бы он не пожалел денег...»). Этот грамматический троп как бы сокращает расстояние между моментом речи и описанным в ней действием.

Изъявительное наклонение может употребляться в значении повелительного: «Пойдешь, найдешь его и заставишь вернуться» (вместо «Пойди, найди его и заставь вернуться»). Этот троп придает речи оттенок категоричности.

Сослагательное наклонение может быть использовано в значении повелительного. Например, в известном «Шел бы ты подальше» (вместо «Иди-ка ты подальше!») экспрессия создается за счет того, что подчеркивается желательность того действия, совершения которого говорящий требует от слушающего.

В целях создания экспрессивности могут обыгрываться формы грамматического рода.

Этим приемом охотно пользовался в своей политической сатире Маяковский. Так, в поэме «Хорошо!» Керенского он называет Александрой Федоровной, а Милюкова – «усатым нянем».

Редким и экспрессивным грамматическим тропом является **переносное употребление форм переходности глагола:**

«Вежливые и улыбчивые англичане свято придерживаются правила: не хамите и не хамины будете» («Новый мир»)

«Хамить» – глагол непереходный, и форма «хамины» с точки зрения грамматической нормы невозможна. Тем экспрессивнее выглядит грамматический троп.

Кроме того, существуют специфически риторические формы грамматических тропов. К ним относится прежде всего **риторический вопрос**.

Вопросительная форма предложения предполагает и вопросительную модальность. В риторическом же вопросе форма вопроса используется для выражение обычного утверждения или отрицания.

«Так надо ли теперь напоминать о неприятных впечатлениях, которые эти события могли бы породить? Надо ли снова

приводить в волнение Париж и давать аристократии возможность использовать смуту для того, чтобы она поднялась после недавно испытанного поражения?» (М. Робеспьер).

Реально в приведенном отрывке вопросов нет. Ясно, что напоминать о неприятных впечатлениях не надо, что не надо приводить в волнение Париж и давать аристократии возможность использовать смуту в своих целях. Однако, если выразить эти мысли в обычной утвердительной форме, эффект напряжения и эмоционального накала пропадет.

Хотя риторический вопрос в принципе не требует ответа, оратор иногда отвечает на него, и этот избыточный ответ усиливает впечатление от сказанного:

«Разве смогли бы вы сделать все это так быстро, если бы не имели новых кораблей, в которых вы привезли ваши войска на помочь союзникам? Конечно, не могли бы!» (Демосфен).

С риторическим вопросом не следует путать вопрос к самому себе – так называемую гипофору. В гипофоре вопросительная форма соответствует вопросительной модальности. И в этом смысле гипофора не грамматическим тропом. Однако вопрос в ней также используется не совсем в своей обычной роли. По сути он избыточен. Этот случай мы рассмотрим в ряду других избыточных средств в параграфе об амплификациях. Сейчас же приведем следующий отрывок из газетной заметки:

«Тема наступления нового века и нового тысячелетия была затронута и в выступлении президента Ислама Каримова, который задал депутатам далеко не риторический вопрос: что же мешает поступательному движению республики? И сам же на него ответил. Прогрессу мешают две угрозы – внешняя и внутренняя».

На основании приведенного примера можно сделать два вывода: первый – риторический вопрос является одной из самых известных фигур риторики; второй – рассуждение о «нериторичности» вопроса придает самому вопросу особый вес в глазах чи-

тателей и слушателей. Что касается фактической стороны дела, то Ислам Каримов применил именно гипофору – вопрос к самому себе. Риторический же вопрос ответа не подразумевает.

В некоторых случаях риторический вопрос, однако, как бы маскируется под гипофору. Это бывает тогда, когда с этого вопроса начинается текст. Так, статья Александра Сухотина «Пресса пишет, а Талибан не идет» открывается вопросом: «*Так ли уж драматична для России, ее национальных интересов и безопасности ситуация в Афганистане?*» По тону вопроса видно, что он риторический, что отрицательный ответ предрешен. Однако, поставив его в начало статьи, автор превращает его в формулировку теоремы, которую собирается доказать в самой статье. Это подтверждается и финалом статьи: «*Так что паника в российских газетах насчет вероятного похода талибов на Казань преждевременна: обеим сторонам афганского конфликта на обозримую перспективу предоставочно войны в собственном доме*».

Гипофора может сочетаться с риторическим вопросом: «*Что должны предпринять люди, уполномоченные спасти республику? Не должны ли они добраться до источника зла и уничтожить заговорщиков?*» (М. Робеспьер). Оратор сначала прибегает к гипофоре, т.е. задает вопрос самому себе, а затем отвечает на этот вопрос вопросом же, но уже риторическим. Такой прием встречается нередко.

В иных случаях гипофору и риторический вопрос разграничить довольно трудно. Оратор может задавать самому себе такие вопросы, ответы на которые ясны с самого начала. И тем не менее он отвечает на эти вопросы. Вот пример подобного построения из «Рассуждений о Франции» Жозефа де Местра:

«*Где первые национальные гвардейцы, первые солдаты, первые генералы, присягнувшие нации? Где вожаки, идолы этого первого, столь преступного, собрания, определение которого – учредительное – остается вечной насмешкой? Где Мирабо? Где Байи со своим прекрасным днем? Где Турэ, который выдумал*

слово экспроприировать? Где Ослэн, докладчик по первому закону, преследующему эмигрантов? Можно было бы назвать тысячи и тысячи активных орудий Революции, которые погибли насильтвенной смертью».

Как и обычные тропы, тропы грамматические делают речь изобразительной. Усиливают они и выразительность речи, но в этом отношении сильно разнятся между собой. Некоторые из них стали утратив экспрессию, стали привычными, вошли в этикетные формулы (как обращение на «вы»), некоторые, напротив, слишком экспрессивны, как «не хамимы будете». Особое место среди грамматических тропов занимает риторический вопрос: вполне оправдывая свое наименование, он очень широко используется в риторике.

§ 9. Фигуры мысли. Избыточность выражения

Понятие «фигура мысли». Плеоназм. Тавтологические словосочетания. Повтор синонимов. Гипофора. Регрессия

Древние определяли фигуры мысли как выражения, в которых содержится некое отклонение в мысли, отличая их от фигур слова (словесных фигур, рассмотренных нами выше), содержащих некое отклонение в слове. В фигуры мысли попадали и тропы, а также многие приемы, вообще не имеющие отношения к словесной материи (например, упомянутые в разделе о композиции антистрефон, донизис и прочее). Не вдаваясь в детальный лингвистический анализ, рассмотрим в качестве фигур мысли так называемые амплификации – риторические средства, связанные с неким смысловым приращением. К группе амплификаций будем относить два рода фигур: фигуры, основанные на избыточном выражении, и фигуры, основанные на контрасте.

Избыточность выражения называется плеоназмом. Плеоназм часто рассматривается как стилистическая ошибка. Вычеркивание плеоназмов – один из наиболее распространенных приемов

редакторской правки текста. Однако плеоназм может использоваться автором и сознательно, в целях усиления убедительности речи.

Плеоназм создается накоплением синонимичных средств выражения. Сущность этого явления передается хорошо известным выражением «масло масленое». Это и в самом деле могут быть тавтологические словосочетания однокоренных («масло масленое») или разнокоренных («вода мокрая») слов. Особенно богата плеоназмами фразеология, где они создаются разными способами: избыточным использованием деепричастия («кипя кипеть», «кишмя кишеть», «ливмя лить»); избыточным употреблением творительного падежа («дурак дураком», «ребенок ребенком», «дуб дубом»); избыточным употреблением имени при глаголе («зиму зимовать», «горе горевать», «жизнь прожить»); избыточным употреблением определения при имени («горе горькое», «старая старушка», «мука мученская»). Все это однокоренные словосочетания, по модели которых можно строить аналогичные им новые выражения. Существует также множество избыточных словосочетаний, образованных словами с разными корнями («коротать время», «вода мокрая», «оглянуться назад»).

Другой вид плеоназмов – повторение лексических синонимов.

«Однако данная ситуация, с учетом позиции главного кредитора «МОСТ», отдает чисто механическим, формальным подходом налоговиков к проблеме весьма тонкой, чем, к слову, уже воспользовался гендиректор НТВ Евгений Киселев». В этом предложении из газетной статьи определение «формальный», стоящее после «чисто механический» (т.е. тоже, что и «формальный»), является избыточным. Однако эти избыточные определения, особенно в сочетании с другим определением «тонкой», подчеркивают основную мысль рассуждения – предвзятость налоговиков. Такой ненавязчивый вид синонимического повтора встречается довольно часто, но это отнюдь не означает, что использование фигуры не достигает своей цели. Для сравнения можно убрать избыточный синоним и взаимодействующее с ним определение.

Если к тому же избавиться и от обособленного обстоятельства («с учетом позиции главного кредитора «МОСТ»), в контексте статьи тоже в каком-то смысле избыточного, то получится гораздо менее заостренное высказывание: «Ситуация отдает формальным подходом налоговиков».

«Но бывают дела другого рода, где свидетельские показания имеют совершенно иной характер, где они сбивчивы, неясны, туманны, где свидетели о многом умалчивают, многое бояться сказать, являя перед нами пример уклончивого недоговориванья и далеко не полной искренности» (А. Ф. Кони). Без синонимических повторов предложение выглядело бы так: «Но бывают дела другого рода, где свидетельские показания имеют совершенно иной характер, где они неясны, где свидетели о многом умалчивают, являя перед нами пример уклончивости и далеко не полной искренности».

Иногда плеоназм создается таким простым средством, как избыточное употребление местоимения, дублирующего само имя.

«Кто же он, герой нашего времени?» (газетный заголовок)

Такие обороты называются иллеизмами. Обычно ими изобилует спонтанная речь, и они справедливо рассматриваются как речевые ошибки. Часто говорящий просто не умеет связно выразить свою мысль: «Ну, директор, он того... ну....». Однако сознательная фиксация внимания на слове, а также сознательное придание речи спонтанного вида – это не ошибка, а специальный риторический прием.

«Эта интеллигенция – книжная, философствующая и блудливая, слава Богу, почти истреблена. Но, к сожалению, истреблена не вся. Она отправляла наше сознание сто лет подряд, продолжает отправлять и сейчас. Она ничего не понимала сто лет назад, ничего не понимает и сейчас. Она есть исторический результат полного разрыва между образованным слоем нации и народной массой. И полной потери какого бы то ни было исторического чутья. Она, эта интеллигенция, почти истреблена» (И. Л. Солоневич).

Иллеизм здесь «она, эта интеллигенция», но и в предшествующих фразах повторялись существительное «интеллигенция» и местоимение «она». Иллеизм вполне уместен и служит авторским целям (сравним его с иллеизмом в речи малограмотного человека: «Интеллигенция, она, конечно, образованный класс»).

Особый случай иллеизма – антиципация. Антиципация состоит в том, что местоимение предшествует имени.

На этом приеме основаны хрестоматийные строки молодого Пушкина:

*Товарищ верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья...*

Яркий пример антиципации находим в фельетоне М. Кольцова. На ней построен весь текст.

«Так всегда бывает в жизни – он и она расходятся не сразу. Пусть разрыв всегда кажется неожиданным. Пусть чудится, будто близость нарушена внезапно. На самом деле он и она не заметно отходят друг от друга. А иногда встает просто мертвая холодная пустота. И встанет она, и вырывается только потому, что где-то внутри порвались невидимые нити, что ослабли и те скрепы, какими некогда соединены впервые увидевшие друг друга он и она. Если только скрепы и нити надорвались, тогда уж ничего, ничего не в силах помешать этому непреклонно идущему разрыву...»

Кто она? Подметка. Кто он? Ну, ясно же кто. Сапог, конечно. Скажите, пожалуйста, чего стоит близость сапога с подметкой, ежели эти самые нити или дратва уже порвались, а деревянные шпильки хотя бы в одном месте повылетели».

Разновидностью иллеизма является так называемый именительный темы, когда подлежащее предложения предшествует всему предложению, а внутри него заменено местоимением: «Фанатизм! Он умирает; могу сказать даже, что он умер» (М. Робеспьер). Именительный темы создает рассеченную, сегментированную конструкцию, в которой выделена тема, и служит

хорошим средством для расстановки в речи логических акцентов. Используя этот прием, Робеспьер в приведенном отрывке сначала намечает тему, которую затем разовьет ниже: «Нет, не фанатизм должен быть теперь главным предметом нашего беспокойства. Пять лет революции, которая ударила по духовенству, указывают на его бессилие. Даже последнее его убежище – Вандея не подтверждает его власти». И далее: «Фанатизм – это свирепое и капризное животное, оно бежит от разума; преследуйте его с криками, и оно возвратится».

Вспомним также именительный темы из знаменитого монолога Чацкого:

*Мундир! Один мундир! Он в прежнем их быту
Когда-то укрывал, расшитый и красивый,
Их слабодушие, рассудка нищету...*

Иногда именительный темы разворачивается в целую анафору.

«Властолюбие: перед взором его человек пресмыкается, гнется и становится ниже змеи и свиньи; пока наконец великое презренье не возопит в нем.

.....
Властолюбие: оно же заманчиво поднимается к чистым и одиноким и вверх к самодовлеющим вершинам, тылая, как любовь, заманчиво рисующая пурпурные блаженства на земных небесах.

Властолюбие: но кто назовет его любием, когда высокое стремится вниз к власти!» (Ф. Ницше).

Одним из видов плеоназма является упоминавшаяся уже выше гипофра.

Гипофой называется вопрос оратора к самому себе, на который он затем и отвечает. Это не риторический вопрос, поскольку форма вопроса использована здесь в прямом значении. Но это вопрос избыточной, что и дало основание рассматривать его в этом параграфе как вид плеоназма. Смысловая избыточность не означает, однако, что это вопрос функционально лиш-

ний. Гипофоры расставляют в тексте смысловые акценты, служат дополнительным средством связи между его частями и тем самым облегчают его восприятие.

«Если лектор начнет с того, что Калигула был сыном Германника и Агриппины, что родился в таком-то году, унаследовал такие-то черты характера, так-то и там-то жил и воспитывался, то... внимание вряд ли будет зацеплено. Почему? Потому что в этих сведениях нет ничего необычного и, пожалуй, интересного для того, чтобы завоевать внимание» (А. Ф. Кони). Гипофора заключена в коротком слове «почему». Если мысленно убрать его и после слова «зацеплено» поставить запятую, возникнет эффект пропавшей резкости: смысл останется прежним, но не будет уже выражен так четко.

Гипофоры очень удачны в качестве начала речи, особенно устной. Наконец, всю речь можно построить в вопросно-ответной форме по типу катехизиса. Кстати, таким способом излагается материал и в некоторых учебниках риторики.

Вопрос к самому себе может быть демонстрацией сомнения (это называется дубитацией): «Стоит ли им возражать? Или, быть может, они правы?»

Сродни гипофоре так называемая регрессия. Она тоже служит хорошим «скрепом» текста, актуализирует внимание, помогает структурировать сообщение. Сам прием заключается в том, что нечто сначала называется рядом, а потом, каждый член регрессии повторяется с развертыванием. Схема регрессии такова: «Есть А, Б и В. А – это..., Б – это ..., В – это...». Первая фраза («Есть А, Б и В») оказывается избыточной в смысловом отношении, но отнюдь не лишней в функциональном.

Вот пример регрессии из «Риторики» Аристотеля:

«*Есть три причины, возбуждающие доверие к говорящему, потому что есть именно столько вещей, в силу которых мы верим без доказательств, – это разум, добродетель и благорасположение; люди ошибаются в том, что говорят или советуют, или по всем этим причинам в совокупности, или по одной из них в*

отдельности, а именно: они или неверно рассуждают ввиду своего неразумения, или же, верно рассуждая, они вследствие своей нравственной негодности говорят не то, что думают, или, наконец, они разумны и честны, но не благорасположены, почему возможно не давать хорошего совета, хотя и знаешь, в чем он состоит. Кроме этих трех причин нет никаких других».

Подобные регрессии, построенные на базе имен существительных и чаще всего содержащие указание на число, являются наиболее типичными.

«*Есть два типа конституционной монархии: один характеризуется тем, что народное представительство не только законодательствует совместно с монархом в стране, но также совместно с ним управляет ею через наиболее видных представителей своего большинства. Это парламентская монархия Англии, Бельгии, Пруссии, Венгрии. В конституционной монархии другого типа парламент только законодательствует, управляет же страной монарх через выбранных им чиновников. Это конституционно-бюрократическая монархия Пруссии и других германских стран*» (П. Струве).

Однако бывают и более сложные регрессии, построенные на базе других частей речи, как, например, приведенная ниже:

«*Среди человеческих стремлений стремление к мудрости совершеннее, возвышеннее и приятнее всех.*

Совершеннее, потому что человек, со всем рвением устремившийся к мудрости, уже становится обладателем некоторой части истинного блаженства, как говорит Мудрец: «Блажен человек, который снискал мудрость».

Возвышеннее потому, что именно через него человек более всего уподобляется Богу, создавшему «все в премудрости», а так как подобие – причина любви, то стремление к мудрости больше всего связывает его с богом дружбой, почему и сказано в Книге Премудрости, что «мудрость – неистощимое сокровище для людей; пользуясь ею, они входят в содружество с Богом, посредством даров учения».

Полезнее потому, что через него входят в царство бессмертия, ибо «желание премудрости возводит к царству».

А приятнее потому, что «в обращении ее нет суровости, ни в сожитии с нею скорби, но веселье и радость» (Фома Аквинский).

Регрессия служит хорошим средством актуализации внимания, особенно незаменимым в устной речи. «Свернутым» случаем регрессии является анонсирование количества объектов, которые затем будут характеризоваться. «На это существовало две причины. Первая - ... Вторая - ...».

«У них два рода армий: одна из них находится на наших границах, обессиленная, почти разрушающаяся по мере того, как республиканское правительство набирает силу и прекращение измен делает небесполезными героические усилия отечественных солдат; другая, более опасная, находится среди нас: это армия подкупленных шпионов, мошенников, которые проникают всюду, даже в народные общества» (М. Робеспьер).

Такая регрессия безотказна как лекторский прием. Обычно слушатели берутся за ручки, как только лектор называет общее число пунктов, подлежащих раскрытию. Регрессия применяется в качестве приема мобилизации внимания и в газетных статьях, и в ответах на вопрос интервьюера, как, например, в ответе Бориса Немцова на вопрос о необходимости оппозиции: «*В России, по большому счету, может быть два типа оппозиции. Первый – левая, коммунистическая. Ее предназначение – тянуть страну назад, в прошлое. Второй – это правая оппозиция. Ее главное предназначение – двигать страну в будущее*». Регрессия здесь усиlena антитезой «левая – правая».

Регрессия – идеальное начало речи, так как она способствует концентрации внимания. Например, статья Михаила Задорнова «На цены давит денежный «навес» начинается с фразы: «*Причин нынешнего роста инфляции три*». Вся первая половина статьи представляет собой развертывание этой регрессии.

Как следует из всего сказанного в этом параграфе, избыточность выражения, плеоназм не всегда являются следствием плохого владения языком. Это, конечно, не отменяет необходимости избегать неоправданных, функционально ненагруженных длиннот. Надо помнить, что тексты, в которых на протяжении одного абзаца несколько раз встречается одно и то же слово, производят неприятное впечатление. Флобер и Мопассан считали, например, что между повторяющимися словами должно быть расстояние не менее, чем в двести лексических единиц. Необходимо помнить и другое: неприятное впечатление от часто встречающегося слова возникает именно потому, что читатель ожидает от повтора какой-то функциональной осмыслинности и досадует, когда обманывается в своих ожиданиях. Намеренный же повтор всегда функционален: он расставляет в тексте логические ударения, выделяет в нем главное, способствует скорому его пониманию. И это только выразительные функции плеоназма. Но повтор и плеоназм еще и изобразительны.

§ 10. Фигуры мысли. Контраст

Антитеза и ее виды. Противопоставление и объединение полюсов антитезы. Парадиастола, диафора. Оксюморон. Коррекция. Градация

Напомним, что амплификации как разновидность фигур мысли могут быть построены не только на избыточности (плеоназме), но и на контрасте. Родство двух групп амплификаций – плеонастических фигур и фигур контраста – проявляется в том, что в последних контрастирующий элемент, как правило, можно опустить. Можно, например, сказать и «Надо спешить!», а можно, используя контраст, – «Не медлить надо, а спешить!» или же «Спешить надо, а не медлить!» Можно сказать «Собрались все», а можно – «Собрался и стар и мал». Контрастирующий элемент здесь избыточен.

Основная фигура контраста – антитеза. Антитеза – это высказывание, содержащее явное противопоставление. Чаще всего это противопоставление выражается в использовании антонимов, т.е. слов, имеющих противоположное значение.

«Прежде им говорили: «Не надо плевать в души репрессированных»

Теперь им говорят: «Не надо плевать в души тех, от имени которых их репрессировали».

Антитеза, взятая из развернутого листа газетной передовицы, создается антонимами (словами, имеющими противоположное значение): «прежде» – «теперь», «репрессированные» – «те, от имени которых репрессировали». Кроме лексической, используется и грамматическая антитеза: «говорили» – «говорят» (противопоставление грамматического времени). Антитеза подчеркнута синтаксическим параллелизмом и повтором слов и целых конструкций: «им», «не надо плевать в души».

«Добротели бывают простые, скромные, бедные, часто невежественные, иногда грубые; они являются уделом несчастных и естественным наследием народа. Пороки окружены всякою родою сокровищами, украшены чарами сладострастия и всеми приманками коварства, их сопровождают все опасные таланты, их сопровождает преступление»

Эта антитеза из речи Робеспьера противопоставляет пороки и добродетели по ряду контрастирующих свойств.

«В действиях человека все убого, как убог он сам; намерения ограничены, способы грубы, действия негибки, движения тяжелы и следствия однообразны. В действиях божественных богатство бесконечного проявляются открыто, вплоть до самых малых его частей» (Жозеф де Местр).

В подобных антитезах антонимы не играют большой роли, противопоставляются не столько слова, сколько понятия.

Антитеза не просто фигура, но и хороший композиционный прием, способный организовать вокруг себя либо какую-то часть текста, либо даже весь текст.

Антитеты бывают разного вида. Иногда их полюса противопоставлены друг другу, по схеме «не А, а Б», иногда, напротив, соположены по схеме «и А, и Б».

Вот пример первого случая:

«Высокоразвитый, полный честных нравственных принципов государственный преступник и безнравственный презренный разбойник или вор могут одинаково, стена об стену, тянуть долгие годы заключения, могут одинаково нести тяжкий труд рудниковых работ, но никакой закон не в состоянии уничтожить их во всем том, что составляет умственную и нравственную сферу человека. Что, потому, для одного составляет ничтожное лишение, легкое взыскание, то для другого может составить тяжкую нравственную пытку, невыносимое, бесчеловечное истязание».

Весь пассаж построен на противопоставлении политического и уголовного преступника и в речи П. А. Александрова служит для создания представления о том, что наказанный разными политический арестант Боголюбов испытал нечто несоизмеримое с переживаниями обычного заключенного. Антитета построена на чистых и контекстуальных антонимах: «нравственный – безнравственный», «честный – презренный», «ничтожное лишение – нравственная пытка».

А вот другой случай:

«Это было самое прекрасное время, это было самое злосчастное время, – век мудрости, век безумия, дни веры, дни безверия, пора света, пора тьмы; это была весна надежд, это была стужа отчаяния. У нас было все переди, у нас переди ничего не было, мы то витали в небесах, то обрушивались в преисподнюю...»

Так Чарльз Диккенс пишет о времени великой французской революции. Антитета построена на чистых антонимах: «прекрасный – злосчастный», «мудрый – безумный», «вера – безверие», «свет – тьма», «надежды – отчаянье» и т.п. Смысл этой выразительной антитеты в том, чтобы показать, сколь многое вмещало в

себя это парадоксальное время. Такая антитеза близка по функции к оксюморону, парадоксу. Сравним с нею антитезу времен самой революции из речей неоднократного цитированного нами Робеспьера: «*Демулен – это странное соединение правды и лжи, политики и вздора, здоровых взглядов и химерических проектов частного порядка*». Здесь вновь налицо соединение несоединимого.

Однако антитеза, объединяющая противоположности (и А, и Б), вовсе не обязательно подчеркивает парадоксальность. Так, В. И. Ленин писавший, что «*диктатура пролетариата есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насилиственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и административская, против сил и традиций старого общества*», подчеркивал не парадоксальность, а скорее универсальность диктатуры пролетариата. Вспомним знаменитое некрасовское «*Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь*». В этой антитезе также акцентируется не столько противоречивость, сколько величие Руси. Антитеза вида «и А, и Б» подчеркивает масштабы, широту явления, часто его монументальность. Такую антитезу любило древнерусское красноречие. Ею и сегодня охотно пользуются в торжественном красноречии, в политической песне, гимне, оде:

*От тайги до самых до окраин
С южных гор до северных морей...*

Чаще же всего антитеза, обнимающая оба полюса противопоставления, сближается по функции с плеоназмом. Это характерно не для глобальной антитезы, организующей весь текст, а для отдельных сочетаний слов: «и днем, и ночью», «ни зимой, ни летом», «и на Западе, и на Востоке». Такие сочетания утяжеляют значение, усиливают впечатление. Их эквивалентами выступают выражения «целые сутки», «весь год», «всюду».

Объединяя оба полюса противопоставления, антитеза может не только утверждать, но и отрицать их: «*Перед судом нет ни богатых, ни бедных, ни сильных, ни слабых людей. Суд видит перед*

собою только людей, обвиняемых в преступлении, ожидающих от него справедливого приговора, – и в этом величайший залог правосудия». Такими словами известный русский юрист Н. В. Муравьев призывает суд к объективности. Крайние точки антитезы выполняют здесь роль судебных соблазнов, которые надо отвести.

Особым видом антитезы является противопоставление внутри синонимической пары, называемое в риторике парадиастолой.

«*Лiberальная реформа завязла, но не остановилась*» (историк Яков Гордин)

При парадиастоле контраст подчеркивает то общее, что есть в значении синонимов. Подобные фигуры производят сильное впечатление. В приведенном примере активизируется различие в значении двух синонимов – «завязнуть» и «остановиться». А поскольку каждый из них, особенно первый, формирует свой образно-ассоциативный ряд, парадиастола провоцирует образное развитие сюжета. Неслучайно интервьюирующий историка журналист далее спрашивает: «И кому же вытаскивать ее [реформу] из колеи?»

Свою знаменитую речь в защиту Веры Засулич П. А. Александров закончил следующей парадиастолой:

«*Да, она может выйти отсюда осужденной, но она не выйдет опозореною, и останется только пожелать, чтобы не повторялись причины, производящие подобные преступления, порождающие подобных преступников*. Парадиастола строится на антитезе «*осужденная – опозоренная*».

По эффекту к парадиастоле приближаются обычные антитезы, у которых противопоставляемые слова имеют некоторую звуковую общность. Такими антитезами особенно богаты пословицы. Например, в пословице «Жалует царь, да не жалует псырь», антитезу образуют имеющие звуковое сходство слова: «царь» и «псырь». На этом же эффекте строится пословица «Или пан, или пропал», «Один с сошкой, семеро с ложкой», фразеологические обороты «то густо, то пусто», «и швец, и жнец» и т.п..

Противопоставляться могут и одинаковые слова, образуя антитезу в пределах одной лексемы, – так называемую дистинкцию, или диафору, хорошо известную в русском политическом дискурсе по выражению Ленина «*Есть компромиссы и компромиссы*». Эта фигура, в самом деле, характерна для риторики Ленина: «Я думаю, что не будет преувеличением, если я повторю, что наши глупости еще ничто по сравнению с теми глупостями, которые совершают вкупе капиталистические государства, капиталистический мир и II Интернационал». Одни «глупости» противопоставляются другим «глупостям».

«Законодательные органы создают законы и декреты; законы принимают характер законов только тогда, когда они формально приняты народом. До этого момента они являются лишь проектами, а затем они уже становятся выражением воли народа».

В этом отрывке из речи Робеспьера одни законы противопоставляются другим законам. Есть, стало быть, законы и законы.

Особый случай представляет собой грамматическая антитеза, когда противопоставляются две грамматические формы одного слова. Чаще всего противополагаются падежные формы слова. Такая фигура называется полиптотом, или многопадежьем.

Полиптот характерен для кратких форм политического красноречия, носящих афористический характер: «Человек человеку брат», «Человек человеку волк», «Война – войне». По аналогии построен и девиз «Миру – мир», где слово «мир» употребляется в разных значениях. Вспомним идиоматические выражения: «Ворон ворону глаз не выклюет». «Рыбак рыбака видит издалека».

В падежное противопоставление может быть вовлечено и словосочетание: «*Каждая капля крови Людовика XVI обойдется Франции потоками крови*» (Жозеф де Местр). Капля крови противопоставлена потокам крови.

Иногда игра падежными формами выходит за пределы антитезы, и тогда в полиптоте участвуют более двух форм. «*Не тот,*

товарищи, товарищам товарищ, кто всем, товарищи, товарищам товарищ. Но тот, товарищи, товарищам товарищ, кто одному товарищу, товарищи, товарищ».

Есть особая разновидность повтора слова в одних и тех же или разных падежах, для которой характерно навязчивое повторение отдельного слова или сочетания слов. Это и плеоназм, и антитеза одновременно. Такая фигура называется эпимоной: «*И склоняю, как школьник плохой: колея, колею, колеей*» (В. Высоцкий).

«Кандидатура Кириенко потому и могла появиться на горизонте, что во времена правления Ельцина политика у нас определяет экономику, диктует экономике, давит экономику» («Советская Россия»). Эпимона со словом «экономика» в косвенных падежах («страдательной» позиции) подчеркивает насилие над экономикой.

«Для Засулич Боголюбов был политический арестант, и в этом слове было для нее все: политический арестант не был для Засулич отвлеченное представление, вычитываемое из книг, знакомое по слухам, по судебным процессам, – представление, возбуждающее в честной душе чувство сожаления, сострадания, сердечной симпатии. Политический арестант был для Засулич – она сама, ее горькое прошедшее, ее собственная история – история безвозвратно погубленных лет, лучших и дорогих в жизни каждого человека, которого не постигает тяжкая доля, перенесенная Засулич. Политический арестант был для Засулич – горькое воспоминание ее собственных страданий, ее тяжкого нервного возбуждения, постоянной тревоги, томительной неизведенности, вечной думой над вопросами: что я сделала? что будет со мной? когда же наступит конец? Политический арестант был ее собственное сердце, и всякое грубое прикосновение к этому сердцу болезненно отзывалось на ее возбужденной натуре» (П. А. Александров).

Настойчивым повторением словосочетания «политический арестант» защитник хочет показать, как много смысла заключали

в себе эти слова для его подзащитной, стрелявшей в губернатора Трепова после того, как за дерзкое поведение был высечен в тюрьме студент Боголюбов.

Когда в пьесе М. Булгакова «Бег» Голубков обращается к Корзухину с просьбой помочь голодной и бездомной Серафиме, бывшей жене того же Корзухина, и одолжить для нее тысячу долларов, тот разражается длинной тирадой, в которой всячески склоняет слово «доллар». Этой эпимоной он показывает, насколько значимы для него деньги и как нелепа просьба Голубкова.

Яркий пример эпимоны – монолог Сатина из пьесы Горького «На дне»:

«Человек – свободен... он за все платит сам: за веру, за неверие, за любовь, за ум, – человек за все платит сам, и поэтому он – свободен! Человек – вот правда! Что такое человек?.. Это не ты, не я, не они – нет! – это ты, я, они, старик, Наполеон, Магомет... в одном... Это – огромно! В этом – все начала и концы... Все – в человеке, все для человека! Существует только человек, все же остальное – дело его рук и мозга! Чело-век! Это – великолепно! Это звучит... гордо! Че-ловек! Надо уважать человека! Не жалеть... не унижать его жалостью... уважать надо! Выпьем за человека... хорошо это... чувствовать себя человеком!..»

Грамматическая антитеза строится не только на противопоставлении падежей, но и на противопоставлении других грамматических категорий, например, залогов:

«Вы должны пережить 15, 20, 30 лет гражданской войны и международных битв не только для того, чтобы изменить соответствующие отношения, но чтобы и самим измениться и стать способными к политическому господству» (Карл Маркс). В этой грамматической антитезе противопоставляются глагольные формы «изменить» – «измениться».

В грамматической антитезе нередко используется и противопоставление видовых форм глагола: «Собирался, да не собрал-

ся», «Делать-то делал, да так ничего и не сделал» и т.д. Вот пример антитезы форм вида из «Советской России»:

«Россия – СССР разорвана на суверенные образования, этого добивался Гитлер и добился Ельцин».

В грамматической антитезе могут противопоставляться и формы времени:

«В правительстве и администрации президента как играли, так и играют в разводки и разруливания. Гигантская административная машина как работала вхолостую, так и работает, ничуть не меняя функционального режима» (М. Соколов).

Родственной антитезе фразой является оксюморон – противоречивое сочетание слов, связанных подчинительными отношениями: «Живой труп», «Горячий снег» (оба примера – названия художественных произведений), современный газетный заголовок «Секонд-хенд из первых рук». В оксюмороне одно из слов употреблено в переносном значении, и этим оксюморон сведен с метафорой. Оксюмороны достаточно эффектны и быстро запоминаются.

Кроме антитезы, к фигурам контраста относятся также коррекция и градация.

В коррекции автор перебивает сам себя, сначала отрицая то, что он сказал прежде, а затем утверждая сказанное, но с гораздо большей силой.

«Знавшие бывшего и.о. генпрокурора утверждают, что тот моргнуть не смел, без высочайшего одобрения... Конечно же, был ему звонок, да чего там! – мы знаем, из чьего кабинета звонок, и знаем достоверно» (В. Шендерович). Сначала автор сообщает только то, что был звонок, но потом перебивает себя («да чего там!») и говорит, что знает даже, откуда был звонок, и при этом знает точно.

Вот широко известный пример коррекции из первой речи Цицерона против Катилины.

«Сенат это понимает, консул видит. Но Катилина здравствует. Здравствует? Именно! И даже является в сенат, прини-

мает участие в публичных заседаниях, пожирает глазами и обрекает на смерть каждого из нас». Великий оратор мог бы не задаваться вопросом, здравствует ли Катилина, если тот действует и даже обрекает присутствующих на смерть, но тогда речь лишилась бы драматизма.

Более мягкий вариант коррекции носит характер простого уточнения без усиления смысла:

«Но, мне думается, или вернее сказать, я чувствую, что наша интелигенция, т.е. мозг родины, в погребальный час великой России не имеет право на радость и веселье» (И. П. Павлов).

Гораздо чаще встречается другой тип коррекции:

«Я поддерживаю отзывание комиссаров, обвиненных, вернее уличенных в благоприятствовании мятежникам» (М. Робеспьер). Если бы оратор сразу сказал «уличенных», он не подчеркнул бы этого слова и эффект оказался бы слабей. В этой коррекции переход от обвинения к разоблачению происходит как бы на глазах у слушателей.

К коррекции близка другая фигура – градация, состоящая в том, что части высказывания располагаются в порядке нарастания или убывания какого-либо признака. До сих пор мы говорили о градации как о композиционном приеме, организующем текст или часть текста и обеспечивающем выдвижение. Но градация как фигура мысли может реализоваться и в одном предложении.

«Мне кажется, что мы не склонны к сосредоточенности, не любим ее, мы даже к ней отрицательно относимся» (И. П. Павлов). Данную градацию образуют три сказуемых: не склонны, не любим, отрицательно относимся. Частица «даже» усиливает градацию. Эта градация близка по функции к коррекции. Ученый не сразу, а постепенно раскрывает нашу неприязнь к сосредоточенности.

«Когда проекты злых людей или агрессивные помыслы могущественных государств разбивают на части структуру цивилизованного общества, скромные простые люди поставлены перед трудностями, с которыми они не могут справляться. Для них

все искажено, все нарушено, стерто в порошок» (У. Черчилль). Последнее предложение построено на градации. Черчилль использует также и бессоюзие, что очень уместно в градациях такого рода и типично для них (ср.: «Для этих людей все искажено, нарушено и стерто в порошок»). Оставив на совести переводчика не совсем уместное слово «структура», можно констатировать, что процитированный пассаж удачен в риторическом отношении.

В зависимости от нарастания или убывания выделенного признака различают восходящую градацию (или климакс, что в переводе означает «лестница») и нисходящую градацию (антиклимакс). Иногда в градации климакс сочетается с антиклимаксом, что делает ее похожей на прием обманутого ожидания. Таков, например, подзаголовок в «Новой газете»: «... история о любви, мужестве, доброте и страшной случайности». Любовь, мужество и доброта образуют восходящую градацию, случайность же не вписывается в этот ряд. Чаще всего комбинация восходящей и нисходящей градаций используется иронически: «*Он орел, тигр, лев – словом, животное*».

Такая градация называется еще разрядкой.

Следует отметить, что отсутствие градации в перечислениях иногда сбивает пафос, создает впечатление канцелярского стиля.

«Пенсионеры, инвалиды, бюджетники, малообеспеченные граждане становятся объектом Вашего внимания только в период выборов». Это предложение взято из открытого письма, которое кандидат на пост губернатора адресует действующему губернатору (мы еще вернемся к анализу этого письма в разделе «Возможности политической риторики»). Перечень категорий лиц, о которых не заботится губернатор, сух до смешного. Налицо смешение публицистического и канцелярского стилей. В открытом письме как в пафосном документе такому перечню, конечно, не место. В какой-то степени эту фразу мог бы спасти другой порядок слов: «Бедняки, пенсионеры, инвалиды». Во-первых, трехчленная градация убедительней четырехчленной. Во-вторых,

оборот «малообеспеченные граждане» – очень невыразителен. В-третьих, «бюджетники» вообще выпадают из смыслового ряда, так что вся градация напоминает тест «Вычеркни лишнее слово». Если же такая категория избирателей, как бюджетники, почему либо важна для автора письма, то надо строить другой ряд или писать о них отдельно.

Фигуры контраста – мощное подспорье риторики. Контраст заостряет мысль, помогает организовать текст или его часть, благодаря чему фигуры контраста, особенно антитезы, используются как текстообразующие средства. Антитеза весьма многогранна. Интересными ее видами являются парадиастола и диафора, они заставляют вдуматься в противопоставление. Внимания изучающего риторику заслуживают и всевозможные виды грамматической антитезы – от полиптота до противопоставления видовых и временных форм. Несколько в стороне в этой группе стоит коррекция, используемая точно. Градация подобна антитезе тем, что обладает ярко выраженной текстообразующей функцией.

§ 11. Звуковая сторона речи

Аллитерация, ассонанс, звукоподражание, словесная инструментовка. Каламбур. Шутка в ораторской речи

Литературоведение уделяет особое внимание звуковой стороне речи, справедливо связывая ее с красотой звучания. О красоте речи мы еще поговорим в последнем разделе нашей книги. Но красота не единственное, что достигается особым подбором звуков. Звуковые фигуры могут усиливать ясность речи, т.е. решать собственно риторическую задачу.

Прежде всего с помощью звуковых повторов достигается выразительность. Эти повторы имеют свои названия: повтор согласных называется аллитерацией, а повтор гласных – ассонансом. Например, в словосочетании «врач-вредитель» повторяются согласные звуки «вр», а в псевдониме «Анна Ахматова» повторя-

ется гласный «а». В первом случае говорят об аллитерации, во втором – об ассонансе. Но чаще всего эти повторы реализуются одновременно. Например, в имени персонажа «Евгений Онегин» есть и аллитерация (повтор «н» и «г») и ассонанс (повтор ударного «е»).

Аллитерации и ассонансы выделяют в потоке речи определенные слова или словосочетания, делают эти слова запоминающими. Такое клише, как «врач-вредитель», в свое время благодаря звучанию получило дополнительную мотивировку, как бы народный паспорт. Те, кто пустили в ход этот оборот, хорошо понимали его устройство. В фельетонах, например, каламбурно обыгрывалась фамилия одного из «вредителей»: «Профессор Вовси не профессор вовсе». По свидетельству немецкого филолога Клемперера, в гитлеровской Германии муссировался образ тылового вредителя – «углекрада». Образ «углекрада» поддерживался аллитерацией (в немецком оригинале повторяются два звука «к»).

Просматривая афоризмы, крылатые слова и пословицы, мы постоянно наталкиваемся на звуковые повторы. «Терпение и труд все перетрут» (повтор «т», «р», «п»), «Береженого Бог бережет» (повтор «б» и «ж»), «Через золото слезы льются» (повтор «з», «с», «л») и т.д. Очевидно, именно звуковые повторы удерживают слова в памяти носителей языка. Они же придают словам убедительность, афористичность. Русское «пришел, увидел, победил» звучит значительно слабее латинского оригинала *veni, vidi, vici*, потому что содержит более слабый звуковой повтор. Отсюда следует, что в политической риторике звуковым повторам место прежде всего в лозунгах, призывах, девизах, слоганах и политических ярлыках. В письменной речи звуковой повтор полезно использовать в заголовках газетных заметок и даже в заглавиях книг.

Яркий пример использования аллитерации представляет собой знаменитый лозунг «Вся власть Советам». Звуки «в» и «с» повторяются в каждом слове. Есть здесь и ассонанс на «а». Не менее знаменитый девиз «Православие, самодержавие, народ-

ность» содержит и рифму (аллитерация + ассонанс), скрепляющую первые два слова, и дополнительную аллитерацию («др – рд»), связывающую второе слово с третьим. На аллитерации построен первомайский слоган: «Мир. Труд. Май». Слово «мир» по первому звукуозвучно со словом «май», по последнему – со словом «труд». Краткость слов придает всей конструкции энергичность: три ударения на трех закрытых слогах. Не будь этих звуковых эффектов, весь слоган превратился бы в бессмысленный набор слов. Как выглядел бы, например, такой слоган: «Мирное сосуществование. Труд. Октябрь»?! Аллитерациями и ассонансами скреплены названия многих книг. Достаточно привести два примера: «Медный всадник» («дн» – «дн»), «Мастер и Маргарита» («мас» – «мар»). Политический ярлык «гнилая интеллигенция» поддержан в звуковом отношении: «гни» – «иниг». Вспомним также «министров-капиталистов».

Не всегда аллитерации и ассонансы используются сознательно, действуют же они почти всегда помимо сознания. Однако ни в обнаружении звуковых фигур, ни даже в их создании нет ничего сложного, непостижимого.

Придание речи ясности с помощью подбора звуков не сводится к выразительной функции. Звуковой ряд способен выполнять и функцию усиления изобразительности. Ниже речь пойдет о явлениях, типичных для художественной речи, однако приемы эти искони встречались и в речах сильных ораторов.

В языке есть особые звукоподражательные слова – ономатопеи, например: «мяукать», «свист», «визг», «кукушка», «ба-бах», «гулький». Как видно из примеров, звукоподражательные слова могут принадлежать к разным частям речи: это глаголы, существительные, междометия, прилагательные. У всех этих слов звучание напоминает то явление, которое они обозначают: слово «визг» своим фонетическим составом похоже на сам визг, «кукушка» – на звуки, производимые этой птицей. Употребляя такие слова, мы делаем речь более изобразительной. Она быстрей и легче воспри-

нимается. Но звукоподражание это не только употребление специальных слов (ономатопеи), но и такой подбор звуков в обычных словах, который напоминает все описываемое явление.

В песне Владимира Высоцкого «Як-истребитель» весь звукоряд передает вой моторов и звуки падающего самолета: «Вот он задымился, кивнул и запел: «Мир вашему дому!» Конечно, для ораторской речи это менее характерно, хотя бы потому, что в таких речах редко встречаются описания звучащей природы. И все же звукоподражания встречаются и там. В риторическом памятнике XVII в. «Повесть об Азовском осадном сидении» автор, описывая военные события, прибегает к звукоподражанию, передающему ржание коней и грохот осыпающихся городских стен. Более того, уже в «Слове о полку Игореве», произведении если не риторическом, то публицистическом, мы встречаем яркие примеры звукописи: «Трубы трубят в Путивле», «В пяток (пятницу) потоптали поганые полки половецкие». Изображение «военных» звуков особенно характерно для политической риторики.

Помимо прямого звукоподражания, звуковая материя используется и для передачи определенного настроения. Способность отдельных звуков соотноситься с определенным значением, обычно эмоциональным, получила название звукового символизма. Некоторые звуки, особенно при избыточном их употреблении, действительно могут вызывать устойчивые ассоциации с тем или иным эмоциональным состоянием. Дрожащий согласный «р» удачно резонирует с открыто выраженной угрозой, шипящие и свистящие «ш» и «с» – с угрозой скрытой, плавные «м» и «л» – с размягченностью, умиротворенностью, «у» – с унынием и печалью и т.п. На первый взгляд, эти утверждения кажутся бездоказательными и могут быть опровергнуты множеством контрпримеров. Но на уровне закона больших чисел звуковой символизм существует, что подтверждается статистически, как опросом информантов, так и количественным анализом большого массива художественных текстов.

Напряженный звук «и» в первой речи Цицерона против Катилины передает возмущение оратора. Речь буквально переходит в визг, когда он спрашивает у сената: «И этот человек жив?»

В каламбре звуковая сторона речи обыгрывается иначе. Каламбур – это игра слов, при которой на основании общности звучания возникает неожиданное сближение их смысла. Так, А. И. Герцен в своей публицистике называет помещиков «секунами и серальниками» (от слов «сечь» и «сераль»). Это один из видов каламбура – **какэмфатон** – звуковое сближение участующих в каламбре слов со словами бранными и нецензурными.

Другой нередко используемый вид каламбура – **квазиэтимологическая фигура**, представляющая собой каламбур, основанный на противопоставлении этимологии слова реальному положению вещей:

«Известно, что еще в советскую эпоху этот Знак был крайне непочетной наградой и различие между истинными знаками почета и Знаком почета было такое же, как между Государем и милостивым государем» (М. Соколов).

Выражения «вождь, который никуда не ведет», «полководец без полка», «правительство, которое не умеет править» – примеры той же фигуры.

Особым и очень распространившимся за последние двадцать лет видом каламбура является **деформация идиомы**, когда устойчивое выражение (пословица, фразеологическая единица, крылатое слово) изменяется, сохраняя звуковое сходство с оригиналом. Например, в восьмидесятые годы был в ходу каламбур: «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью» (из «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью»). Деформацией идиомы было и выражение: «Бытие определяет сознание» (из «Бытие определяет сознание»).

Использование деформации идиомы в газетном заголовке уже давно стало штампом. Правда, удачи здесь редки, чаще авторы заголовков поступают так, будто считают своим долгом отметить

в графе «каламбур». Это особенно характерно для прессы, ориентированной на молодежь, но грешат этим и солидные издания.

«*Тени забытых предков*» – так выглядит один из заголовков в «Известиях». Исходной идиомой послужило название фильма С. Параджанова «Тени забытых предков». Подзаголовок статьи «Разгорается политическая борьба за череп Хаджи-Мурата» проясняет смысл заглавия, но никак не нравственную позицию творца каламбура. В том же номере газеты читаем заголовок: «*Неисполнительная власть*» (исходная форма – фразеологическое сочетание «исполнительская власть»). Он удачней, так как ближе к квазиэтимологической фигуре: исполнительная власть не исполнительна. Во всяком случае ироническая позиция автора здесь понятней. На той же странице размещается заголовок «*Петр великих свершений*», образованный контаминацией двух идиом: имени «Петр Великий» и устойчивого выражения «великие свершения». Смысл каламбура неясен. Заголовок рядом: «*Низкие технологии*» (из фразеологического сочетания «высокие технологии»). Совершенно очевидно, что при таком избыточном употреблении прием перестает усиливать выразительность, превращается в своего рода газетный этикет. Газетчики становятся заложниками штампа: без штампа неинтересно, но и штамп ничего не дает, во всяком случае не придает речи экспрессии.

Наиболее уместно употребление каламбура в конце речи для снятия эмоционального напряжения. Иногда выступающий, если выступление устное, начинает речь с какой-нибудь шутки. Шуткой хорошо парировать возражения, особенно пространные и шаблонные. Защищая контрабандиста Вальяно, Ф. Н. Плевако в ответ на пространную речь прокурора сослался лишь на то, что нигде не оговорено, что нельзя провозить товар на фелуках, а в ответ на упрек произвел подсчет того, сколько стоит одно слово обвинителя (из расчета годового жалованья и длины речи) и сколько стоит его собственное слово (из расчета гонорара и сверхкраткого объема речи).

Следует отметить, что подобные шутки удаются лишь тому, кто уже заработал себе прочную репутацию. Шутка вообще, и каламбур в частности, уводит мысль в сторону. Слушатель соглашается на это, когда у такого поворота сюжета есть определенные резоны. В случае с Плевако речь прокурора была обычной, стандартной, к тому же затянутой. У присяжных, возможно, уже зрело впечатление о том, что истрачено много лишних слов. При этом дело казалось слишком очевидным, и от знаменитого адвоката ожидали какого-то нового хода. Такой ход и последовал. Плевако и оправдал ожидание, и разрядил обстановку, и подчеркнул слабость своего противника. Обращение к шутке было вполне уместно.

Но злоупотребление каламбуrom не придает речи дополнительной убедительности, особенно если этот каламбур построен по стандартной схеме деформации идиомы и не блещет новизной. Шутка в риторике должна знать меру. Речь в защиту журналиста Нотовича, обвиняемого в клевете, П. А. Александров начинает в шутливом тоне:

«Господа судьи! На страницах Уложения о наказаниях мирно покоится статья закона, редко тревожимая, редко вспоминаемая, ждущая того желанного луча рассвета, когда наступит и для нее естественный час бесшумного погребения».

Заканчивает же адвокат свою речь достаточно патетически: *«Господа судьи! Не защита Нотовича ждет вашего приговора – его ждут от вас интересы общества и печати».*

ЧАСТЬ II. МИР УБЕЖДАЮЩЕЙ РЕЧИ И СУДЬБА РУССКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РИТОРИКИ

Глава 1. Система убеждающих речей
и становление русской риторической традиции

§ 1. Ораторика и гомилетика

Убеждающие речи как система. Задачи ораторики и особенности ее аудитории. Особенности метонимической стратегии. Задачи гомилетики, отношение аудитории к фигуре проповедника. Суть метафорической стратегии

Убеждающие речи разных типов не изолированы друг от друга и не сливаются в хаотический поток. Напротив, мир убеждающих речей можно представить себе как систему четырех взаимозависимых типов. Исключение какого-нибудь из этих типов из общественного дискурса или гипертрофия одного из них отрицательно сказывается на всей системе. В нормально же развитом публичном пространстве функционирование разных типов убеждающих речей взаимно обусловлено. Эти четыре типа – ораторика, гомилетика, дидактика и символика. Каждый из них решает свою задачу и имеет свою ведущую стратегию в области словесного воздействия. В этом параграфе мы остановимся на первых двух типах – ораторике и гомилетике: сопоставим и противопоставим их. Это будет тем легче сделать, что выше, когда мы касались вопроса о разных типах красноречия, торжественное красноречие было противопоставлено двум другим типам – совещательному и судебному.

Ораторика – то, что Аристотель называл судебным и совещательным красноречием – решает злободневные задачи, черпая свои темы из актуальной действительности. Ведущая стратегия ораторики может быть названа метонимической, так как она основана на смежности явлений и представлений. Ораторика занята

отбором представительных фактов и в целом не склонна анализировать жизнь путем домысливания какого-то сложного конструкта, прибегать к «дополнительным построениям» в виде метафор и аналогий. Коротко говоря, в целом она не любит говорить притчами и рассказывать басни. Она оперирует казусами (примерами) и широко пользуется словесными формулами и эмблемами, отражающими мир казусов. Поэтому, в частности, она нередко использует известную нам антономасию, поминая Гобсеков, Наполеонов, Ватерлоо, Великую армаду, елизаветинскую эпоху – т.е. все то из казуального мира, что может обобщать какие-то случаи. При этом ораторика чаще прибегает не к подобию (уподобляя кого-то кому-то), а к простому выбору представительных фактов, отлитых в формулировки-перифразисы.

Ораторика рассчитана на достижение конкретного результата, на убеждение колеблющихся или даже несогласных. Она достаточно напориста, но она же склонна к диалогу и всегда чутко реагирует на возражения оппонентов. Каждое выступление оратора можно понять как реплику в большом диалоге: на ораторику отвечают ораторикой же.

Предвыборные выступления кандидатов, например, – это типичная ораторика. Все они имеют вполне конкретную цель – завоевать голоса на выборах, т.е. повлиять на поведение адресата во вполне конкретном случае. Ставя себя в положение оратора, кандидат, естественно, открывает себя и для критики. В ответ на его речь, на отдельные ее положения последуют возражения оппонентов. Оратор должен быть готов к возражению, к диалогу, к тому, что его аудитория не поддерживает его априорно, во всех случаях. Она неоднородна: есть сочувствующие, есть колеблющиеся, есть равнодушные, есть настороженные, есть враждебные, притом и активно враждебные, готовые обращать его слова против него самого.

Вся обстановка ораторики заставляет оратора оставаться на земле, оперировать узнаваемыми фактами и не уноситься слиш-

ком далеко в мир обобщений, уподоблений, моделей, сложных метафор. Даже давая обещания, реальные или несбыточные, оратор все равно остается в мире фактов, хотя бы потому, что фактом является непокорная среда его слушателей, с которой он вынужден считаться. Он не располагает неограниченными ресурсами доверия и времени. Обычно ему недостает и того и другого. Главная стратегия оратора – сделать свою позицию убедительной, лепя мир из узнаваемых фактов, в том числе и из речей и рассуждений своих противников. Стратегия оратора – черпать из гущи жизни, демонстрировать явления, смежностно (причинно-следственно, ситуативно или ассоциативно) связанные между собой. В этом смысле его стратегия и может быть названа метонимической.

Гомилетика в узком смысле слова – это теория церковных проповедей. Однако термин понимают и шире, особенно при противопоставлении ораторике. В широком смысле слова гомилетика – то, что Аристотель называл торжественным красноречием. Подлинное развитие она получила именно в церковной проповеди, когда черты торжественной речи – обращенность к сочувствующей аудитории, расчет не на мгновенный эффект, а на долговременное воздействие – были заострены и усилены тем, что проповедник (гомилетический оратор) вырос в особую общественную фигуру. Эта фигура изначально поставлена выше присутствующих, проповедь произносится с амвона, на проповедь не отвечают проповедями. Проповедник сам и прокурор, и защитник. У него нет соперника. Сама позиция проповедника помогает ему завоевать аудиторию, даже если он неопытен. Но действующий проповедник, религиозный или политический, как правило, уже известен, даже знаменит. Он завоевал себе право на общественную проповедь у какой-то части общества. Именно для этой части он и говорит.

В отличие от ораторики гомилетика не склонна оперировать казусами. Ее излюбленный прием – развернутая метафора, прит-

ча. Гомильтоника – это всегда истолкование действительности, это обязательно проповедь неких положений или возврений, которые разворачиваются чаще всего с помощью уподоблений. Гомильтоника и ораторика взаимно дополняют друг друга. Как мы увидим ниже, подмена ораторики гомильтоникой или гомильтоники ораторикой чревата отрицательными последствиями и для говорящего, и для слушающего, и для общественного дискурса в целом.

Торжественная, «tronная» речь признанного политического лидера, моралиста, пользующегося широкой общественной поддержкой, – вот пример политической проповеди. Гомильтон имеет дело с сочувствующей аудиторией, и поскольку он не готовит своих слушателей к осуществлению какой-то одноразовой акции, поскольку речь не идет о выборе в конкретной ситуации, он и не заботится о другой части аудитории. Конечно, и он призывает к конкретным действиям, к честному труду, к социальной терпимости или, напротив, нетерпимости. Конечно, и среди его слушателей есть энтузиасты и ленивцы, люди, настроенные фанатически, и люди, настроенные скептически. Но все так или иначе разделяют его позицию и признают за ним право на проповедь.

Ясно, что проповедовать можно и перед избирателями, и перед присяжными заседателями, ясно, что всем и всегда можно «прочесть мораль». Но ясно также и то, что проповедь уместна в одних ситуациях и не уместна в других. Типичная для проповеди ситуация – это «своя» аудитория и отсутствие конкретной, «разовой» задачи. И то и другое создает ресурс доверия и времени и позволяет развернуть гомильтоническую речевую стратегию. В других случаях эта стратегия может принести говорящему вред. В основе гомильтонической стратегии лежит принцип аналогий и уподоблений, дополнительных умственных построений и развернутых метафор. Гомильтону положено воспарять мыслью: оттуда открываются ему какие-то новые ракурсы темы. Вот почему эту стратегию мы называем метафорической.

§ 2. Символика и дидактика. Пропаганда

Символика и ее связь с гомильтоникой и ораторикой. Знаковая природа символики. Феномен пропаганды. Пропаганда и манипулирование. Дидактика как вид убеждающей речи

Символика – это редкий и особый случай убеждающей речи. Церковная проповедь ссылается на Священное Писание. Государственная гомильтоника иллюстрирует положения какого-то важного государственного текста – конституции, декларации, манифеста, хартии. Если даже за политической проповедью не стоит определенный письменный текст, то она опирается на определенный символический ряд. Все эти питающие гомильтонику тексты высшего уровня, писанные и реже неписанные, мы и называем символикой.

Ораторика тоже заинтересована в символике, но связана с ней по-другому: она черпает оттуда общие места и словесные формулы. Это хорошо видно по количеству библеизмов, встречающихся в речи христианского оратора даже тогда, когда он участвует в злободневной полемике, а не произносит проповедь. Нечто сходное наблюдается и в политической области. Советские судебные ораторы постоянно ссылались на «советский образ жизни», на «моральный облик советского человека», т.е. на советскую символику, например, на «моральный кодекс строителя коммунизма».

Проповедник берет какое-то положение символики и разворачивает его в проповедь. Его текст соотносится с символикой как с целым. «Я буду говорить о правах человека», «Я буду говорить о войне и мире», «Каждый человек равен от рождения. Поговорим же о равенстве», «Все люди – братья» – так могут начинаться проповеди, но даже если они начинаются не так, они все равно развиваются те аксиомы, которые составляют символику и которые чаще всего собраны в некий политический текст. Оратор же берет из символики самые разные положения, подкрепляющие его речь. Его текст опирается на символику как на источник для

скрытых и явных ссылок. Он говорит так: «...а поскольку, как известно, все люди – братья...», «...а это есть право на труд», «...но каждый человек равен от рождения» и т.п. Его обращение к символике ситуативно.

Что же представляет собой сама символика как вид убеждающей речи?

Для символических текстов характерна особая смысловая емкость. Это одновременная реализация двух стратегий: метафорической, основанной на уподоблении, и метонимической, основанной на казуальности. Символические тексты сразу и обобщают, и говорят о конкретном. Они принадлежат и горнему, и дольнему мирам. В этом и состоит их специфика. Они выполняют в политике и религии ту же роль, что аксиомы в науке. Аксиома описывает какое-то свойство реального мира, но она не доказывается, не выводится и в этом смысле стоит как бы за скобками теорий. Она и метафорический эталон реальности, и в то же время сама эта реальность. Главная стратегия символической речи отличается и от метонимической стратегии ораторики, и о от метафорической стратегии гомильтетики. Ее опора – символ. Символ – это знак, обладающий особой смысловой емкостью, которая возникает в результате соединения свойств метафоры и метонимии.

Понять природу символа помогает феномен священной истории. Земная жизнь Христа одновременно и принадлежит истории человечества, занимая определенный исторический отрезок времени, и является метафорой всей земной истории. В политическом мире есть выделенный город – столица, выделенное лицо – первое лицо государства, выделенные учреждения и т.д. Столица, с одной стороны, является одним из городов страны (в этом смысле она часть страны), с другой – символизирует всю страну в целом. Первое лицо государства олицетворяет собой государственную власть. Кремль для России не просто государственное учреждение, но и символ государственного учреждения.

Исследователи символа всегда подчеркивали, что в отличие от метафоры символ можно рисовать, изображать графически.

В самом деле, если мы назовем знакомого «вандалом» (метафора), то нам сложно будет отобразить это в виде картинки. Символы же имеют тенденцию отливаться в символику не только словесную, но и зрительную, пластическую. Символами являются гербы, флаги, гимны, знаки монархической власти – скипетр, держава, корона. Символ вызывает к жизни ритуалы, символические действия, различные церемонии. У таких церемоний есть метафорическая, образная сторона, но в то же время они вписаны в общественную жизнь. Военный парад – это и знак военной мощи, и ее часть.

Можно сказать со всей определенностью, что отсутствие общепризнанной символики самым губительным образом оказывается на всем политическом дискурсе. Но следует отметить и то, что постоянно изъясняться символами нельзя. Символическая речь слишком концентрирована, слишком выделена, слишком самодостаточна, чтобы прибегать к ней в ординарных ситуациях. Поэтому нельзя всю жизнь превратить в ритуал, в церемониальные действия. Нельзя утопить дипломатическую жизнь в протоколе. Нельзя заменить управление представительством.

В отличие от ораторики и гомильтетики символика сама по себе не обладает риторическим потенциалом. У нее другая задача. Символика готовит почву для гомильтетики и ораторики. Сам по себе конституционный текст не наделен такой убеждающей силой, как, например, пламенная политическая речь. Поэтому символика нуждается в пропаганде. Пропаганда – это тиражирование символики. Применительно к священным текстам существует специальная ритуальная форма пропаганды – литургика, которая напоминает нам о возвещенных в них истинах и, если придать этому слову более высокий смысл, пропагандирует их.

Политическая пропаганда состоит в тиражировании политической символики. Это может быть тиражирование словесных формул и визуально воспринимаемых эмблем. Памятники, бюсты, барельефы, портреты, значки, плакаты, изображения полити-

ческих деятелей и государственных символов на денежных знаках, открытках, конвертах, марках, печатях, вывесках, на страницах букварей и учебников – все это проявления пропаганды. На словесном уровне – это знаковые имена, цитаты, просто ключевые для заданной картины мира слова.

Советское время широко тиражировало цитаты из Ленина, украшая ими стены кинотеатров («Из всех искусств важнейшим для нас является кино»), почтамтов («Без почты и телеграфа социализм есть пустейшая фраза»), учебных заведений («Учиться, учиться и учиться»). Такие девизы, например, как «Мир. Труд. Май», наглядно показывают устройство пропаганды. Она не связана с самостоятельной аргументацией. Ее суть – повторение. И «мир», и «труд», и даже «май» – ключевые слова, знаки соответствующей картины мира. Такие слова-знаки советской пропаганды, как «Май» и «Октябрь», обнаруживают связь пропаганды с календарем, праздниками, юбилеями. Моделью и прообразом любой пропаганды является обряд, а обряд в силу самой своей повторяемости связан с календарем. Политическая пропаганда имеет свои святыни, свои памятные даты, свои праздники, сопряженные с особыми общественными действиями (достаточно вспомнить первомайские демонстрации и ленинские субботники). Подобными же свойствами обладает и любая другая пропаганда, будь то пропаганда эстетическая или даже научная.

В предвыборных кампаниях к пропаганде относится тот их компонент, который связан с тиражированием. Это неизбежно манипулирование, как и всякий повтор. Отличие этого случая от официальной, централизованной пропаганды заключается в том, что здесь идет борьба за политический «брэнд». В торговой рекламе рычагом для самого простого способа манипулирования – повторения одних и тех же слов или одних и тех же компонентов видеоряда – выступают сам товарный знак и слоган. Это свойство было подмечено еще в «Четвертом позвонке» Марти Ларни: из рупора, размещенного на разъезжающем по улицам города автомобиле, беспрестанно раздается имя рекламируемого врача.

Этот же прием используется и в политической пропаганде. С языковой точки зрения «брэнд» – это способность товара данной фирмы олицетворять весь класс товаров. Например, со словом «ксерокс» у нас ассоциируются не только копировальные аппараты этой фирмы, но всякое устройство, осуществляющее копирование документов. В политической рекламе признаком «брэнда» является формулировка «Этому кандидату альтернатив нет». Тот или иной лидер начинает ассоциироваться со своей партией, со своим городом или со всей страной. Имиджевая составляющая предвыборных кампаний – аналог слогана и товарного знака – и является элементом пропаганды. Ниже, в третьей части книги, мы постараемся глубже понять сходство политической и торговой рекламы, проясняя другую сторону рекламы – «позишенинг». Сейчас отметим лишь то, что реально пропагандировать можно только символику. Подмена аргументированной ораторики пропагандой выглядит претенциозно, если не смешно. Нельзя явочным порядком сделать из фотопортрета функционера икону.

Особым видом убеждающей речи, не всеми исследователями и не всегда относимым к области риторики, является дидактика. Дидактика – это убеждение в форме обучения. Любое обучение – это утверждение определенной картины мира. Дидактика опирается на символику, как наука на аксиоматику. В основе любой картины мира лежат аксиоматические представления: постулаты Евклида, представления об историческом прогрессе, библейская картина мира, марксистская диалектика, просветительские идеи и т.д. Дидактика не развивает изначальных символов, как это делает проповедь, поучение, но имеет дело со знаниями, полученными на основе символики и упорядочивает их в своих классификациях. Ее главная стратегия – установление родо-видовых отношений. Излюбленный прием дидактики – дефиниция.

Школьная дидактика формирует наши представления о жизни. Это особенно хорошо видно по урокам литературы, которые задают нашему сознанию начальные стереотипы поведения.

Ярким примером дидактики в нашем недалеком прошлом были политзанятия. Цель этих занятий состояла в том, чтобы наложить на жизнь определенную идеологизированную координатную сетку. Слушателю объясняли, например, что общество состоит из классов, что есть эксплуататоры и эксплуатируемые, что между ними существуют антагонистические противоречия, что в основе экономической жизни лежат производительные силы и производственные отношения и т.д.

«Политграмота» была задумана как дидактическое закрепление определенной политической идеологии, определенного видения мира. Дидактика консервативна. Если символику можно ниспровергнуть, как можно отказаться от аксиомы, то заменить одну дидактику другой, одни громоздкие умственные построения другими достаточно сложно. Вот почему дидактика становится дисфункциональной, когда меняется аксиоматика, когда ниспровергаются символы.

Ораторика и гомилетика пользуются данными дидактики как научно доказанными и общественно признанными теоретическими положениями.

§ 3. Становление русской риторики

Особенности возникновения русского красноречия и русской риторики, определившие русскую риторическую традицию. Русские предпочтения в области аргументации, композиции и риторических средств

Русская гомилетика возникла одновременно с самой русской словесностью. Торжественное «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона было произнесено уже в 1049 г. Долгое время гомилетика развивалась в отсутствие ораторики. Все жанры и поджанры киевского красноречия целиком вписываются в рамки красноречия торжественного и учительного, т.е. относятся к гомилетике, к проповеди. Это не только проповедь новых христианских ценностей, но и новых политических идей, тесно свя-

занных с этими ценностями. Прежде всего это идея свободного выбора Русью православия и принадлежности Руси большому христианскому миру, в котором она занимает вполне самостоятельное место. Эта идея опирается на свою символику: на образ Андрея Первозванного, предсказавшего основание Киева, на равноапостольность князя Владимира, добровольно выбравшего истиинную веру, на образы собственно русских святых. Другой важнейшей политической идеей времени является идея единства Русской земли – представление о сильной княжеской власти, о подчинении младших старшим, осуждение княжеских междуусобиц. Образы святых Бориса и Глеба дают этой идеи высокое нравственное измерение.

Все политические идеи первых веков существования Руси имели общенациональный характер, в них были заинтересованы все, и все их разделяли. Торжественное красноречие решало задачи консолидации общества. Ораторские прения, если и возникали, то оставались за пределами высокой словесности. Их отголоски попадали в торжественное красноречие либо как казусы, как иллюстрации к проповеди, либо как подтекст, не имеющий общенационального значения и быстро теряющий злободневность. Так, слово Кирилла о слепце и хромце, помимо общего смысла притчи о душе и теле, содержало еще и политический намек на князя Андрея Боголюбского.

Элементы ораторики появляются на Руси позже, в шестнадцатом веке. Церковная полемика времен спора иосифлян с нестяжателями и переписка Ивана Грозного с Андреем Курbsким – вот первые примеры подлинно риторического противостояния, когда авторы, опираясь на одну и ту же символику – Библию, спорят между собой, отстаивают разные точки зрения, прибегают к чисто ораторическим приемам. Так, Иосиф Волоцкий в своей «Книге на новгородских еретиков» использует излюбленный прием ораторики – последовательное рассмотрение аргументов противника.

И все же гомилетика остается ведущим жанром русского красноречия. В нем по-прежнему широко используется разверну-

тая метафора, характерная для проповеди и торжественного красноречия. К такой метафоре прибегает, например, самый образованный публицист XVI в. Максим Грек, когда в политическом трактате изображает Россию в виде овдовевшей, лишившейся заступника жены и сетует, что нет у нее своего Самуила, дабы противостоять Саулу. Даже в целом ораторический диалог Ивана Грозного с князем Курбским зачастую превращается в обмен нотациями: увлекаясь, авторы то и дело сбиваются на проповедь, на гомилетику.

Связь ораторики с проповедью прослеживается и в политической борьбе Смутного времени, когда политическая аргументация могла опираться на такой нехарактерный для ораторики жанр, как «видение». Например, «Повесть о видении некому мужу духовну» читалась вслух в соборе. Однако тогда же получает распространение жанр грамоты, т.е. политической листовки. Такую листовку, прежде чем вступить в Москву, пишет Лжедмитрий I. В этой листовке он, в частности, рассуждает о том, что Бог не допустил бы, чтобы столь великим государством мог овладеть самозванец, а не истинный государь. Одновременно с грамотами Лжедмитрия появляются и так называемые подложные грамоты – листовки от имени другого адресанта. Так, в Москве была составлена политическая листовка от имени жителей Смоленска, описывающая ужасы иноземного владычества. Цель листовки – убедить московских людей не сдаваться в плен.

Однако даже в Смутное время в обстановке напряженнейшего политического противостояния в русской риторике верх брали проповедническое начало. В «Плаче о пленении и конечном разорении превысокого и пресветлайшего Московского государства» автор говорит о нравственной причине Смуты: «Сущии в нем живущие цари вместо лествицы к Богу возводящи спасительных словес, еже рождаются от книгородных догматов, прияша богоненавистныя бесовские козни, волшбу и чарование и вместо духовных людей и сынов света возлюбивших чад сатаниных, иже отходят от Бога и от неблазненного света во тьму... и вместо не-

победимаго жезла богоподражательныя кротости и правды гордость и злобу возлюбиша, ея же ради иже прежде бысть пресветел, яко деница, с превысочайшего небеси спаде и ангельские светlostи и славы отпаде».

Сотни лет спустя традиции русской гомилетики громко заявили о себе в русской светской литературе. Не только назидательный восемнадцатый, но и реалистический девятнадцатый век прошел под знаком художественной проповеди. Целые романы превращались у нас в моральные проповеди, темы которых были заявлены даже в их названиях: «Преступление и наказание», «Бесы», «Воскресение». Еще ясней о проповедническом характере реалистических романов говорят эпиграфы из Священного писания. Таковы, например, эпиграфы к «Анне Карениной» («Мне отмщение, и Аз воздам») и к «Бесам», где эпиграфом служит целая притча о бесновавшемся, а весь роман представляет собой проповедь на тему этой притчи. Проповедническое начало русской литературы хорошо осознавалось и самими литераторами, и обществом. Всякое отступление от проповеднических традиций в русской литературе всегда воспринималось, да и до сих пор воспринимается с некоторым подозрением. В этом случае в авторе начинают видеть человека с утраченными нравственными ориентирами.

Влияние гомилетики на ораторику сказалось и в том, что в русской традиции не принята речевая агрессия, ведь речь долгое время была обращена к своим, к единомышленникам. Русская риторика малоагрессивна, деликатна, и это, безусловно, ее сильная сторона, создающая возможность диалогизма. Но эти ее качества имеют и оборотную сторону. Склонность к гомилетике сформировала привычку говорить для сочувствующих, а это означает – не принимать всерьез противника, не разбирать подробно и объективно его аргументов, не стремиться перехватить инициативу, преимущественно слушать. Диалогизм от этого, разумеется, не выигрывает.

В еще худшем положении оказываются у нас те ораторы, которые, игнорируя неаггрессивность русского слова, внешне пытаются следовать риторической манере западных ораторов, но при этом не изменяют застарелой отечественной привычке говорить только для своих. Подобные речи производят тяжелое впечатление, и в конце концов отталкивают даже своих. Вообще прямолинейное «жесткое» слово, подчеркнуто-настойчиво выдерживание в речи какой-либо одной линии производят на русскую аудиторию удручающее впечатление. Именно с таким речевым поведением связано употребление слова «риторика» в отрицательном смысле.

Положительной опыт гомилетики породил традицию увязывать тему речи с символикой. Именно над этой традицией посмеялись Ильф и Петров, когда остроумно заметили, что любое выступление сбивается у нас на лекцию о международном положении. Вместо того чтобы говорить о новом трамвае, оратор сбивается на политграмоту и разглагольствует о Чемберлене.

Нельзя, однако, утверждать, что стремление к обобщениям свидетельствует об исключительной слабости русской ораторики. Часто это избавляет речь от приземленности, придает повседневной проблеме высокий моральный смысл.

Из трех видов расположения доводов, рассмотренных нами в главе о композиции, русской риторической традиции наиболее полно отвечает амплифицирующее их расположение.

Долгий и успешный опыт гомилетики укрепил в русском дискурсе особое доверие к тем языковым средствам, которые связаны именно с гомилетикой и с ее основной стратегией – уподоблением. Отсюда особая склонность нашей убеждающей речи к метафоре и притче. Даже Лев Толстой, избегающий в своей художественной практике сложных развернутых метафор, в убеждающих рассуждениях обращается к притче, как, например, в случае со знаменитой «дубиной народной войны». Притча, построенная на развернутой метафоре, обычно благосклонно вы-

слушивается нашей аудиторией. Оппонент, как правило, старается перетолковать притчу по-своему, ни в коей мере не покушаясь на саму притчевую организацию речи.

Интересно, что любовь к притче сочеталась в восточнохристианской гомилетике с подозрительным отношением к словесным фигурам. Так, еще Василий Великий предлагал избегать «извития словес», т.е. словесных фигур. И в самом деле, обилие таких фигур – яркая черта ораторики. Они идеальное оружие для словесной дуэли. Но эффектные выпады, резкие словесные жесты не всегда сочетаются с поведением человека, вещающего с амвона. Недоверие к фигурам речи, хотя и давно преодоленное, все же осталось в генетической памяти нашей риторики и проявляется в том, что в поисках популярности русский оратор чаще, чем какой-либо другой, готов подчеркнуть свою непричастность к риторике и нежелание прибегать к изощренным риторическим приемам.

Еще Аввакум заявлял, что он «не обык» использовать риторические приемы. Позднее подобное признание стало для нашей риторики общим местом. Хорошим тоном считается безыскусность, незатейливость простота, даже необразованность, во всяком случае гуманитарная, неумение «красно говорить». Речь должна идти «от сердца», а не «от ума». Реально же проявление этой «сердечности», как искренней, так и поддельной, вовсе не означает отсутствия риторических фигур, но предполагает уместное их использование в соответствии с русскими риторическими традициями.

Речь, отвечающая нашим национальным риторическим предпочтениям, произнесенная в соответствии с национальными традициями, будет выглядеть безыскусно и не заставит задуматься над тем, что ее готовили, продумывали, что она, быть может, произнесена не с лучшими намерениями. Напротив, речь, идущая в разрез с этими предпочтениями, даже при наличии у оратора лучших намерений может вызвать предубеждение. Она привле-

чет нездоровое внимание прежде всего к самой своей форме, к продуманности композиции и выбора языковых средств, поссеет недоверие в душе слушателя. Испанская или французская риторика воспринимается нами как внешне блестящая, но лишенная искренности, в то время как с точки зрения романской риторической традиции оратор может выглядеть излишне сдержаным в передаче эмоций и совершенно искренним.

Глава 2. Мир русской политической риторики

§ 1. Становление русской оратории

*Черты оратории в русской политической публицистике XVI в.
Новые черты в политической риторике XVII в.*

Гомилетические пристрастия русского публичного дискурса не отменили существования оратории. Предыстория русской оратории, как уже было сказано, может быть прослежена уже в древнерусской письменности.

Особенно явно связаны с гомилетической традицией первые русские политические ораторы. Иван Пересветов, публицист XVI в., сторонник, как сказали бы сегодня, «сильной власти», своей «Большой челобитной» изложил план государственных реформ, в том числе создания регулярной армии и упразднения института наместничества. А в «Сказании о Магомет-Салтане» тот же автор нарисовал утопию идеального государства с крепкой военной властью и жестоким подавлением произвола судей и взяточничества.

Оба произведения Пересветова тяготеют к политической проповеди. Пересветов не склонен разбирать аргументы противоположной стороны, но страстно убеждает в правоте своей точки зрения. Такая проповедь рассчитана на долговременное воздействие. В самом деле, отстаиваемая в «Сказании о Магомет-Салтане» идея «царской грозы» становится одним из столбовых политических концептов эпохи Ивана Грозного. Если древнерус-

ская идея сильного князя основывалась на принципе подчинения младших старшему и осуждения междуусобицы, то новая идея сильного царя имела уже более широкий фундамент, косвенно учитывая теорию «Москва – третий Рим» и прямо ссылаясь на отрицательный опыт Византии, павшей из-за своих грехов и слабости государственной власти. Таким образом, Иван Пересветов развивает определенную политическую доктрину, востребованную временем, но, однако, не полемизирует со своими политическими оппонентами. Характерно, что Иван Грозный не только не возвысил Пересветова, но, по имеющимся сведениям, напротив, расправился с ним. При этом царь исходил из той же самой доктрины государственного строительства. Речь, следовательно, не может идти о политической оратории, об открытой конфронтации двух политических лагерей.

Черты проповеди, как уже отмечалось выше, видны и в знаменитой переписке Ивана Грозного с Андреем Курbsким. Покинувший Россию князь Курбский отправил Грозному послание, в котором не просто бросал царю укор, но гневно отчитывал его. Ответное послание глубоко возмущенного Грозного было так пространно, что размером почти в двадцать раз превосходило княжеское. Царь ответил проповедью на проповедь. При этом, помимо разницы во взглядах на власть и личной неприязни, авторов отличало и совершенное неприятие стиля противника. Переписку Ивана Грозного с Курбским нельзя назвать спором, в результате которого участники приходят к общей позиции. Не является она и обычной ораторией в жанре, называемом сегодня «открытыми письмами» или «дебатами». Аргументы противников не были рассчитаны ни на оппонента, ни даже на третью нейтральную сторону. Каждый из спорящих (особенно это относится к Курбскому) словно говорит для себя самого или для своих ближайших единомышленников. При этом оба часто взывают к Богу. И все же переписка полемична. Иван IV разбирает доводы Курбского, обильно его цитирует, иронизирует над его словами, паро-

дирует его стиль. Это же, хотя менее искусно и менее страстно, делает и Курбский в отношении Ивана Грозного.

XVII век – новый этап становления русской политической ораторики, подготовленный и политической борьбой Смутного времени, и усвоением традиций западноевропейской ораторики. Изменился и облик самой проповеди – исходного жанра гомилетики. Западноевропейскую проповедь всегда отличало большое количество примеров (*exempla*), всевозможных жизненных казулов, которыми проповедник иллюстрировал свою мысль. Греческое красноречие прекрасно знало этот прием, называвшийся у греков парадигмой, но в проповеди гораздо охотнее использовало притчу. Любопытно, что в семнадцатом веке на русский язык был переведен сборник примеров «Прилог». По сути это парадигмы, однако по старой памяти их продолжали именовать притчами.

Наверное, первым собственно ораторским политическим произведением на русской почве была созданная в начале сороковых годов XVII в. на Дону «Повесть сиречь история об азовском сидении донских казаков 5000 против турок 300000». «Повесть» была написана с намерением повлиять на решение Земского собора 1642 г. Казаки, самовольно захватившие Азов, хотели склонить собор и царя, опасавшегося открытой ссоры с турецким султаном, к официальному закреплению Азова за Россией. Повесть представляет собой весьма продуманную систему аргументов в пользу присоединения Азова. Здесь и успокоение по поводу турецкой угрозы (казаки выстояли, против турок, пытавшихся значительно превосходящими силами отобрать Азов), и рассуждение о стратегической важности крепости, «запирающей» море, и указание на большие потери, которые русские уже понесли и которые в случае возвращения Азова могут оказаться напрасными, и очень умелые *argumentum ad hominem*, задевающие национальное самолюбие и религиозные чувства царя и собора. «Повесть» уже не производит впечатление проповеди, адресованной единомышленникам. Это типичное произведение совещательного красноречия.

§ 2. Политическая риторика эпохи Петра и Екатерины

Становление новой светской политической символики в эпоху Петра и Екатерины. Русский язык как государственный символ. Использование театра, газет и журналов как политической трибуны. Политическая сатира

В эпоху Петра в России складывается совершенно новый политический дискурс. Обновляется база политической риторики: теперь это театр, газеты, журналы, художественное слово. Обновляется и политическая символика: теперь это символика светского государства. Сам русский язык превращается в важнейший политический символ, становится краеугольным камнем русского патриотизма. Эта сохранившаяся до сегодняшнего дня роль русского языка представляется нам вполне естественной и неизменной. Однако она была совершенно не знакома Древней Руси, где старославянский язык был языком церкви и культуры, а русский язык – языком повседневного общения и деловым языком. Высокий статус церковнославянского языка гармонировал с политическими идеями времени. Первой такой идеей, высказанной митрополитом Илларионом в «Слове о законе и благодати», была идея политического равноправия Киевской Руси в кругу христианских государств Европы. Второй основополагающей политической идеей, изложенной старцем Филофеем в «Послании на звездочетцев», была теория «Москва – третий Рим». Обе идеи немыслимы в контексте светской культуры и светского языка, обе идеи были связаны с православным миром и прежде всего с Византией. Первая обосновывала политическую независимость русского государства от Византии, вторая утверждала духовную преемственность Руси по отношению к Византии, павшей под ударами турок, – «стояние за правду»..

Петр строил светское государство в совершенно новом культурном контексте. Его задачей была рецепция европейской, преимуще-

ственno протестантской культуры. Это было второе обращение к европейскому источнику – не к греческому, как во время крещения Руси, а к латинскому. На этот раз усваивалась не духовная, а светская книжность, усваивалась новая европейская наука, в том числе военная. Петр не хотел и не мог опираться ни на церковнославянский язык, ни на православие. Его патриотизм мог быть только «росским», а знаменем должен был стать «российский язык».

Русская власть возлагала большие надежды на литературу и язык, понимая, что успешное усвоение нового может произойти только на этой почве. Отсюда беспрецедентное внимание государства к вопросам языка. Петр Великий вводит новый шрифт, максимально далекий от церковнославянского источника. Ломоносов и Тредиаковский реформируют русское стихосложение, что было не забавой свободных художников, а государственным проектом. Ломоносов разрабатывает знаменитую теорию «трех штилей», направленную на кардинальную реформу русского языка. Образуется Российская академия, специально занимающаяся (в отличие от Академии наук) исключительно языковыми вопросами. Создается «Словарь Академии Российской» – не ординарный труд словесников, но важное государственное начинание.

Новая государственная символика пропагандируется при Петре через новую светскую словесность. Возникают такие институты, как публичный театр и газета.

Придворный театр был создан в России относительно поздно, при Алексее Михайловиче. Петр же задумывает театр публичный. Само театральное здание возводится на Красной площади, а временный театр открывается во дворце Лефорта в Немецкой слободе. Цены на билеты устанавливаются доступные: от 10 до 3 копеек. Петр явно замышлял театр как демократическое учреждение, пропагандирующее новую «российскую» символику.

При Петре появились и первые газеты – ведомости. Правда, слово «газета» по отношению к русским изданиям было применено лишь в 1809 году (само слово возникло в Венеции от названия мелкой монеты – цены на газету). Сначала в России появил-

лась рукописная газета «Куранты», содержащая политические новости и употребляющая высшими чиновниками, как сказали бы мы сегодня, «для служебного пользования». В 1702 г. Петр I издает указ о печатании газет. Первая такая газета называлась «Ведомости», а первый дошедший до нас номер относится ко 2 января 1703 г. Общая направленность газеты – пропаганда Петровских реформ. Большой удельный вес занимают в ней сведения, касающиеся военного дела.

Впоследствии на смену «Ведомостям» приходят «Санкт-Петербургские ведомости» (в 1738 г.), издававшиеся Академией Наук. А в 1756 г. появляются «Московские ведомости». Газетный дискурс входит в русский быт.

Во второй половине восемнадцатого века, особенно в век Екатерины, возрождается политическая полемика, т.е. ораторика. Ее ареной становятся литературные журналы.

Первоначально журналы возникли как приложение к «Санкт-Петербургским ведомостям» и находились в ведении Академии. Таковы были «Приложения к ведомостям», носившие характер научно-популярного журнала. Шагом же к созданию периодического литературного издания стал журнал «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие», выходивший с перерывом с 1728 по 1764 г. Первым настоящим литературным журналом была «Трудолюбивая пчела», издававшаяся А. П. Сумароковым, одним из идеологов русского классицизма.

Расцвет журнальной полемики приходится на период с 1769 по 1774 г. На одном ее полюсе находится сатирический журнал «Всякая всячина», созданный по инициативе Екатерины Великой, на другом – сатирические журналы «Трутень» и «Живописец», издаваемые знаменитым просветителем Н. И. Новиковым.

Характерно (и это всегда отмечается историками литературы), что в русском классицизме большой удельный вес принадлежит сатири, жанру с точки зрения самого же классицизма «низкому», «подлому». Утверждающий пафос классицизма вызвал к жизни своеобразную политическую гомилетику в литературно-художе-

ственных формах – оду и трагедию. Именно через оду и трагедию утверждались новые государственные идеи – идеи мощного светского государства, гигантской империи. Как и гомилетика, политическая ораторика также проявила себя в новой художественной литературе. Причем вся сила ораторики была направлена на сатиру – исправление недостатков. Иной ораторики, например, отражающей борьбу различных политических сил, в России не сложилось. Там, где нет развитой ораторики ни в форме судебного, ни в форме политического красноречия, она реализует себя именно в сатире. Этот путь наметился еще в посланиях Грозного к Курбскому и в других сочинениях Ивана IV, также носящих обличительный, сатирический характер. «Царская» сатира – чрезвычайно интересное, своеобразное явление русской культуры. Неудивительно, что русский классицизм при всей его государственности, «державности» был по преимуществу сатирическим.

Конечно, сатира Екатерины II не была достаточно острой. В терминах тех лет это была «улыбательная» сатира, призванная вызывать не желчный смех, но добрую улыбку. Просветитель Новиков в своей критике общественных недостатков шел гораздо дальше. Помимо всего прочего, он отстаивал другой, отличный от екатерининского взгляд на саму сатиру. Так, во многом благодаря усилиям Новикова, возникла подлинная полемика, а с ней и подлинная ораторика. Замечательно, что предметом спора в этой ораторике было то, как и над чем можно смеяться.

§ 3. Революционная и охранительная символика

Становление революционной символики. Русский язык как государственный символ. Поляризация политической символики в XIX в. Роль художественного слова. Противоречивость революционной символики. Противоречивость «охранительной» символики. Поражение «охранительной» символики

Русский девятнадцатый век известен своим литературоцентризмом. Термином «литературоцентризм» принято обозначать

такую культурную ситуацию, когда художественная литература берет на себя функции нравственной и политической проповеди, нравственной и политической риторики, а также истории, социологии, философии, а отчасти даже и религии. Именно этой полифункциональностью во многом и объясняется невиданный расцвет художественного слова.

Русский восемнадцатый век с тем значением, которое придавали художественному слову и государство, и оппозиция, был прелюдией к литературоцентризму девятнадцатого. В восемнадцатом веке сложилась русская государственная символика и тогда же начала складываться оппозиционная политическая символика, поначалу гражданская, а затем революционная. У истоков ее стоят Н. И. Новиков и А. Н. Радищев.

С самого начала своего существования русская революционная символика активно использует античные образы, ориентируясь на французское просвещение и французскую революцию. В то же время в поисках высоких слов она обращается к церковнославянскому источнику, от которого старательного отгораживался русский классицизм, строивший светскую культуру. Парамадоксальная смесь революционности с архаикой, бунтарства с языком церкви заметна уже в радищевском «Путешествии из Петербурга в Москву» и в его оде «Вольность». В еще большей степени она характерна для языка декабристов. Это не альянс с православием, но попытка использовать энергию православной гомилетики, бескомпромиссный дух православного «стояния за правду» для борьбы с властью, для утверждения идей «вольности и прав». Именно это обстоятельство надолго определило языковую противоречивость русской революционной символики.

Тогда же, на заре девятнадцатого века, политический словарь обогащается новыми, революционными словами. Рядом со словом «царь» (православная государственная символика) и «император» (новая светская символика) становятся такие слова, как «тиран», «деспот» и «сатрап». Возникает «тираноборчество» как

положительный концепт. «Тираны мира! трепещите! /А вы мучайтесь и внемлите./ Восстаньте, падшие рабы!», – восклицает молодой Пушкин в 1817 г. в оде «Вольность».

Появляются и надолго остаются в арсенале революционной пропаганды образы «цепей», «темницы», «решетки», «оков». Забегая вперед, следует сказать, что возможно, первым литератором советского времени, который решился создать карикатуру на эту символику, внедрившуюся сначала под напором общественного мнения, а потом официальной пропаганды, был Аркадий Гайдар, заставший дядю-шпиона из «Судьбы барабанщика» пародировать революционную риторику: «*И это наша молодежь! Наше светлое будущее! За это ли (не говорю о себе, но спрашиваю тебя, старик Яков!) боролся ты и страдал? Звенел кандалами и взвивал чапаевскую саблю! А когда было нужно, то шел, не содрогаясь, на эшафот...*» Это гайдаровское «звенел кандалами» звучит особенно издевательски и узнаваемо.

Все приметы революционной риторики можно найти в произведениях молодого Пушкина, у Пушкина, еще не создавшего образа народного, сказочного царя и поэм, где проблемы свободы, власти, народа, личности поставлены с такой глубиной, что вызывают споры и поныне. Сам Пушкин перерос революционную риторику довольно быстро, однако это не означает, что вместе с ним ее переросла художественная, а тем более публицистическая литература. Напротив, эта символика прочно укоренилась в художественном слове. Любопытно, что революционной риторики практически нет у Салтыкова-Щедрина, высмеивавшего официоз, но не прибегавшего для пропаганды революционных идей к пафосному церковнославянскому языку.

Сохранив едва ли не до наших дней многие штампы декабристских времен, революционная символика в середине девятнадцатого века обогатилась концептом «народность». Во времена Пушкина и Белинского под народностью еще понималось то, что сегодня обозначается как национальная специфика, менталитет народа. Со времен же Добролюбова и Чернышевского «народность» воспринимается как простонародность», как близость к

простому народу, который с этих пор настойчиво противопоставляется «верхушке». Сформировавшиеся позже концепты «пролетариата», «людей труда», «классовой борьбы», «буржуазии», «эксплуатации» и «коммунизма» довершают формирование революционной политической символики.

Все это время официальная символика занята выработкой синтеза имперского и православного начал, что в большей мере удается на почве обращения к военному прошлому и в свете идей панславизма, чем в контексте повседневной русской жизни. В концептуальном поле официальной политической символики ширится представительство «простонародного» начала, что находит отражение в таких концептах, как «наши солдатики», «старые честные служаки», «тихие богобоязненные чиновники». Именно это официоз пытается противопоставить «нигилистам», «бомбометателям», «ниспровержателям». В круг этих концептов вписывается полюбившаяся Достоевскому идея народного царя, идея «единения царя с народом своим».

Любопытно, что интеллигенция и левого, и правого толка не мало сделала для того, чтобы принизить роль самой же интеллигентии в общественной жизни, особенно общественную роль интеллекта, ума, образованности. Для «правых» интеллигенты это прежде всего длинноволосые юнцы, взбунтовавшиеся против церкви, царя и родителей, для «левых» – белоручки, чуждые интересам народа. Для «правых» умственный труд – потрошение лягушек взамен постов и молитв, скучные немецкие книги вместо поэзии и любви. Для «левых» он праздное время препровождение взамен сельских работ, пустые французские книжки вместо сурой серьезной работы руками.

Обвиняя Базарова в ниспровержении основ, Тургенев обвинял его и в трезвомыслии, приверженности научным занятиям, что для либерала странно. Консерватор Толстой демонстративно косил траву, хотя с позиций консервативной морали переодевание одного сословия в одежду другого такой же абсурд и бунт, как и уничтожение одного сословия другим. Последний русский импе-

ратор Николай II под влиянием идей консерватора Достоевского отзывался об интеллигенции не лучшим образом и мыслил себя именно народным царем.

«Левые» всегда считали подлинным трудом только труд физический. Недоверчивое отношение к интеллигенции, к ученым с особенной силой сказалось тогда, когда левизна стала официальной идеологией. Вспомним длинную галерею отрицательных персонажей-интеллигентов в советской литературе тридцатых – пятидесятых годов. Уже в двадцатые годы матрос Швандя из драмы К. Тренева «Любовь Яровая» учит уму-разуму профессора Горностаева.

Образ «простого, незатейливого человека» из символики «правых» со временем перекочует в символику «левых», где для него была подготовлена почва концептом «простого народа». Окончательно «простой человек» обосновывается в политической риторике позднего Сталина в образе «колесиков и винтиков». Ниспровергая Сталина, снова вспомнят о «простом человеке», любовь к которому вне христианского концепта простоты рискует показаться спекуляцией. Характер этой спекуляции достаточно откровенно раскрывается в одном из стихотворений советского поэта Ярослава Смелякова, который восхищается «осликом четырехногим», идущим, куда велят, «не понимая даже, что его дальше ждет».

Другая ось поляризации политической символики девятнадцатого века – славянофильство и западничество. В девятнадцатом веке формируются концепты «самобытности» у славянофилов и «отсталости» у западников. Русская история предстает в двух взаимоисключающих символических вариантах. Активно использующийся в современной риторике концепт «цивилизации» сложился уже тогда как базовый символ западничества. Петровские реформы превратились в символ – положительный для одних и отрицательный для других. Символом стала и сама фигура Петра.

Символика толкуется и углубляется русской политической гомильтикой, роль которой берет на себя, как уже было отмечено, художественная словесность. Что касается политической ораторики, ее место занимает литературная критика. Итак, писатель тиражирует символы и проповедует, критик ведет политические споры, иногда, особенно в «левом» лагере, вообще отказываясь от собственно эстетических рассуждений или превращая их в предмет политического спора. Примером последнего может служить полемика вокруг «чистого искусства». Обсуждавшаяся в пятидесятые – шестидесятые годы XIX проблема в наших терминах звучит так: может ли существовать искусство вне политической гомильтики?

Меж тем в пореформенное время набирает силу и подлинная ораторика, прежде всего судебное красноречие. Особенную популярность приобретают защитительные речи, такие, как речь Александрова в деле Засулич. Судебные ораторы опираются на общие места и символы, выработанные художественной словесностью, и даже заимствуют у нее отдельные приемы. Влияние художественной литературы на судебное красноречие довольно ярко проявляется в связи с попытками судебных ораторов нарисовать психологические портреты фигурантов процесса.

Можно, наверное, сказать, что к началу двадцатого века русская революционная символика «переиграла» охранительную. Она оказалась глубже укорененной в общественном сознании. Оказалась она и более последовательной. Святая Русь и имперская государственная машина, построенная по немецкому образцу, не смогли образовать единого символического фундамента. В то же время противоречивая идея «революционного подвижничества» оказалась более жизнеспособной. Оксюморон, как и следовало ожидать, оказался крепче эклектики.

Революционная риторика набирала силу, несмотря на разброс идей. Этот разброс был более ощутим в политической дидактике, которая в нелегальной и легальной литературе, занималась поли-

тическим просвещением, отстаивая ту или иную (к тому времени уже партийную) точку зрения. Сам концепт «политического просвещения» активно входил в символику, гомилетику и ораторику революционного мышления.

§ 4. Система убеждающих речей в ленинскую и сталинскую эпохи

Генезис советской политической символики. Ораторика Ленина, ее источники. Противоречивость политической символики ленинской эпохи. Риторика Сталина, ее гомилетизм. Советская дидактика. «Краткий курс». Расщатывание советской дидактики

Советская символика выросла из символики революционной в ее большевистской редакции. Годы гражданской войны были годами напряженной ораторики и политической дидактики. Многие политические ораторы этого времени имели юридическое образование и были связаны с традициями русской судебной риторики. Они не ограничивались аудиторией единомышленников, не боялись обращаться к колеблющимся или к тем, кого сами считали лишь временным союзником.

Сами большевики первый, «кружковый» период распространения марксистских идей называли пропагандой, второй, «массовый» – агитацией. То, что большевики считали пропагандой, правильнее было бы рассматривать как полемику или кружковую ораторику. В среде революционеров постоянно шла борьба отдельных течений, и это требовало аргументации, а не простого тиражирования политических символов, как в случае чистой пропаганды. Язык политических и философских брошюр – яркий пример такой революционной ораторики. В работах Ленина, например, очень мало проповеди марксизма и еще меньше популяризации его. Вся риторика Ленина построена на смысловых различиях, дистинкциях, обобщенно говоря, на том, как отличить одних «друзей народа» от других его «друзей».

Большевики называли второй период своей деятельности агитацией, имея в виду ее обращенность к массовой аудитории. В нашей терминологии это не совсем агитация. Агитировать, мобилизовывать, подхлестывать можно лишь единомышленников. Большевики же занимались революционной ораторикой, переубеждением. Они не просто предъявляли широким слоям населения свой красный символ веры, как позже делали их последователи, но активно переубеждали колеблющихся, лавировали, заключали временные союзы.

Ведущим политическим оратором предреволюционного и революционного времени был, конечно же, сам Ленин, чья риторика сложилась под влиянием теории и практики русских судебных ораторов прогрессистского направления. Наиболее непосредственное влияние на риторику Ленина оказал такой теоретик судебной ораторики, как П. С. Пороховщик (Сергеич). Следы знакомства с его работой «Искусство судебного оратора» проявляются у Ленина даже на уровне позаимствованных оттуда примеров.

Главной чертой ленинской риторики была ее гибкость и контрастность. Излюбленная фигура Ленина-оратора – диафора, запомнившаяся миллионам людей по фразе «Есть компромиссы и компромиссы». Любопытно, что один из филологов советского времени, изучающий ленинское наследие, полагал, что открыл новую фигуру, встречающуюся только в публицистике Ленина. Это была именно диафора, для которой исследователь никак не мог подыскать подходящего названия.

Риторика Ленина чрезвычайно энергична и агрессивна. Для его стиля характерны антитезы, коррекции, градации и резкая, пейоративная лексика. Политическая брань Ленина («политические проститутки», «сволочи» и т.д.) не ускользнула впоследствии от авторов анекдотов о вожде. Риторическая стратегия Ленина рассчитана на то, чтобы ошеломить читателя, или слушателя. Эта та самая шоковая стратегия расположения аргументов, о которой мы говорили выше в связи с переубеждением аудитории.

Ленин максимально далек от приемов торжественного красноречия. Его риторика полярно противоположна древнерусскому красноречию киевской школы. Она абсолютно чужда всему, что шло от традиций церковной риторики, гомилетики. Церковная традиция чужда ленинской риторике не только по содержанию (что при нелюбви автора к «боженьке» естественно), но и всеми словесными приемами – от композиции до тропов и фигур.

Характерны названия ленинских работ, изобилующие риторическими фигурами и аллюзиями: «Что делать?», «Шаг вперед – два шага назад», «Кто такие «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов» и т.д. Эти названия напоминают современный газетный заголовок. Ораторика охотно озаглавливает свои произведения вынося в заголовок то, что сегодня называется слоганом, а тогда называлось лозунгом.

Приведем характеристику, которую дал ленинским речам Сталин:

«Меня пленила та непреодолимая сила логики в речах Ленина, которая несколько сухо, но зато основательно овладевает аудиторией, постепенно электризует ее и затем берет ее в плен, как говорят, без остатка. Я помню, как говорили тогда многие из делегатов: «Логика в речах Ленина – это какие-то всесильные щупальцы, которые охватывают тебя со всех сторон клещами и из объятий которых нет мочи вырваться: либо сдавайся, либо решайся на полный провал».

Я думаю, что эта особенность в речах Ленина является самой сильной стороной его ораторского искусства».

Сталин отмечает реальные черты ленинской ораторики: использование шоковой стратегии (постепенно электризует аудиторию, а затем берет ее в плен), энергичность, напористость. Однако в этой характеристике названы и черты риторики самого Сталина, его собственный риторический идеал, дающий о себе знать эпитетом «основательно» и выражением «охватывает со всех сторон». Ленин использовал логику, как таран, оснащая ее гру-

быми выпадами, Сталин же пользовался логикой как методичной осадой, подкрепляя ее всевозможными трюизмами и нагнетая повторы. Реальную риторику Ленина трудно назвать основательной. Риторика Сталина была чрезмерно основательной, производя впечатление вязкой и застывающей.

Ораторика должна опираться на символику. Русская революционная ораторика и опиралась на революционную символику, подготовленную художественным и критическим словом русской литературы. Здесь и тяжеловесный символический ряд, связанный с осуждением деспотизма и оплакиванием его жертв («Замучен тяжелой неволей», «Вы жертвою пали в борьбе роковой»), и литературное иронизирование над устоями консервативной жизни, особенно сильное в устах Салтыкова-Щедрина («боженька», «благонамеренный обыватель», «в среде умеренности и аккуратности»). Всем этим литературно-критическим наследием XIX в. активно пользовался Ленин, в частности, образом щедринского Иудушки, правда, толкуя его весьма широко. Но была и новая символическая струя, инициированная новыми течениями в искусстве, по отношению к которым единого мнения у большевистских ораторов не было.

Речь идет о модернизме, обслуживавшем анархическую, бунтарскую, антибуржуазную, а впоследствии фашистскую эстетику. В России она была связана с рецепцией стиля Ницше, от чего не свободен и такой канонизированный пролетарский писатель, как Максим Горький с его символическими абстракциями, получившими в нашем школьном литературоведении название «ранние романтические рассказы Горького».

Ранняя советская символика была созвучна футуристическим течениям в искусстве. Недаром, даже приняв консервативный облик, советская символика сумела ассимилировать творчество Владимира Маяковского. В области архитектуры и живописи связь с модернизмом еще очевиднее, чем в словесном искусстве. Об этом интересно рассказано в книге Паперного «Культура-два».

С получением монополии на слово революционная ораторика сменилась советской гомилетикой – проповедью советского образа жизни и советской дидактикой – массовым обучением народа «политграмоте».

Настоятельная необходимость в большевистской дидактике диктовалась причинами внутреннего и внешнего характера. Во-первых, серьезную проблему создавала борьба с возникавшими в марксистском учении «ересями», особенно борьба с троцкизмом. Во-вторых, огромная масса урбанизированного сельского населения нуждалась в хоть какой-то первичной концептуализации новой для нее городской жизни. В такой ситуации появилась необходимость в пропагандистах – проповедниках нового политического учения, и в пропаганде – тиражировании политических символов и эмблем, проведении мероприятий, это тиражирование обеспечивающих. Никакой другой политической символики, кроме советской, не воспроизводилось, никакой другой политической агитации, кроме советской, не велось даже в художественной форме. Был литературоцентризм полностью сошел со сцены. Литература была пристегнута к политграмоте. «Властили дум» превратились в «инженеров человеческих душ», которые тиражировали символику, но уже не создавали ее, не выступали как инициаторы ее модернизации.

Объективная противоречивость советской политической символики состояла в том, что ее революционные концепты должны были стать на службу государственного строительства, укрепления, а не ниспровержения власти.

В работе Ленина «О государстве» автор в духе своей риторики противопоставляет государство в обычном смысле слова государству пролетарскому, которое суть государство навыворот, государство для отмены государства.

Это противоречие в символике не было преодолено до самого конца советской власти и время от времени давало о себе знать. Впервые же оно проявило себя, когда начались гонения на аван-

гардистскую эстетику, когда был осужден формализм, разогнан РАПП и Пролеткульт. Авангардистская составляющая революционной символики была существенно редуцирована и введена в законные рамки. В странной, на первый взгляд, формуле Сталина «Маяковский был и остается (?) талантливейшим поэтом нашей эпохи» закреплен именно этот водораздел. Понятно, что поэт не перестает быть талантливым после смерти, все дело в эпохе.

Риторика Сталина, особенно его политическая проповедь, представляет собой чрезвычайно яркое явление, возникшее на сломе двух символик. Если в основе риторики Ленина лежит судебное красноречие, опыт кружковой политической дидактики, то риторика Сталина восходит к торжественному красноречию, стихию которого бывший семинарист очень хорошо чувствовал. Выстроенные в духе амплифицирующей композиции, вязко возвращающиеся к одному и тому же предмету, полные повторов и плеоназмов, его речи очень мало напоминают колючие речи Ленина.

Риторика Сталина не обладает и половиной словесной агрессии Ленина. Юридическая эквилибристика с «компромиссами и компромиссами» ей чужда (хотя внешне урок Ленина усвоен): так, в одной ранней работе встречается оборот «есть ошибки и ошибки»). Стратегия шоковой терапии сменяется стратегией амплифицирующего построения речи. Шквал аргументов-нападок сменяется пережевыванием одной и той же мысли во многих абзацах. Слушатель берется измором. Отсюда яркие анафоры и даже эпифоры и анаэпифоры, обилие плеоназмов.

Вот пример упомянутого выше (в связи с логическими доводами) рассуждения с дефиницией из работы Сталина «Об основах Ленинизма»:

«Итак, что такое Ленинизм?

Одни говорят, что Ленинизм есть применение марксизма к своеобразным условиям российской обстановки. В этом определении есть доля правды, но оно далеко не исчерпывает всей правды. Ленин действительно применил марксизм к российской

действительности и применил его мастерски. Но если бы Ленинизм явился только лишь применением марксизма к своеобразной обстановке России, то тогда ленинизм был бы чисто национальным, чисто русским и только русским явлением. Между тем мы знаем, что Ленинизм есть явление интернациональное, имеющее корни во всем международном развитии, а не только русское. Вот почему я полагаю, что это определение страдает односторонностью.

Далее следует еще один абзац «Другие говорят...», за ним – новая гипофора: «Что же такое в конце концов ленинизм?», а затем – собственное определение ленинизма. Но уже по приведенному абзацу видна тяжеловесная вязкость сталинской риторики, ее неторопливый ход. Бросается в глаза обилие плеоназмов. После «доли правды» – «далеко не исчерпывает всей правды», «применил» и «применили», «чисто национальным» – «чисто русским» – «только русским» и др.

В области политической символики сталинская риторика и пропаганда медленно двигалась в сторону усиления консервативного начала и ослабления начала «революционного». Оды и канканты сталинских лет давали повод для сближения послевоенной эпохи с классицизмом. Даже сатира в духе «улыбательных» опытов Екатерины II была вписана в новое трехстилевое единство. Возрождался такой архаичный жанр классицизма, как литературная басня. В рамках «самокритики» обличались, например, «подхалимы» (пример тому – басня С. Михалкова «Заяц во хмелю»). Впрочем, литературный классицизм не столько питал риторику общими местами, сколько сам питался ими и лишь тиражировал штампы. Характерна лексическая замкнутость советских од, особенно показателен в этом отношении поэтический язык М. Исааковского. В его произведениях постоянно повторяются слова «новый», «счастливый», «золотой», «родной», «стальной», «могучий». Спектр положительных и отрицательных эпитетов советской эпохи был весьма обозрим.

Задача дидактики – исходя из символики как из аксиомы, упорядочить картину мира и эту упорядоченную картину доходчиво передать. Сталинская дидактика, однако, брала на себя и функции символики. Проявлялось это в том, что зона аксиом разрасталась до целых учебных программ, а доказательность, напротив, заменялась ссылкой на авторитет.

Особым дидактико-символическим документом был знаменитый «Краткий курс истории ВКП(б)». Этот курс – яркий пример сталинской риторики в области дидактики. Это все те же неторопливые рассуждения, отлитые в афористические формулы. «Краткий курс» написан с позиции силы. Между строк чувствуется угроза в адрес еретических уклонений, в адрес тех, кто понимает жизнь по-другому. «Краткий курс» – это своего рода дидактическое гипнотизирование населения.

Слабой стороной советской дидактики, расшатывающей ее, была необходимость совмещения революционной и консервативной концептуализации жизни, проявившаяся, в частности, в отношении к классическому наследию. Началось со сбрасывания классики, в том числе Пушкина, «с корабля современности». У И. Ильфа и Е. Петрова есть фельетон о семейной ссоре между старым большевиком и «старым пионером», которого учили в школе по новой программе. Глава семьи отпраздновал победу лишь после того, как образование вошло в более или менее классическое русло. Впереди, однако, были новые повороты вправо – и в юбилейный пушкинский год, и в послевоенное время.

Большим фактором риска для советской дидактики была так называемая «диалектика» и «диалектическая логика». Суть дидактики в развертывании доказательств и увязывании фактов на основе аксиом. На практике же под влиянием сменяющихся кампаний и политического лавирования логика сплошь и рядом нарушалась и камуфлировались словом «диалектика». Развилось особое искусство манипулирования цитатами, которое было осуждено самими же марксистами как «нечетничество» и которым

тем не менее продолжали широко пользоваться. Цитаты из самого Сталина как выражение лояльности тоже не способствовали усилению дидактики. Антикультовская пропаганда и отсутствие новых «классиков» окончательно расшатали советскую пропаганду.

§ 5. Убеждающее слово в послесталинскую эпоху

Неэффективность государственной пропаганды. Противоречивость антикультовой риторики. Феномен квазиполемики. Оппозиционная риторика Солженицына и Сахарова. Узкие места оппозиционной риторики

Антикультовая риторика вызвала к жизни новую символику, связанную со старой двумя мотивами – «защитой простого человека» и «восстановлением ленинских традиций», от которых общество «отошло в годы культа». Сама же критика Сталина велась с прежних революционных позиций и с помощью прежней революционной символики. Интересно, что слово «культ» соотносило сталинизм с религией – главным врагом революционной идеологии. Слово «личность», употребляемое в отрицательном смысле, отсыпало к «коллективизму». Таким образом, время жестокого подавления личности и замены религиозного культа политическим суррогатом получило название «эпохи культа личности».

Некоторые элементы антикультовой символики зародились еще при Сталине, под контролем Сталина и по инициативе Сталина. Прославление простого, незаметного человека началось со знаменитого сталинского тоста о людях, у которых «чины не важные», но которые являются «колесиками и винтиками» всего советского механизма. Защита этого человека от чиновников, начальников, бюрократов и вообще сильных мира сего началась тоже задолго до 1953 года. Не у этих ли начальников было «головокружение от успехов»? Не они ли погрязли в «комчванстве»?

Не ради них ли возродилось щедринское слово «головотягство»? Не против них ли была направлена «самокритика»? Не они ли защищались от нее «зажимом критики»? Не они ли не сходили со страниц журнала «Крокодил»?

Стalin эксплуатировал в своей риторике старую, хорошо проработанную в русской культуре схему «царь – защитник простого человека от неправедных бояр». Тема эта встречается уже в «Молении» Даниила Заточника, хотя в этом памятнике древнерусской литературы XIII в. речь идет еще не о царе, а о великом князе. Stalin опирался на беспрогрышное общее место, достаточно вспомнить русские пословицы о царе и боярах:

Царю застяят, народ напастят.

Не от царей угнетение, а от любимцев царских.

Не царь народ гнетет, а временщик.

Не бойся царского гонения, бойся царского гонителя.

Царь гладит, а бояре скребут.

Царские милости в боярское решето сеются.

Хрущев предложил другую формулу: «Царь не царь, а самозванец, неправедно унаследовавший истинному царю». Критиковать Сталина он мог только постоянно противопоставляя его Ленину. Слабость этой риторической позиции состояла в том, что Ленин плохо подгонялся под образ русского царя, скорее на эту роль подходил сам Stalin, который выиграл войну, сидел в Кремле и охотно, особенно к концу жизни, прибегал к державной риторике. Сходство Сталина с историческими царями – Иваном Грозным и Петром Первым – было очевидным. Ленин же, великий ниспровергатель, не годился на роль самодержца, оставившего какое-то наследство, промотанное преемником. Из всех руководителей русского государства он меньше всего походил на царя.

Риторике Хрущева могли бы придать силу именно те общие места, которые он не мог и не хотел эксплуатировать. Критиковать бесчеловечность культа можно было либо с религиозных, откровенно православных позиций, либо с позиций либеральных,

опосредованно религиозных. Идеи же «пролетарского гуманизма» и «социализма с человеческим лицом» вступали в непримиримое противоречие со словесными формулами вроде «революционной бескомпромиссности» и «революционной законности». Однако списать эти крепко въевшиеся в общественное сознание формулы на Сталина и его приспешников было для хрущевской критики сталинизма и невозможно, и нежелательно. Поэтому неудивительно, что официальная пропаганда потеряла монополию на разоблачение культа личности.

Новая символика стала вырабатываться относительно независимой интеллигенцией, социальная база которой сильно расширилась в связи с завершением процесса урбанизации и всеобщим средним образованием. Постепенно стали обозначаться параллели между сталинизмом и немецким фашизмом. Общими для идеологии сталинизма и фашизма оказались не только феномены концлагеря и массовых народных действ, коллективной экзальтации (вспомним фильм М. Ромма «Обыкновенный фашизм»), но даже феномен партийной дисциплины, Партии, управляющей страной. Тогда же родился концепт «мифа», овладевающего общественным сознанием. Путь от разоблачения «культа» к разоблачению «мифа» довольно логичен. Следует только отметить, что если бы критика сталинской эпохи велась с христианских позиций, она не пришла бы со временем к антиномии «жизнь с идеологией ведет к насилию – жизнь без идеологии ведет к хаосу». Пафос уподобления сталинизма фашизму был чисто негативным. Оставалось неизвестным, какова же альтернатива фашизму и коммунизму. Положение осложнялось тем, что антифашизм был поднят на щит внутренне близким к нему коммунизмом.

Так или иначе, но в конце концов наряду с государственной сложилась и оппозиционная политическая риторика. Однако это не привело к развитию ораторики, поскольку открытой полемики в обществе не существовало. Напротив, ораторика находилась в глубоком упадке. Государственная гомилетика все больше и

больше занималась простой пропагандой, т.е. тиражированием символики, а не развитием ее концептов и приложением их к жизни. В год празднования столетия со дня рождения Ленина это обстоятельство было настолько ощутимым, что на него отреагировала сама пропаганда. В печати стали критиковаться соответствующие «перегибы». К тому же критика культа успела посеять подозрение к миллионному тиражированию имени и образа вождя.

Жанр «разоблачения», разработанный зарубежными и отечественными оппонентами социализма, также не способствовал развитию ораторики. Напротив, «разоблачения» создали особый вид риторики – квазиполемику. Основное отличие «разоблачения» от полемики состоит в том, что его читатель имеет возможность ознакомиться с мнением «другой стороны» только в тексте самого же «разоблачения». Такая практика господствовала даже в советской дидактике. Невозможно было ознакомиться с «буржуазными» и прочими «ложенаучными» теориями в первоисточнике. Давались лишь отрывочные цитаты, помогающие «разоблачению». По учебнику атеизма нельзя было составить мнение о самой религии, по «Критике лингвистической философии» – о самой лингвистической философии, по критике «Доктора Живаго» – о самом романе Б. Пастернака. Господствовало явное манипулирование, т.е. преднамеренное скрытие источника информации. Относительно природы такого манипулирования никто не обманывался, ни авторы-манипуляторы, ни подавляющее большинство читателей «разоблачительных материалов». Соответствующие тексты практически всеми воспринимались лишь как декларирование официальной позиции, чем они на самом деле и являлись. Но подавались они не как декларации, а как настоящие реплики в споре. Все это производило впечатление игры – игры в риторику. В свое время А.Т. Твардовский достаточно едко высказался о сочинении советских идеологических романов: «Нет, чтоб сразу выпить водки, закусить – и по домам!» Спор с немым противником поражал своей ненужностью.

Советская пропаганда становилась все более навязчивой и вызывала реакцию, обратную желаемой, – скепсис. Но ораторикой не занималась и оппозиция. Ее главное занятие в те годы – выработка новой символики. Такова риторика Солженицына и Сахарова.

Риторика Солженицына сразу оторвалась от антикультовской не только тем, что шла дальше в отношении оценки советской власти и ее деятелей, но и тем что была сугубо этосной, давала критику сталинизма с нравственных позиций. Религиозно-национальная платформа Солженицына позволила ему создать базу для консервативной, а не революционной критики большевизма. Он первым стал выбираться из оксюморона «революционная контрреволюционность».

Риторика Сахарова содержала в себе другой заряд – идею интеграции с цивилизованным человечеством, идею общечеловеческих ценностей. Так появились концепты демократии, прав человека, свободы личности. При этом общая, христианская в своей основе, природа славянофильства Солженицына и западничества Сахарова не эксплицировалась в общественном сознании, где оба они выступали лишь как борцы с Системой. Ценностная система одного была затемнена крестьянским, общинным пафосом (в его городской рецепции), ценностная система другого – прогрессизмом.

Крестьянский (или квазикрестьянский) пафос солженицynской риторики не давал твердой опоры для оздоровления деловой морали и приобретал в условиях современной городской культуры черты утопизма. Это еще в большей степени относится к риторике писателей-деревенщиков. Западничество Сахарова затемняло христианские источники его морали, оставляло возможность противопоставления таинственных «общечеловеческих ценностей» национальному этосу. Будучи прогрессистским оно не давало твердой почвы для морали консервативной.

Постсоветская судьба оппозиционных риторик оказалась достаточно драматичной.

§ 6. Риторика фронды

Феномен фронды. Критика советской власти с революционных позиций. Эзопов язык фронды. Риторика молодежной субкультуры. Слабость общих мест фрондерской и субкультурной риторики

В шестидесятые годы в оппозиционной культуре наряду с серьезным противостоянием власти развилась особая форма критической рецепции официоза – своеобразная фронда. Эта фронда пыталась, опираясь на революционную символику, осторожно критиковать систему за ее консерватизм. При этом фронда ассоциировала себя с юношеством, молодежью, противопоставляя себя «старикам», советским консерваторам. Молодежная символика советской фронды корреспондировала с ее инфантилизмом, безответственностью, реальной зависимостью от «стариков», в том числе и идейной. «Молодые» по-детски подразнивали старших, упиваясь безобидными намеками. Появилась риторика «подтекста». В литературе, а особенно в кино, получил развитие эзопов язык: изображалась реакционность царской России, а подразумевалась реакционность советских начальников старшего поколения.

На этой почве, однако, складывалась новая символика: *полицейские меры, полицейское государство, реакционные чиновники, третье отделение, царская цензура* – и все это применительно к реалиям советской жизни. Здесь же выстраивался и положительный ряд: *молодые заговорщики, независимые художники, романтические революционеры*. Этот последний ряд находил менее убедительные параллели в советской действительности, чем первый, и очень мало соответствовал комсомольскому облику самой фронды. К тому же оба ряда отчасти сливались с официальной пропагандой, с ее традиционно-советской символикой в ее пафосно-революционной части.

Помимо царско-советских параллелей выстраивался и условленный мир обобщенных *тиранов, палачей, шпионов*, утверждав-

шийся через фильмы с условно-сказочным сюжетом и через авторскую песню. Характерной чертой символики революционной фронды, роднящей ее с официозом, было осуждение *мещанина, обывателя, потребителя, вещизма*. С революционных позиций осуждалась, во-первых, традиционная консервативная мораль, во-вторых, прагматизм, мораль деловая. По сути дела, риторика фронды в силу своей непоследовательности зашла в тупик, критикуя советскую власть с советских же позиций.

Наработанные этой риторикой общие места в полной мере проявили свою слабость и противоречивость в постсоветское время. Осуждение деловой морали в оппозиционных кругах привело к языковым и не только языковым лакунам. Дефицит норм деловой морали, дефицит общих мест, опираясь на которые, можно было бы корректировать эту мораль, явно ощущался в девяностые годы. И с советской, и с фронтёрской точки зрения любой бизнес безнравствен и бизнесменов можно было призвать лишь к самоуничтожению, но не к нравственному поведению.

В меньшей степени аналогичные лакуны ослабляли консервативную мораль. Однако годы пропаганды революционных изменений, поддержанных фронтёрющей интеллигенцией, не способствовали ни выработке общих мест консервативной морали, ни выработке консервативного языка.

Рядом с риторикой фронды следует упомянуть и символику молодежной субкультуры. Связанная главным образом с новыми течениями в музыке, она имела и словесное воплощение в текстах рок-песен и в феномене молодежного жаргона. Официальная культура воспринималась молодежной субкультурой не как идеология, понимаемая и отрицаемая с определенных идейных позиций, а как мир взрослых, не принимаемый эмоционально по принципу «не знаю и знать не хочу».

Впоследствии это стало основой ернической, чисто пафосной риторики средств массовой информации, ориентированных на молодежь. Иногда издания, придерживающиеся этого подросткового

тона, уничижительно называют желтой прессой, но это глубоко неверно. Это не желтизна и не бульварность, это заигрывание с незрелой, идеально не позиционирующей себя частью населения.

Если дезинтеграционная, конфронтующая сторона этой риторики сводилась к яростному и нерасчлененному неприятию всего чужого, то ее интеграционная, самоидентифицирующая сторона состояла в идентификации с западной молодежной культурой. Это способствовало проникновению в язык большого количества варваризмов и подготовило общество к сочувственному восприятию английских заимствований в области политической и экономической лексики.

§ 7. Риторика авторской песни шестидесятых – семидесятых годов

Эскапистская составляющая риторики авторской песни. Сатирическая ее составляющая. Окуджава и Высоцкий – певцы Городской Руси. Потенциал общих мест Городской Руси

В выработке новой символики в шестидесятые – семидесятые годы, как это уже неоднократно случалось в истории русского политического языка, ведущую роль сыграло художественное слово, но не столько проза, сколько авторская песня. Ее влияние на общественные представления, словесность, риторику трудно переоценить. Правда, песня эта неоднородна. Громадное большинство бардов выступило певцами советского сентиментализма, глухой оппозиционности, эскапизма. Созданные ими общие места не имеют большого значения для политической риторики, скорее это художественный памятник эпохи. К политической сфере имеет отношение лишь подчеркнутая неофициальность, переходящая в асоциальность. Однако по сравнению с сентиментализмом девятнадцатого века в этом не было ничего нового, за исключением, пожалуй, мотива несколько условного, «гриновского» мужества, привнесенного в традиционную поэтику дружбы.

Особое место в авторской песне занимало творчество Александра Галича, продолжавшее антикультовскую тему, переросшую в активное неприятие советской действительности, и сатирические песни Ю. Кима, а также некоторых других бардов. В этих песнях оппозиция явно перерастала фронду. В них утверждалось представление о ценности личности, о личной ответственности человека за все происходящее, о преодолении конформизма. Все это пополнило запас общих мест будущей риторики демократов. Сильной стороной этих песен был их сатирический пафос, довершивший разрушение официальной пропаганды, которая вызывала у авторов-бардов нескрываемое отвращение: «Что ни день фанfarное безмолвие славит многодумное безмыслие» (Галич).

Сатирические песни утратили свою риторическую (но, разумеется, не художественную) актуальность в годы перестройки и в последующий период, когда объекты их сатиры изменились, утратили четкость облика, а частично и исчезали. Поэтому позитивная сила этих песен и их влияние на будущее словесности не идет ни в какое сравнение с тем, что сделали два ярчайших представителя авторской песни – Булат Окуджава и Владимир Высоцкий.

Творцом новой символики в силу особенностей своей поэтики и своего таланта выступил Булат Окуджава. Русь Советскую, с ее грубо раскрашенным фасадом и темными глубокими дворами, куда не проникала общественная рефлексия, он заменил совсем иной страной – «арбатским двором». Арбатский двор – это, по сути дела, новая урбанизированная культура – Городская Русь, населенная не мифологическими корчагинами и не «придавленными убогим бытом обывателями», но своими «королями». Окуджава учил видеть в обыденном возвышенное и вечное. Фактически, он открыл новую страну, из которой не надо было убегать, но в которой можно было жить, находя и берегая высшие ценности человеческого бытия, простые истины. «Совесть, благородство и достоинство – вот оно святое наше воинство».

Владимир Высоцкий – единственный автор художественных текстов советского периода, получивший всенародное признание. В его мире живут агрессивные газетные штампы, одурачивающие доверчивого обывателя, и вечные истины русской жизни, спрятанные в штампах иного рода – пословицах и поговорках. При этом Высоцкий – один из немногих русских поэтов, мыслящих риторически. Его сюжеты при всей искренности и эмоциональном напряжении глубоко продуманы, рационалистичны. Более того, громадное большинство его баллад построено по риторической схеме. А по обилию риторических фигур он оставляет за собой всю русскую словесность. Не мудрено, что Высоцкий обогатил русский язык многими идиомами, способствовал закреплению многих общих мест.

Окуджава и Высоцкий – поэты новой страны, сложившейся в тридцатые – сороковые годы вследствие великой урбанизации (раскрестьянивания) и всеобщего среднего образования. Эта страна не имела своих идеологов. Официальная идеология не контролировала ее, была для нее внешней, просмотрела ее появление. Она предлагала символику, а общество ее не принимало. Подтверждение тому – волна анекдотов о Василии Ивановиче. Горожанин, окончивший десятилетку, уже с некоторым удивлением и отстраненностью взирал на плакат, где рабочий с газетой, крестьянин с вилами и народный интеллигент в очках сокрушали русское офицерство и духовенство. Горожанин никак не мог отождествить себя с Василием Ивановичем, он мыслил себя по меньшей мере «кадьютантом его превосходительства».

Но и оппозиция не спешila освоить новую страну. Критика действительности с крестьянских позиций, уходящих корнями в фольклор, была и того меньше понятна новому горожанину. И если русская деревня была для него экзотикой, то еще большей экзотикой был для него совершенно неизвестный и чужой запад. Поэтому ни западники, продолжавшие эксплуатировать некий вымышленный «Зурбаган», ни деревенщики, упивавшиеся исчезнувшими диалектизмами, не могли стать и не стали идеологами новой страны.

Место осталось вакантным. Идеологом сможет стать лишь тот, кто даст обществу жизнеспособную символику. Окуджава и Высоцкий сделали в этом направлении первые шаги. Окуджава умел видеть вечное, Высоцкий – национальное.

Будущее, надо полагать, за риторикой Городской Руси.

§ 8. Политическая риторика и смех

Феномен политического «стеба». Особый характер смеха. Судьба сатирического смеха и народного юмора

В постсоветское время особенностями русского общественно-го дискурса стали дефицит общепризнанной символики, символический эклектизм и ироническое отношение к символике старой, советской.

Следует специально остановиться на характере смеха, возникшего в глубинах субкультуры и ставшего знаменем СМИ. Этот смех многое проясняет в общей картине политической риторики.

Особенностью общественного дискурса конца восьмидесятых – девяностых годов является проникновение в язык СМИ так называемого «стеба». На жаргоне «стебом» называется особая форма насмешливого речевого поведения. В отличие от литературной сатиры насмешка здесь далеко не всегда предполагает четкую позицию смеющегося. Напротив, для «стеба» характерна нравственная размытость. Эта насмешка не предполагает глубокого проникновения в объект сатиры, понимания его. Настоящий сатирик должен доказать свое право на смех тем, что он видит описываемое им явление насквозь. Он замечает глупость и выводит ее на свет. Для «стеба» это, вообще говоря, не обязательно и даже не характерно.

Обычно такого рода смеховая культура свойственна подросткам, которые высмеивают мир старших, не претендуя на его понимание. На молодежном жаргоне насмешка, не связанная с по-

ниманием ее объекта, передается также словами «прикол», «прикалываться». «Прикольный смех» не только отличен от сатирического, но и не вполне тождествен так называемой «народной смеховой культуре». Не тождествен он и ерничеству, с которым обычно соотносится, и даже не вполне адекватен тому, что передается народным выражением «валять дурака».

Народная смеховая культура, описанная М. Бахтиным, характеризуется двойственной направленностью смеха. Так, автор древнерусской «Азбуки о голом и небогатом человеке» смеется и над миром, в котором царит несправедливость, и над собой, «голым и небогатым», – жертвой этой несправедливости. Голый человек явно вызывает сочувствие («Аз есмъ голоден и холоден, наг и бос...»), но в то же время признается: «Отец мой оставил мне имение свое, и я и то всио пропил и промотал». Подобным образом строится и поведение клоуна, шута: он смешон, нелеп, но и вызывает сострадание, поскольку часто становится жертвой более сильного и ловкого человека. Все это совсем не похоже на смеховую культуру «стеба»

Характерным и новым в смеховой культуре «стеба» является рассмотрение окружающей действительности с позиции «приюла», т.е. возможности «прицепиться» к чему-нибудь с единственной целью повеселить себя. Эта особенность «стеба» не укрылась от сатирика М. Жванецкого, сказавшего, что молодежи смешно все: глаз вытек – смешно.

Советская политическая риторика с самого начала своего существования старалась использовать сатирический смех (вспомним хотя бы «Окна РОСТА»). Слабостью этой сатиры в первые годы советской власти была попытка мобилизовать крестьянский, простонародный юмор. Его щедро эксплуатировал Демьян Бедный, сатира которого казалась грубой даже Ленину. Разумеется, реальный крестьянский юмор (например, частушка) не укладывается в схему сатирического смеха. Автор частушки, подобно автору «Азбуки о голом и небогатом человеке», охотно смеется и

над обидчиками, и над самим собой. Кроме того, это юмор в высшей степени трезвый, даже приземленный, и поставить его на службу социальной утопии – дело безнадежное. Это особенно хорошо заметно по юмору А.Т. Твардовского, который выполнял заказ «барина» (власти), подсмеиваясь за его спиной. Это чувствуется и в «Василии Теркине», и в «Стране Муравии». Более того, даже обращаясь к антикультовой теме, Твардовский незаметно выходил и за рамки заказа, и за границы дозволенного. Чего стоит одно только уподобление советской власти «скорой помощи», которая «сама режет, сама давит, сама помочь подает». Юмор Твардовского – это и есть типичный народный юмор.

Другой трудностью, с которой столкнулась советская сатира, был интеллигентский юмор М. Зощенко, М. Булгакова и отчасти И. Ильфа и Е. Петрова – юмор аллюзий и намеков, о которых не просили. Например, в «Записных книжках Ильфа» несколько раз встречается фраза о том, как надоела автору «наша солнечная система». Даже невинное высказывание сатириков «До революции Паниковский был слепым» содержало намек на безудержную пропаганду революционных преобразований и адресовалось к достаточно оппозиционно настроенной части населения. Позже линия намеков сохранилась, колебалась лишь степень их резкости. Даже официальная, «улыбательная» сатира в расчете на похвалу со стороны оппозиционной интеллигенции вынуждена была имитировать поэтику намека: «Смотрите, что они себе позволяют!».

В связи с отменой цензуры многолетний опыт намеков, и подлинных, и ложных, оказался бесполезен и поле сатирического смеха значительно сузилось. Выжила, пожалуй, лишь сатира М. Жванецкого, высмеивавшего не столько «вертикальные» отношения между народом и властью, сколько «горизонтальные» взаимоотношения между людьми в условиях формирования массового общества. Популярность интеллектуальных антиутопий вроде «Чонкина» или «Зияющих высот» в девяностые годы также

резко упала. Эффекта Щедрина, соединившего глубокий социальный анализ с безошибочным пониманием национальной жизни, не произошло. По-видимому, недостало ни того, ни другого компонента.

Народный юмор жил все это время в фольклорных жанрах – частушках и анекдотах. Обнаруживая связь с народной смеховой культурой, с ее неизменной двуполярностью (и против барина, и против себя), он в то же время очень точно отображал все значительные общественные изменения, ибо был рожден не конъюнктурой, а жизнью. Знаменитые анекдоты о Чапаеве были, например, сигналом того, что страна сплошного среднего образования больше не хочет отождествлять себя с необразованными революционерами-самородками.

Постсоветская эпоха никак не отразилась на судьбе народного юмора. Безкупюрная публикация частушек и анекдотов не подействовала на него ни охлаждающее, ни стимулирующее. Все новые сюжеты жизни были осмеяны точно так же, как и старые. Расцвет молодежной культуры и «стеба» тоже никак не повлияли на народный юмор. Никакого слияния нового и старого юмористического искусства, несмотря на большую популярность рок-групп среди молодежи, не произошло. Никакого «омолаживающего» влияния на заповедники фольклора не отмечено. Новые реалии входят в поле зрения народного юмора, но характер фольклорного смеха остается прежним.

В большом общественном дискурсе девяностых годов «стеб» играл роль насекомых, поедающих тело умершей символики. Но проникновение этих насекомых во все щели вряд ли функционально.

«Стеб» оказал зримое и едва ли конструктивное влияние на политическую риторику. Он снизил логическую планку дискуссий, повысил градус общественного цинизма, сдвинул риторику в сторону развлекательных жанров. Но если сатирический смех способен разбить доводы оппонента, то развлекательный смех

больше похож на искусство для искусства. Он может дать оратору иллюзию победы, да и то если получится смешно, что далеко не гарантированно, особенно по мере тиражирования «стеба». Но развлекательный смех никого не способен переубедить.

§ 9. Избыток гомилетики и дефицит символики в ораторике девяностых годов

Неуместность гомилетических стратегий в новой общественной ситуации. Деформация стратегии слушающего. Неумелое обращение с символикой

В политической ораторике девяностых годов отмечается явное преобладание гомилетики, что в условиях плюрализма позиций и открытого характера общественной жизни выглядят довольно странно. Можно не спорить, а проповедовать там, где собрались единомышленники. Можно не спорить, а проповедовать там, где инакомыслящие лишены голоса и отрезаны от внешнего мира. Но там, где думают по-разному, не проповедуют, а спорят.

Главная гомилетическая черта, мешающая собственно ораторике, – это неумение говорить для «других». Для риторики девяностых годов типичны ситуации, когда оратор говорит исключительно для своих, а временами создается впечатление, что он просто уговаривает сам себя. Аргументы противной стороны все-рьез не разбираются. Сама эта противная сторона мыслится не как живой участник диалога, а как персонаж собственной речи оратора, как нарисованная им карикатура. Советская «полемика» с зарубежными авторами и лишенными права на публичное слово инакомыслящими внутри страны создала хорошую школу для таких «споров». Разница лишь в том, что при советской власти такая позиция была эшелонирована силой. Полемист девяностых годов говорит со своим оппонентом так, словно у того по-прежнему во рту кляп. Но кляпа нет. Оппонент не молчит. Правда, он и не спорит – он проповедует среди своих.

Гомилетический «перекос» в ораторике беда не только говорящих, но и слушающих. Речь проповедника и речь оратора выслушивается по-разному. Речь политического оратора, воспринятая как проповедь, некритично, «закрывает уши», не позволяет выслушать другую сторону. Все это превращает политический дискурс в клубы по интересам, где каждая сторона все глубже и глубже погружается в разбор собственной позиции, игнорируя реальность существования других сторон, а значит, игнорируя саму действительность. Такое «вслушивание в себя» можно длить до бесконечности. На деле это означает утрату чувства реальности.

Особенно ощутимо и нефункционально выглядит обилие гомилетики при отсутствии общепризнанной символики. Советская политическая символика с ее изначальной революционной и консервативной двойственностью перестала быть чем-то цельным. Из нее выдергивались отдельные концепты, вроде необходимости революционных изменений в общественной жизни и осуждения «застоя». В то же время и практически теми же устами доказывалась необходимость укрепления государственности, «стабильности». При этом и оптом, и в розницу эта символика подвергалась осмеянию, демонтажу, после чего вновь следовали ссылки на нее и так далее. В девяностые годы советская символика стала колодцем, в который плюют и из которого пьют. В таком же положении находились и два другие колодца.

Эти колодцы условно можно назвать славянофильством и западничеством. Традиционное представление о «культурной отсталости России» и «цивилизованных странах» трансформировалось достаточно своеобразно. Культурная отсталость – общее место, очень плохо вяжущееся с охлаждением к идеи прогресса и разрушением исторического мировоззрения. Собственно, незаметно для западников эта «отсталость» из мысли о неразвитости тех или иных внешних форм отечественной жизни переросла в констатацию нашей нравственной порчи. Идея же «цивилизо-

ванных стран» сильно пошатнулась из-за несовпадения идеала с действительностью, потому что с ликвидацией железного занавеса эти страны оказались не другой Россией, улучшенной и дополненной, а другими странами. Из более или менее ясной картины «у них трактор, а у нас нет» сложилась странная картина «мы испорчены, а у них трактор». В сторону этой же самой картины эволюционировали и славянофилы, дав такую ее редакцию: «мы испорчены, оттого что у них трактор».

В реальности же трех колодцев нет. Есть один общий колодец эклектической символики. Это особенно очевидно в дидактике. В школьном преподавании литературы, на которое традиционно ложится воспитательная функция, как в зеркале отразилось отсутствие общего идеиного знаменателя. Дело не в том, что одни писатели «за красных», а другие «за белых», а в том, что совершенно не показано, что их объединяет и на чем можно строить единое общественное здание. Характерно, что даже разговоры о социальном примирении не вели к поискам общего знаменателя. Примирение мыслилось как эклектическое соединение несоединимого.

§ 10. Проблема окультуриования общественного публичного пространства

Риторические дисфункции как фактор общественного риска. Идеал развитой риторики. Пути его достижения

При всех различиях в позициях и интересах участники общественного дискурса одинаково заинтересованы в окультуривании коммуникативной среды, среды своего общения, в экологии общественной речи.

Потребность в окультуривании дискурса продиктована соображениями выживаемости риторики и словесной культуры вообще. Можно сказать проще: речь идет о выживаемости культуры в целом. Под выживаемостью риторики следует понимать ситуа-

цию, когда убеждающие речи продолжают кого-то убеждать, когда они функциональны. Многие из перечисленных выше тенденций являются в этом смысле факторами риска. Это неуместная гомильтичность, отсутствие диалогизма, дефицит общепризнанной символики, амбивалентность смеха, оскудение и противоречивость запаса общих мест.

Никто не заинтересован в том, чтобы убеждающее слово как таковое исчерпало кредит общественного доверия. Это означало бы коллапс всей словесности. А остаться без общего языка – значит попросту распасться, перестать существовать.

Развитая риторика прежде всего обеспечивает культурное единство, держит культурное пространство, как держала его античная риторика. «Мы» – это там, где говорят по-нашему. Но «говорить по-нашему» не означает только использовать знакомые слова. Ударить по мячу ногой не значит играть в футбол. Играть в футбол означает соблюдать общие правила, одинаково обязательные и для своей команды и для команды противника.

Развитая риторика снимает общественное напряжение. Зоологи отмечают, что уже у высших животных знаки угрозы преобладают над реальной агрессией. Риторика (ораторика) способна выступать в роли общественного громоотвода. Риторика (гомильтика) способна нравственно укреплять общество. Риторика (дидактика) способна учить и воспитывать. Риторика (символика) способна консолидировать общество и выполнять в нем арбитражные функции.

Наконец, развитая риторика позволяет совершенствоваться тем, кто заинтересован в ней профессионально. В то же время грубые, грязные речевые технологии не столько совершенствуются, не столько даже изощряются, сколько искушают общественное терпение и способствуют выработке общественного иммунитета, точнее нечувствительности к слову.

Развитая риторика предполагает разумный баланс между ораторикой и гомильтикой, разумное сосуществование символики и

дидактики. Развитая политическая риторика предполагает при всем разбросе политических мнений и частных символик наличие какой-то общенациональной символики, на которую как на третейского судью мог бы сослаться оратор, которая послужила бы почвой для политической гомилемтики при решении общенациональных задач, которая позволила бы отстроить систему образования таким образом, чтобы у учащихся не было путаницы в голове и чтобы, выйдя из школы, они смогли легко социализироваться.

Какими путями может быть осуществлено окультуривание дискурса? Экстрапартическим путем является выработка новой символики. К этой проблеме можно лишь привлечь общественное внимание. Новая символика может родиться только как общий знаменатель старых символик, т.е. как их общая нравственная основа. Ее невозможно ни выдумать заново, ни построить эклектически, позаимствовав приглянувшиеся части из символов старых.

Ближайшая задача говорящих и пишущих – расширить поле подлинной ораторики, разграничить задачи ораторики и гомилемтики. Для этого необходимо искать новые жанры и обновлять возможности старых. Нужно пересмотреть концепции диалогических по сути жанров, получивших уродливую монологическую трактовку. Нужно отказаться от грязных технологий, заведомого манипулирования, заводящего в тупик и говорящих, и слушающих. Нужно создать такую общественную обстановку, при которой словесный разбой будет сразу же опознан и поставлен вне рамок серьезного разговора.

ЧАСТЬ III. ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РИТОРИКИ

Глава 1. Риторический взгляд на предвыборные кампании

§ 1. Риторическая и нериторические стратегии убеждения

Концепции убеждающей речи. Риторическая концепция. Концепция «завораживания». Концепция «поддакивания». Популизм с риторической точки зрения. Риторика и политическая философия. Общественная миссия риторики

В этой главе мы постараемся взглянуть на предвыборные кампании с риторической точки зрения. Анализ материала убеждает нас, что начать разговор надо с самой концепции убеждения, так как, на наш взгляд, многие ошибки проистекают из неправильного понимания самого феномена убеждающей речи. Правильным пониманием мы, естественно, считаем понимание риторическое.

Как уже не раз отмечалось в этой книге, риторическая концепция убеждающей речи – это информация в обмен на воздействие. Столкнувшись с какой-то проблемой, слушатель испытывает дефицит информации. Чтобы его восполнить, он готов вас выслушать и тем самым испытать на себе воздействие ваших взглядов на проблему. Если он находит эти взгляды убедительными, он их принимает. Поэтому ведущим для риторики качеством речи становится ясность. Оратор – это тот, кто берет на себя смелость прояснить ситуацию. Именно так устроено судебное красноречие, адресованное присяжным, именно так действует психотерапевт, предлагающий больному рефрейминг (свое толкование проблем больного), именно так устроена и коммерческая реклама, наиболее близкая в функциональном отношении к рекламе политической.

Существуют ли другие концепции убеждения и сколько их? Ответа на этот вопрос риторика не дает. Рассматриваемая нами концепция сложилась во времена Аристотеля и просуществовала в риторике до сегодняшнего дня, хотя никогда не формулировалась так однозначно и определенно, как это сделано в настоящей книге. Тем не менее эта определенность не наша выдумка. Она легко вычитывается из взглядов Аристотеля и из всей последующей традиции, но сформулировать концепцию в предлагаемом виде удается лишь сегодня, когда мы получили возможность опираться на категорию «информация».

На ранних стадиях древняя риторика исходила, по-видимому, из другой концепции убеждения, просматривающейся в софистической риторике, в частности во взглядах на фигуры речи софиста и грамматика Горгия. Это концепция завораживания слушателя. Оратор представляется чем-то вроде Крысолова, который ведет за собой слушателей не потому, что он ясно обрисовал им картину происходящего, а потому что он очаровал их музыкой своих речей. При таком взгляде на убеждение задачи оратора подменяются задачами поэта. Слова «повести за собой» для политического оратора и поэта имеют разное содержание. Реальные «соблазнители толпы», будь то основатели бесчеловечных режимов или жестоких сект, нередко сравниваемые с Крысоловом, действуют совсем по-другому. Все они прибегают к манипулированию, но к манипулированию в рамках риторики, обещая дать ясное понимание жизни, а отнюдь не заворожить или доставить художественное наслаждение. Их «завораживание» состоит лишь в подмене реальной картины мира картиной вымыселной. В основе же подмены лежит утаивание независимых источников информации. Отсюда ненависть к интеллигенции, запреты на старые книги и контакты с «чужаками». Сходство с Крысоловом возникает из-за использования художественного мышления в целях блокирования мышления критического, что особенно заметно во всевозможных массовых ритуалах. «Инстинкты толпы» – это

как раз те рубежи, которые воздвигают манипуляторы между жертвами и внешним миром. Но при этом они всегда имеют свое видение мира, отличающееся простотой и определенностью. Это видение и навязывается окружающим, а эстетические барьеры отгораживают его от чужих мнений.

Можно назвать еще одну концепцию убеждающей речи, не основанную на ясности. Она, судя по всему, сложилась недавно и легко узнается во многих материалах, связанных с предвыборными кампаниями. Именно поэтому мы и остановимся на ней подробней.

Эта концепция проста: у слушателя есть определенные ожидания, предлагается узнать их и подтверждать всеми своими речами, говоря именно то, чего от тебя ждут. Скажем, если убеждаемый боится холода, его обещают избавить от холода, если же его мучит жара, – от жары. Средство избавиться от того или от другого одно и то же: «Голосуй за нашего кандидата!» Если одних мучит жара, а других холод, надо обещать, что сделанный выбор спасет одних от жары, а других от холода. Если же одни желают жары, а другие холода, следует обещать, что сделанный выбор обеспечит сразу и жару, и холод.

Кроме недобросовестного пиара, по этому пути последовательно никто и никогда не шел. Показательно, что торговая реклама – наследница все той же Аристотелевой риторики. Она делает ошибки, но она же и совершенствуется именно потому, что концепция риторики оставляет и даже предполагает возможность для совершенства. Концепция же «поддакивания» – тупик. Она не диалогична и поэтому никакого совершенствования не предполагает. Для ее развития нет ни стимула, ни ресурса. Массовая безграмотность пиаровских кампаний и растущее общественное недовольство ими – наглядное тому подтверждение.

Можно сделать такой прогноз: либо пиар у нас в стране пойдет путем риторики, взяв за образец хотя бы коммерческую рекламу, а лучше – полноценное совещательное красноречие, либо его ждет вырождение.

Говоря о концепции убеждения, мы рассмотрели отношения говорящего и слушающего, но в связи с ясностью можно поставить вопрос и об отношении говорящего к предмету речи. Это позволит провести грань между риторическим убеждением и так называемом популизмом. Дело в том, что, убеждая в чем-то, сам говорящий может и не иметь никакой ясной картины происходящего. Он может, например, не видеть, каким способом можно выполнить даваемые им же обещания.

С риторической точки зрения, популизм – это подмена логосности и ethosности пафосностью. Это не пафосность сама по себе, но именно пафосность не на своем месте, пафосность, выдающая себя за ethosность или логосность. Мы помним, что доводы к пафосу делятся на обещания и угрозы. Когда человек обещает что-то, чего от него ждут, или пугает чем-то, чего и без него боятся, это еще не популизм, хотя общественная ценность такого выступления ниже, чем в том случае, когда говорящий открывает новые перспективы или указывает на незамеченный источник опасности. И все же это обычные доводы к пафосу. Если же говорящий только обещает или пугает, будучи не в состоянии логически объяснить, как именно он сможет выполнить свои обещания и почему альтернативный вариант приведет к тем или иным нежелательным последствиям, это уже очень похоже на популизм. Но если говорящий не просто ограничивается доводами к пафосу, а строит свою речь так, будто иных доводов и быть не должно, или – что еще хуже – имитирует логические или этические доводы, то это уже популизм.

Применительно к политической сфере аргументы к логосу и аргументы к ethosу суммируются в понятии «политическая философия». Если у политика есть определенная философия – значит у него, во-первых, есть определенная ценностная система (она и отражается в этических аргументах) и, во-вторых, определенная понятийная картина мира, включающая программу действий самого политика (она выражается в логических аргументах). Если

политической философии нет, остается лишь пафос, что по-гречески буквально означает « страсть ». Но поскольку прямо свой пафос обнаружить, как правило, нельзя («Хочу попробовать себя на таком-то месте», «Хочу получить такие-то выгоды»), пафос этот закономерно трансформируется в популизм.

Спасти положение можно там, где политическая философия имеется хотя бы в знатке, присутствует имплицитно. Здесь организаторы выборной кампании должны всеми способами эксплицировать, выявить эту философию, что не только поможет выиграть кампанию, но и, возможно, поможет кандидату тверже определить свою позицию. Историческая миссия риторики в том и состояла, что она заставила говорящих принимать к сведению реальные интересы слушающих и всматриваться в реальный мир, постигать его. Риторика облагородила античный мир, превратив варвара в цивилизованного человека. « Цивилизованного » буквально и означает « городского », т.е. человека публичного, говорящего открыто, на городской площади. Такой человек волей-неволей прислушивается к интересам других, у такого человека есть реальный стимул для развития своего кругозора.

Очень многое проясняет аналогия с торговлей. Популизм в торговле – это пустые обещания. Но торговец не может продавать под видом добротной обуви туфли, у которых на другой день отвалится подошва, ибо он тоже публичный человек, человек, находящийся на виду. Рекламируя товар, он не может, как попугай, копировать запросы покупателей, но вынужден говорить о реальных качествах товара. Этим обстоятельством и обеспечивается механизм приближения этих качеств к самим запросам покупателей.

Общественная функция политической риторики – осуществление обратной связи власти и общества. Более того, через риторику осуществляется связь наших представлений об общественной реальности с самой общественной реальностью. Риторика стимулирует движение к истине, способствует выработке целост-

ногого взгляда на мир. Известно, что мысли углубляются тогда, когда облекаются в слова. Если же эти слова снабжаются логической и этической доказательностью, мы присутствуем при рождении философии. Конечно, от рядовых риторических усилий до рождения политической философии далеко. Конечно, хорошо, когда такая философия уже есть у политика и речь идет лишь о поисках риторических доводов.

§ 2. Политическая листовка и ее структура

Обещание в политической листовке. Компоненты коммерческой рекламы и их аналоги в рекламе политической. Отличие от коммерческой рекламы. Метаблок

Наиболее специфичным продуктом предвыборных кампаний является предвыборная листовка. Генетически она связана с жанром листовки как таковой, но функционально ближе всего стоит к коммерческой рекламе.

Центральная категория предвыборной листовки – категория обещания. Именно это в первую очередь делает ее похожей на торговую рекламу, и, кстати, именно это обнажает в политической листовке действие основного механизма риторики: информация в обмен на воздействие. Человек, находящийся в ситуации выбора, хочет узнать о кандидате побольше, узнать о том, что он приобретет или потеряет, если этот кандидат придет к власти. Листовка дает сжатую, упрощенную картину политической жизни, которая позволяет сориентироваться в ней и в то же время способствует навязыванию именно этой картины.

Чтобы выявить сходство политической листовки с коммерческой рекламой, обратимся к компонентам торговой рекламы. Таких компонентов насчитывают шесть, хотя в отдельных рекламах какие-то из них могут быть редуцированы. Наиболее полно они представлены в обычной телерекламе. Это товарный знак (1), слоган (2), сложная ситуация (3), презентация товара (4), об-

легченная ситуация (5) и мотивирующий компонент (6). Стандартная реклама выглядит так: демонстрируется сложная ситуация (например, посуда не отмывается «обычным» средством), затем репрезентируется товар и демонстрируется облегченная ситуация (посуда отмывается рекламируемым средством). При этом активно предъявляется товарный знак, т.е. наименование товара (например, Фейри или Ариэль) и произносится слоган, т.е. рекламный девиз, привязанный к товарному знаку (например, *Ариэль – отстирает даже то, что другим не под силу*). Мотивирующий компонент – это мотивация выбора товара. Например, сообщается, что моющее средство легко справляется с жиром, удобно в употреблении, получило где-то высокую оценку и прочее.

Через товарный знак, презентацию товара и слоган осуществляется так называемый «брэндинг». Слово «брэнд» английского происхождения (brand – “торговая марка”) и означает символ товара, торговую марку. Идеал коммерческой рекламы – сделать свой брэнд символом данного товара вообще. Так, «ксерокс» сегодня воспринимается не как название фирмы, а как обозначение типа множительной машины. Отсюда слова «ксерокопия», «ксерокопирование», «ксерокс» в значении «копия данного текста».

«Брэндингом» специалисты по коммерческой рекламе называют внедрение в сознание потребителя персонифицированного образа товара. Брэндингу в теории рекламы противопоставляется «позишенинг» (от англ. position – “место, положение”), т.е. позиционирование товара – уточнение его положения в системе других товаров того же типа.

Позишенинг осуществляется через мотивирующий компонент и облегченную ситуацию. В некоторых случаях также через слоган, который сам может включать в себя мотивирующий компонент.

Существует мнение, что реклама в целом развивается от брэндинга к позишенингу. В самом деле, хотя борьба за яркий брэнд остается приоритетом рекламы, выигрыш в этой борьбе не всегда достигается напрямую, за счет брэндинга в ущерб позишенингу.

Брэндинг осуществляется такими языковыми средствами, как многократный повтор, случайные (не имеющие отношения к содержанию) фонетические или иные находки («Есть идея, есть «Икея»), различные интенсификаторы – оценочные слова, обозначающие высшие точки шкалы оценок, такие, как «эксклюзивный», «превосходный», «лучше некуда» (кстати, наиболее уязвимая часть брэндинга). Позиционинг достигается конкретизацией. Наиболее сильная сторона его – это именно деинтенсификация речи, укрепляющая доверие слушателя. Например, вместо «эксклюзивный запах, просто супер!» можно сказать «неповторимый лесной аромат», а еще лучше – «запах лесных ягод и хвои».

В предвыборной политической листовке можно найти те же компоненты, что и в коммерческой рекламе, те же брэндинговые и позиционинговые стратегии.

В роли «товарного знака» и «репрезентации товара» – выступают имя и портрет кандидата. В роли слогана – политический девиз листовки. Чаще его так и называют слоганом. Сложная ситуация, облегченная ситуация и мотивирующий компонент образуют несущую конструкцию политической листовки. Реализоваться они могут в различных микрожанрах: в биографии кандидата, в коротком политическом выступлении, в отдельных положениях, как бы мазках, обрисовывающих картину. Сложная ситуация в политической рекламе выглядит как изображение неудовлетворительного положения дел, облегченная – это само обещание, утверждение того, что с приходом к власти такого-то кандидата положение дел изменится к лучшему, мотивирующий компонент – объяснение того, почему это произойдет.

Мотивирующий компонент в политической рекламе может принимать характер ссылки на авторитеты. Этим видом доводов широко пользуется и коммерческая реклама, когда о рекламируемом товаре высказываются эксперты, например, врачи.

В политической листовке часто присутствует компонент, которого нет в торговой рекламе. Это метакомпонент, описываю-

щей уже не внешнюю действительность, а само описание действительности. Смысл его можно кратко сформулировать так: «Вообще-то листовки врут, но мы-то уж говорим вам правду». В рекламах редко говорится о рекламах, там описание конкурентов ограничивается словосочетанием «обычный товар». «Обычный товар» действует в сложной ситуации, а рекламируемый товар – в облегченной. Скользкая мысль о том, что рекламе не стоит верить, за исключением именно этого рекламного ролика, в рекламах за редчайшим исключением отсутствует. В политической же листовке это обычный ход, ход, быть может, и вынужденный, но во всяком случае не самый удачный. По-видимому, здесь потреблен сильный мотивирующий компонент и какие-то частные находки. Без этого метакомпонент политической листовки выглядит наивно и может стать аргументом не за, а против кандидата.

§ 3. Анализ материала (листовка)

Обратимся теперь к конкретному материалу. Перед нами политическая листовка. Попробуем найти в ней те структурные элементы, о которых говорилось в предыдущем параграфе.

Вверху листовки набрано: «Как депутат Г.Р.¹ голосовал в Государственной Думе». Затем в одном квадрате называется то, против чего голосовал депутат, а именно:

«Против грабительской приватизации, против отмены льгот нуждающимся, против разбазаривания земли-кормилы, против сокращения детских пособий, против развала армии и милиции, против отмены дотаций региону, против обнищания страны» (графическое расположение текстов не воспроизводится).

В другом квадрате написано, за что голосовал кандидат, а именно:

«За увеличение пенсий, за увеличение оплаты труда, за снижение налогов с тех, кто работает, за государственное регули-

¹ Там, где это возможно, имена политических деятелей заменены инициалами.

рование цен на бензин, за настоящую борьбу с коррупцией, за помощь братьям славянам, за отставку президента Ельцина».

Внизу листовки набрана фраза:
«Вот почему тюменцы за Р.!»

Построение достаточно прозрачно. Первый квадрат представляет собой сложную ситуацию. В торговой рекламе это соответствует изображению хозяйки, которой все не удается вычистить газовую плиту. Второй квадрат – облегченная ситуация: плита сияет. Все это вместе – мотивирующий компонент: избирайте депутата, который голосовал против того, что вам не нравится и за то, что вам нравится.

В принципе такое построение могло бы быть серьезным доводом, если бы не объединение в один ряд неоднородных компонентов, выдающее исключительно пафосный характер аргументации, маскирующийся притом под логосный. Подобные случаи мы выше квалифицировали как популизм. В самом деле, если понятно, как можно голосовать против «отмены дотаций региону», то не совсем понятно, как можно голосовать против обнищания страны. А мог ли ставиться на голосование в Думе вопрос: «Кто за развал армии и милиции, а кто против?» Очевидно, что «разбазаривание земли-кормилицы» – это перифразис, причем достаточно пафосный, а «грабительская приватизация» – это обычная приватизация, снабженная осуждающим эпитетом. Зато «отмена дотаций региону» – конкретная мера, введение которой обсуждалось в Думе. «Отмена льгот нуждающимся» – это отмена льгот для какой-то категории населения, обозначенной для пафосности словом «нуждающиеся» (а разве льготы вводят для тех, кто в них не нуждается?) и т.д. То же и в положительном ряду: «государственное регулирование цен на бензин» – конкретное дело, здесь можно было голосовать «за» и «против», а вот что такое «настоящая борьба с коррупцией», неизвестно. Во всяком случае трудно представить себе голосование по вопросу о том, поддерживать ли настоящую или игрушечную борьбу с коррупцией. «Отставка президента Ельцина» – тоже конкретное дело, а «уве-

личение оплаты труда» звучит довольно абстрактно. Получается, что одному депутату пришло в голову увеличить оплату труда, а другие по злой воле этому решению, такому приятному для всех нас, воспротивились.

Вообще же позиционирование депутата через «да» и «нет» – большой соблазн для подмены подлинного позиционирования мнимым, являющимся обыкновенной копией с желаний избирателей. При мнимом позиционировании мотивирующий компонент теряет основания. В то же время «да» и «нет» – хорошее средство для обозначения политической позиции, оно и пришло в листовку из политического лозунга вроде «Куба – да, янки – нет!».

Рассмотрим еще одну листовку.

Верху стоит имя депутата, затем написано слово «Программа», под которым в столбике слева собраны положения под рубрикой «Да!», а в столбике справа – под рубрикой «Нет!» Внизу слоган: «Голосуй за свои права!»

В списке обещаний:

«Защита прав потребителей, контроль за ценами, качество жилищно-коммунальных услуг, закон служит горожанам, забота о ветеранах, помочь детям». Среди односоставных предложений положение «закон служит горожанам» явно выбивается по синтаксическому оформлению. Да и по сути эта фраза выбивается из ряда более или менее конкретных, но ничем, впрочем, не мотивированных обещаний.

В рубрике «Нет!»: «ведомственному беспределу, гонке цен, чиновничьей вседозволенности, судебной волоките, равнодушию власти». В эту «программу» можно с успехом добавить «эгоистические стремления», «тайные поползновения» и «испорченность человеческой природы».

Дефицит мотивирующего компонента при подозрительно активном отклике на все выполнимые и невыполнимые пожелания избирателей – вот основной недостаток политической листовки в области аргументации. Надо обладать минимальным критическим чувством, чтобы заметить эту уязвимость, а при тиражиро-

вании этого недостатка, при повторении его из года в год, из листовки в листовку можно понять несостоятельность этой аргументации, даже никаким критическим чувством не обладая, а просто умев читать.

Среди доводов, используемых в листовке, есть и ссылка на авторитеты.

Вот пример политической листовки, состоящей из одних ссылок на авторитеты и слогана. Приведем ее полностью, не сохранив графических выделений.

«А. Ж.

кандидат в депутаты Государственной Думы РФ по 199 Преображенскому избирательному округу г. Москвы председатель бюджетного комитета Государственной Думы РФ

«Ж. – один из лучших, один из самых крупных профессионалов у нас в стране, блестяще знающий бюджет. Для меня имеет большое значение и то, что это человек порядочный».

Евгений Примаков, лидер блока «Отечество – Вся Россия».

«Когда мы говорим о депутате от Москвы в Государственной Думе Ж., мы должны сказать о нем, как о защитнике интересов Москвы. Можно назвать настоящей удачей то, что у нас есть такой депутат».

Юрий Лужков, мэр Москвы.

«Когда говорят о законодателях, кто должен быть в Думе – вот такие, как А. Ж. Это и профессионал отличный, и человек великолепный. Желаю ему удачи на выборах».

Сергей Степашин, лидер избирательного блока «Яблоко».

«Ж. А. Д., на мой взгляд, идеальный депутат. Я уверен, что такие профессионалы выведут страну из кризиса».

Владимир Рыжков, лидер фракции «Наш дом – Россия».

Ж. абсолютно порядочный и надежный друг. Я рад, что судьба свела меня с этим замечательным человеком».

Сергей Шойгу, министр по чрезвычайным ситуациям.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ПОРЯДЧНОСТЬ И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»

Как видим, слоган, которым заканчивается листовка, подтверждается высказываниями сочувствующих кандидату политиков. Это, бесспорно, сильная сторона листовки. В трех высказываниях из пяти говорится о профессионализме, в четырех о высоких человеческих качествах. Хорошо и то, что в заключительном слогане не повторено имя депутата.

Ссылка на авторитеты – сильный элемент политической листовки, один из видов мотивирующего компонента.

Иногда предвыборные обещания облекаются в стихотворную форму. Однако этот прием навряд ли можно считать удачным. Вот пример листовки, состоящей из куплета-обещания. Четыре строчки и подпись даны на фоне российского триколора.

«Я вам не скажу за всю Россию,
Вся Россия очень велика.
Ну, а интересы региона,
Я уж отстою наверняка.

А.А.М.»

Стихотворение воспринимается как шутка, тем более, что оно содержит аллюзию на известную песню достаточно легкого жанра, построенную на одесском колорите. Возможны ли вообще обещания в форме шутки? Наверное, да, но лишь в том случае, если между избираемым и избирателями установились какие-то особые, доверительные отношения, во всяком случае, если его очень хорошо знают. Однако даже и в этом случае надо соблюдать меру. Что касается данного куплета, то здесь бросается в глаза неуместность обращения к одесской теме. Если бы эта аллюзия была нагружена какими-то ассоциациями из реальной жизни, например, дело происходило бы в Одессе, такой прием был бы уместен.

И последнее, о чем следует сказать в связи с анализом материала, – это о крайне низкой речевой культуре политической листовки. Конечно, это не тема для книги по риторике, но если не будет достигнут дориторический уровень, если речь будет без-

грамотна и неуместна, ни о какой риторике говорить вообще не придется. Увы, политические листовки в массе своей стилистически беспомощны, а некоторые содержат пунктуационные, грамматические (неправильный выбор грамматической формы) и даже орфографические ошибки.

Не будем останавливаться на вопиющих случаях, а приведем достаточно типичный отрывок: «*Но достойная жизнь есть. Пока это отдельные островки – предприятия, возглавляют которые люди, сумевшие создать рабочие места, обеспечить достойную оплату, медицинское обслуживание и социальную помощь своим рабочим и их семьям*». Первое, что обращает на себя внимание, это неуместная инверсия, неоправданное нарушение порядка слов: «предприятия, возглавляют которые люди».

Ничем не мотивированное нарушение порядка слов – одна из типичных ошибок. Другая – это неумелый повтор. В таком коротком отрезке нужно было либо избежать повтора прилагательного «достойный», либо построить предложение так, чтобы этот повтор превратился в стилистическую фигуру. Но главное это то, что предложение «*Но достойная жизнь есть*» звучит достаточно пафосно (опять-таки из-за инверсии), а следующее предложение сводит пафос на нет канцелярским перечнем: обеспечение достойной оплаты, медицинского обслуживания (напрашивается вопрос: недостойного?) и социальной помощи рабочим и служащим. Смесь пафоса с канцеляритом и нелепые ряды перечислений – это, пожалуй, главный стилистический бич политической листовки. Чего стоит, например, такой пассаж:

«*Мы призываем рабочих и крестьян, инженеров и ученых, ветеранов и молодежь, верующих и атеистов, коммунистов, аграрников и патриотов встать в ряды сторонников блока «За победу!», избрать Б. Н. И. своим депутатом, проголосовать за избирательное объединение «Коммунистическая партия Российской Федерации».*

Здесь целых два ряда однородных членов, один нелепее другого. Достаточно только на минуту вдуматься в эти перечисле-

ния, чтобы понять их абсурдность. «Рабочие, крестьяне, инженеры и ученые» – это из знакомого ряда «рабочие, крестьяне и трудовая интеллигенция», испорченного неожиданной конкретизацией последнего члена. «Ветераны и молодежь» – это переформулировка фольклорной формулы «стар и мал», означающей «все вообще». «Верующие и атеисты» – это довольно странное объединение, вводящее в этот ряд социально-возрастных характеристик совершенно новый признак. «Коммунисты, аграрники и патриоты» само по себе звучит достаточно диковинно, но в контексте политической жизни оно во всяком случае понятно. Однако присоединение его к предыдущему ряду делает всю конструкцию нелепой. Что же представляют собой однородные сказуемые? «Мы призываем... встать в ряды сторонников..., избрать..., проголосовать за избирательное объединение...». Если бы было хоть одно «и», конструкция выглядела бы не так смешно. Но данные через запятую призыва патриотов стать в ряды сторонников (блока «За победу!»), избрать конкретное лицо и проголосовать за избирательное же объединение («Коммунистическая партия Российской Федерации») выглядят как скороговорка.

Анализ достаточно большого подбора политических листовок показал, что практически все тексты можно улучшить, и иногда существенно, с помощью самой обычной редакторской правки, основанной не на риторических, а на банальных стилистических требованиях.

§ 4. Политическое имя

Имя в рекламе. Две стороны политического имени: семантическое обыгрывание и социальная характеристика. Узнаваемость

Категория «политическое имя» включает имя или политическое прозвище общественного деятеля, официальное или неофициальное название политического движения, политической партии, политического учения, доктрины.

В теории рекламы имени отводится солидное место. В данном случае речь идет о наименовании товаров и фирм. Из-за незаконного использования торговой марки в мире ежегодно возникают тысячи судебных процессов.

Для обозначения впечатления, производимого именем, в теории рекламы используется специальный термин «энграммма». Эта энграммма складывается не только за счет репутации, но и за счет чисто имиджевых характеристик – единства образного содержания и звуковой формы имени (это специалисты по торговым маркам называют «симпептизмом»).

Имя товара может нести в себе определенный «меседж» (сообщение), рассказывая о его качестве. Это уже не чисто брэндовый, но позиционинговый элемент.

Посмотрим теперь, как обстоит дело с политическим именем.

Применительно к имени собственному нужно различать имена и политические псевдонимы. Ввиду своей асемантичности имя как таковое не представляет собой богатого материала. И все-таки оно может быть использовано: во-первых, «обыграно» в каком-нибудь каламбуре или рифме, во-вторых, «раскручено» как носитель определенного социального признака.

Первое – это обыгрывание этимологии имени, образование всевозможных слоганов с удачно вписанным именем. Например, случайная рифма к имени «Кутузов» позволяет создать запоминающуюся присказку (в сегодняшних терминах – слоган): «Идет Кутузов бить французов». Эта нехитрая присказка, основанная на случайности, вселяла надежду в русских солдат времен войны 1812. Во времена предвыборной кампании Бориса Ельцина, подчеркивая его демократизм, писали на стенах «Заборы – за Борю». Стalinская пропаганда неоднократно обыгрывала имя наркома Н. И. Ежова в связи с выражением «держать в ежовых рукавицах». Многократно обыгрывался и политический псевдоним «Сталин», который и изначально был ориентирован на соответствующий ассоциативный ряд. Сближение имени «Сталин» со ста-

лью было общим местом советской литературы и публицистики. Так, в «Кантате о Сталине» М. Исаковского читаем:

Границы от вражьих нашествий задел в броню он литую,
Закрыл их стальными ключами могучих и славных побед...

Далеко не всегда обыгрывание имени комплиментарно для его владельца. Собственное имя издавна обыгрывалось в сатирических частушках, для которых вообще характеры устойчивые рифмы собственного и нарицательного имени (например, древнерусское «Савва» и «худая слава»). Так, уже в брежневские времена возникла рифма «Брежнев» – «прежний», которая затем воспроизводилась в самых разных частушках. Рифма возникла еще при Хрущеве в присказке «Кому на Руси жить хорошо», которая заканчивалась словами: «Леониду Брежневу, а остальным – по-прежнему».

Обыгрывание имени служит почвой для сближения персонажей совершенно разных, но носящих одно имя. Ср.: «От Ильича [Ленина] до Ильича [Брежнева] без инфаркта и паралича» (о политическом долголетии А. . Микояна). В годы правления Б. Н. Ельцина определенную роль играл образ «царя Бориса».

Вторая сторона обыгрывания имени связана не с его семантизацией, а с его социальной характеристикой. Самый яркий пример – имя «Ильич», которое должно было демонстрировать простоту, «народность» вождя. Имена, несущие на себе черты этнической и социальной принадлежности, могут стать предметом нелояльной насмешки, иногда граничащей с ксенофобией. Здесь особенно ярко проявляется функция «меседжа» имени: «он наш» или «он не наш». Ср. анекдот о «Титанике», напоровшемся на айсберг: «Знаем мы этих Айсбергов, Вайсбергов».

Об имени можно говорить и применительно к названию политических партий. Наименее выразительны аббревиатуры, возникшие из описательных названий и не похожие ни на одно слово естественного языка. Например, «эсеры» от «социалист-революционер». Не слишком выразительно выглядит и РСДРП (б). Зато название «большевики» чрезвычайно удачно в

смысле «меседжа». Во всяком случае на крестьян это простое и прозрачное слово производило хорошее впечатление. В литературе не раз отмечалось (как пример политической безграмотности), что многие крестьяне выступали «за большевиков против коммунистов». В этой антитезе роль имени можно наблюдать в лабораторно чистом виде: «коммунист» это что-то чужое, «большевик» – свой. В перестроочные и постперестроечные времена слово «большевик» для большинства народа было менее привлекательным, чем слово «коммунист»: большевиками называли крайних коммунистов, «поступить по-большевистски» означало «поступить грубо, по-варварски». Особенно модно было называть большевиками демократов. Такая история слова «большевик» говорит, в частности, о том, что заложенный в нем «месседж» остался, но изменилось его восприятие. Простонародность и оправдание силы, заложенные в этом слове, уже не нравились стране со всеобщим средним образованием.

В годы советской власти Коммунистическая Партия Советского Союза стала просто Партией, т.е. знаком, брэндом, партией вообще. Поэтому лозунги типа «Народ и Партия едины» не вызывали вопросов, о какой партии идет речь. Долгие годы однопартийности вызвали сильную языковую инерцию. Такие выражения, как «центральный комитет партии», у большинства населения прочно ассоциируются с КПСС.

В названиях партий и политических течений могут быть заложены образы, напрямую не связанные с описательным названием, но несущие определенную информацию: «Яблоко», «Медведи», «Гора».

Название идеологий чаще всего образованы от имен их основателей и обычно оканчиваются на «-исты»: марксисты, маоисты, франкисты. Такие названия в риторическом тексте наименее удачны, так как, будучи образованы по одной словообразовательной модели, они имеют сходные звучания, что вызывает нежелательные для их носителей сближения.

Характеризуя политического деятеля, оратор может обыграть его личное имя, а также имя его партии, его политической ориентации. Что касается последней, то здесь в общественном дискурсе царит хаос. Он вовлек такие общепринятые обозначения, как «правые», «левые», «революционеры», «консерваторы», «демократы» и проч. Этот хаос создает крайне неудобную для риторики неопределенность.

Политическое имя – это не только звучание слова вместе со смысловыми и фонетическими ассоциациями. Политическое имя – это еще и репутация его носителя. Главное при использовании политического имени в риторике – суметь задействовать механизм узнаваемости. Если посетителям зоопарка предложить проголосовать за директора зоопарка, то и посетители, и организаторы «выборной кампании» будут в большом затруднении, так как посетители ничего не знают ни о предложенных кандидатах, ни о специфике работы. Наверное, если будут предложены три фамилии «Иванов», «Петров» и «Львов», большинство посетителей проголосует за Львова. Но для политической риторики такая ситуация совершенно ненормальна.

§ 5. Политическая биография

Биография как фреймовая структура. Проблема положительных характеристик. Проблема биографических штампов. Анализ штампов политических биографий в пространстве категорий «он, как мы» и «он не как мы». Стратификация этих категорий в высших и средних звеньях власти. Запас политических контрактов и политическая биография

Биография кандидата – один из доводов, активно используемых в предвыборных кампаниях, точнее, это целый пакет доводов, а еще точнее – это пакет риторических возможностей, которыми чаще всего пользуются достаточно неумело.

Жанр биографии является типичным фреймом – рамочной конструкции с заполняемыми позициями: год рождения, место рождения, социальное положение родителей, образование и т.д.. Это очень хорошо видно в форме классической анкеты: каждый пункт анкеты – готовая рамка, куда вставляются сообщения о фактах жизни. Краткие биографии известных людей в различных справочниках энциклопедического толка тоже явно обнаруживают фреймовую природу. Однако набор самих позиций фрейма, так называемых слотов, может быть различным. Это опять-таки хорошо заметно по набору анкетных пунктов. Нужно ли, например, эксплицировать вероисповедание заполняющего анкету или наличие у него родственников за границей.

Биография кандидата – это анкета, некоторые пункты которой являются обязательными, а некоторые выбраны специально в риторических целях.

Первая проблема, которая встает здесь, – это проблема положительных характеристик. Ясно, что биография кандидата для того и описывается, чтобы создать положительный образ, подобно тому, как товары рекламируются для того, чтобы выявить их положительные свойства. Но простое нагнетание превосходных степеней (интенсификация оценки) выглядит достаточно беспомощно именно потому, что и от рекламы, и от биографии заранее ждут положительного описания. Поэтому сильным ходом является деинтенсификация оценки – уход от ничего не значащих превосходных степеней и сообщение конкретных деталей. Идея деинтенсификации может быть проиллюстрирована заменой выражения «суперсвежающий вкус» выражением «освежающий вкус мяты».

Проблему деинтенсификации оценок при создании образа политика часто пытаются решить введением внешних примет: кепкой или трубкой. И в самом деле, лучше сообщить облику политика внешние индивидуализирующие черты, чем не сообщить никаких. Отсюда попытки описать в биографии хобби кандида-

та, что зачастую тоже сползает в область интенсификаторов, когда хобби становится модным. В этих же целях можно вводить в биографию рубрики, не нагруженные политическим смыслом, например, сообщить что-то о жизни семьи кандидата. Однако лучше всего, чтобы индивидуальные черты касались существенных сторон деятельности политика. Боязнь отпугнуть часть электората актуализацией конкретных черт политического облика претендента так же наивна, как мысль о торговле книгами, на обложке которых не выставлено ни название, ни имя автора. Народная риторика давно обнаружила это свойство политиков и специалистов по пиару – стараться угодить сразу всем – и обозначила такое речевое поведение как «за все хорошее».

Другая проблема, связанная с биографиями, – проблема штампов. Штампы – в том числе и биографические штампы – возникают не на пустом месте. Все они – ответ на реальные требования жизни. Но при навязчивом повторении одни и те же сюжетные ходы теряют экспрессию, приедаются. В этом состоянии они и называются штампами. Так выглядит штамп с позиции слушающего. Для говорящего же стандартизация и механическое воспроизведение старых сюжетных ходов ведет к утрате функциональности. Он пользуется готовым штампом, уже не отдавая себе отчета в том, какие задачи стояли перед создателями этого штампа.

Рассмотрим два самых распространенных биографических штампа. Это нарисованный крупными мазками облик «человека дела» или облик «бескорыстного защитника простого человека». Штампы эти повторяются во всех кампаниях на все лады, и остальные штампы, многие, если не все, можно рассматривать как производные от них. Это, конечно, не случайно, и в основе названных штампов лежат существенные социальные категории, требующие, однако, более сознательного и умелого обращения.

Работа с ассоциациями, вызванными названиями различных звеньев власти, показывает, что к «начальству» мы подходим с

двуумя мерками: «он как мы – он не как мы». Хороший начальник может быть таким, как мы, т.е. «простым человеком». Вспомним, как эксплуатировалось это качество по отношению к вождям революции, особенно к Ленину. «Он, как вы и я, совсем такой же», – писал Маяковский, стоящий у истоков мифа о вожде. Но хороший начальник может быть и не таким, как мы, более того, он «не нам чета». Прежде всего он компетентен, хорошо разбирается в том, в чем не разбираемся мы. В этом случае, чем меньше он на нас похож, тем лучше. Это можно пояснить примером не из властной жизни, хотя и связанным с подчинением. Попробуем мысленно лишить врача «непохожести» на пациента. Отнимем у профессора белый халат, кабинет, латынь (вообразите рецепт, написанный прозрачным русским языком!), даже склонность к чудачеству, и мы поставим его профессиональную деятельность под сомнение.

Идеал начальника парадоксален: он и «мы», и не «мы» одновременно. Лучше всего подходит для этого сакральная фигура царя. Царь выше бояр, но он же и ближе к народу, чем бояре. А сакрализованный вождь пролетарской революции, будучи простым, обладал в то же время нечеловеческими способностями и мог предвидеть события на века вперед. У того же Маяковского «простой» Ленин «сотнями губерний в черепе ворочал». Вообще поэты, безотносительно к тому, поддерживают они власть или нет, гораздо лучше, чем социологи, понимают это ее двойственное свойство.

Штамп «бескорыстный защитник простого человека» восходит к народной, если можно так выразиться, ипостаси начальника: «он, как мы». Штамп «человек дела» восходит к высшей (боярской, интеллигентской, экспертной, жреческой) ипостаси начальника: «не нам чета». Обойти молчанием эти ипостаси нельзя, как нельзя обойти молчанием анкетные вопросы. Автор биографии, несомненно, должен определиться в этом отношении. Он должен решить, кто его герой: «как мы» или «не как мы». Точнее,

он должен решить, в чем он «как мы», а в чем «не как мы». Уяснив это для себя самого, он сможет найти мысли и слова для воплощения своих положений, не прибегая к набившим оскомину штампам. Тем более, что эти штампы не просто приедаются, но так или иначе сужают названные темы. Понять мотивы этого сужения можно. Трансформация простого человека в бескорыстного родилась как реакция на использование власти в корыстных целях. Трансформация компетентного человека в «человека дел, а не слов» родилась как реакция на массовую демагогию. Но оператор должен понимать, какие архетипы стоят за штампами.

Человек, знающий свое дело и не тратящий лишних слов, – фигура безусловно, желательная, но плакатный образ этого человека навяз в зубах еще в советские времена. Вообще словесное излияние на тему «меньше слов» вещь достаточно уязвимая даже без частых повторений.

Если вернуться к исходной антитезе «как мы – не как мы», можно, наверное, констатировать, что требование «быть как мы» актуально скорее для самых высших звеньев власти, особенно для первого лица в государстве. От местной власти, пожалуй, требуется только ее «местный патриотизм». Для нее гораздо актуальнее не быть «как мы», а знать какое-то конкретное дело. В этом смысле профессии являются естественными деинтенсификаторами. Отталкиваясь от профессии, «биографы» проводят импликации: военный – «порядок будет», юрист – «законы знает», экономист – «в экономике понимает» и прочее. Разумеется, с этими же профессиями можно построить и отрицательные импликации. При этом в обществе возникают и пропадают моды на те или иные профессии.

Очевидно, и моды, и штампы отражают поверхность явления. Штампы – это ответ на вызов моды, как правило, запаздывающий. Чтобы чувствовать себя уверенней, надо добраться до глубины явления, которое называется избирательскими ожиданиями. В глубине, по-видимому, лежит пакет архетипических политиче-

ских контрактов, из которого общество и власть могут выбирать нужный, соответствующий злобе дня контракт. Архетипический политический контракт – это взаимосогласованное, оправданное успешным функционированием представление власти и общества о том, как должна выглядеть та или иная политическая фигура. Речь идет именно о пакете, потому что, очевидно, существует выбор: начальник такого-то уровня может быть таким-то или таким-то. Но этот выбор, конечно, не беспределен. Есть несколько базовых фигур, и задача политической биографии – способствовать адекватному опознанию той или иной фигуры.

Чтобы успешно писать политические биографии, недостаточно поверхностного «маркетинга», который не обнаружит глубинных механизмов и может подтолкнуть к поверхностным решениям. Такие решения, правильно отвечая на один вопрос, задевают невидимые для говорящего струны и создают отрицательный побочный эффект. Уверенно может себя чувствовать не тот, кто знает, что старушка хочет видеть в кресле начальника интеллигента в очках, а тот, кто знает, почему она этого хочет. Чтобы ответить на это «почему», никак не достаточно рефлексии самой старушки, подгоняемой модератором. Необходим стратегический «маркетинг» – исследование концептосферы языка с целью обнаружения и описания архетипических политических контрактов в самом общем виде. Имея такие ориентиры, следует заняться тактическим «маркетингом», выявить, как адаптированы общественные ожидания к конъюнктуре сегодняшнего дня. После этого нужно посмотреть, к какой фигуре ближе герой биографии, а уже затем писать саму биографию, максимально проясняя в ней черты этой фигуры.

§ 6. Анализ материала (биография)

Обратимся теперь к примеру – к биографии кандидата из предвыборной листовки. Весь текст так и называется «Биография»:

«Трудное детство

В. К. Г. родился 12 октября 1960 в городе Копейске в шахтерской семье. Мальчику не было и года, когда умер отец. Испытывая материальные трудности, мама вынуждена была отдать В. на один год в интернат. Это навсегда осталось в памяти ребенка.

Раннее взросление

После окончания средней школы в 1978 году способный мальчик поступил в Челябинский политехнический институт. Заботясь о семье, он старался совместить учебу с работой – ремонтировал крыши, разгружал вагоны, во время летних каникул работал комбайнером. В 1983 году он с отличием окончил институт

Профессиональный рост

Трудовая деятельность В. Г. началась в 1983 году на ордена Октябрьской революции Челябинском кузнечно-прессовом заводе. Работал мастером, старшим мастером, начальником участка. В 1989 году Г. становится руководителем на ЧКПЗ. Финансовое образование он получил, работая руководителем страховой компании АмеСК»

В 1996 году В. К. избран генеральным директором АО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», где в полной мере проявились его деловые и организаторские способности. На заводе начались позитивные перемены: почти вдвое увеличилась зарплата, вырос объем производства. Неуклонный рост производства на ЧКПЗ продолжается и сейчас: только за последний год он составил более 60%. Создано более 500 рабочих мест.

Хорошая семья

В. Г. женился на Марине на 4 курсе института. Ей было 19 лет. Сейчас у него два сына – 17 и 12 лет.

Общегосударственная деятельность

В декабре 1997 года В.К. Г. избран депутатом Государственной Думы РФ по Советскому избирательному округу.

В Госдуме работает в комитете по бюджету и финансам, выполняя наказы южноуральских производственников о снижении налогового бремени на промышленные предприятия. При его непосредственном участии принят закон, по которому прибыль, направленная на развитие производства и создание новых рабочих мест, не облагается налогом. Этот закон уже действует и дает реальный толчок оживлению нашей промышленности.

Депутат В. Г. голосовал в Думе против отмены льгот для малообеспеченных семей, против повышения депутатских зарплат и пенсий, против принятия грабительских для Челябинской области бюджетов последних двух лет. Он отстаивает интересы своих избирателей в Челябинской области в целом, направляя запросы и требуя продуктивных решений от исполнительной власти всех уровней.

Жизненные принципы

Человек, переживший трудное детство, видевший нужду, выработал принципы, которым следует всю жизнь, – рассчитывать только на себя и помогать другим. Помогать детям, обездоленным и пожилым людям, которые прожили свою жизнь честно, отдав все силы на благо советскому обществу».

Графически текст передан не буквально: в оригинале названия рубрик выделены курсивом и подчеркиванием, а абзацы сформатированы по левому краю. Кроме того, нами исправлена допущенная в листовке пунктуационная ошибка.

В целом текст производит неплохое впечатление, главным образом из-за рубрикации, которую авторы построили достаточно объективно. Детство, взросление, семья, профессия – все это естественно выделяемые, а не «подогнанные под ответ» пункты. В названиях рубрик авторам удалось уйти от излишней интенсификации. Заведомо положительно звучит только «хорошая семья» и, пожалуй, «раннее взросление». «Трудное детство» можно рассматривать скорее как деинтенсификатор, т.е. нечто конкретное, нечто такое, что может обернуться и плохим, и хорошим. При

этом, конечно, в каждой рубрике сообщаются выигрышные факты – риторические доводы в пользу голосования за кандидата, а «жизненные принципы» реализуют попытку (правда, непоследовательную) вывести эти принципы из биографии: сам познал нужду, вот и помогает нуждающимся. К сожалению, именно этот ход (сам был бедным и нас, бедных, пожалеет) является стандартным и при этом достаточно небезупречным доводом. Но идея актуализировать биографию через «жизненные принципы» – ход сильный как в отношении композиции, так и в отношении аргументации.

В первом и втором пунктах заложена аргументация к этосу – нуждался, работал – и робкая аргументация к логосу: «способный мальчик» – очевидно, ценное деловое качество. Третий пункт – самый слабый. В его первом абзаце практически вообще не содержится доводов, а «ордена Октябрьской революции Челябинский кузнеочно-прессовый завод» стилистически плохо сочетается со «страховой компанией АмЕСК». Во втором абзаце – доказательства деловых качеств. Четвертый пункт можно назвать ненагруженным. К тому, что кандидат, как правило, хороший семьянин все привыкли. Это слабый довод к этосу. Вместе с тем сама позиция рубрики, будучи достаточно необязательной, допускает введение каких-либо деинтенсификаторов. Должен же человек выглядеть человеком, индивидуальностью со своими привычками и склонностями. В следующем пункте ударным является третий абзац, где депутат трижды голосует «против», проявляя нонконформизм и принципиальную приверженность защите интересов слабых (этический довод и в то же время скрытый аргумент к пафосу – обещание).

Суммируя сказанное, можно заключить, что в своей основе текст организован правильно, но мог бы быть существенно улучшен при доработке. Основные направления этой доработки: деинтенсификация, осторожное обращение со штампами, прояснение композиции (в связи с «принципами»), стилистическая вы-

веренность. Все эти рекомендации могут быть отнесены к большинству биографий, фигурирующих в ходе предвыборных кампаний.

Вот другой пример из предвыборных материалов:

«Он не новичок в политике, всегда действует по принципу – «Меньше слов – большие конкретных дел». Много ли таких людей в политике сегодня? Увы, нет! Такое положение более недопустимо. Хватит горожанам оплачивать из своего кармана чужие властные амбиции. Пора подумать о себе!»

Как видим, здесь реализованы оба анализируемых штампа: и компетенция, и бескорыстие. Естественный вопрос к авторам этого короткого текста «А почему мы должны думать, что этот не такой, как другие?» не только остается без ответа, но, можно сказать, провоцируется. Мысль о том, что «у нас много болтают» и без того прочно засела в народном сознании. Что делает текст? Он ее актуализирует. Он спрашивает, много ли таких людей в политике сегодня? Фактически выстраивается рассуждение по индукции, направленное против намерений самого говорящего. Вот оно: вам предлагается проголосовать за кандидата, но мы знаем, что кандидаты обычно много говорят (вот в таких предвыборных кампаниях, как эта) и ничего не делают, мы знаем также, что они небескорысты и требуют от вас поддержки на выборах (вот таких, как эти), чтобы залезть в ваш карман, а теперь решите, является ли исключением этот кандидат.

С точки зрения коммерческой рекламы, в приведенном выше рассуждении отсутствует мотивирующий компонент. В рекламе этот ход выглядел бы так: «обычное средство» не справляется с жиром, но рекламируемое (такое уж совпадение) справляется. В рекламах последних лет подобные рассуждения стараются подкрепить мотивирующим компонентом: рекламируемое средство справляется за счет «формулы». К тому же функции мотивирующего компонента выполняет убедительный видеоряд. В политической рекламе дела, как правило, обстоят гораздо хуже. Мало того,

что мотивирующий компонент ослаблен, но еще и выстраивается рискованное рассуждение вроде: «как вы знаете, все эти отбеливатели ни на что не годятся». Наверное, только сумасшедший рекламодатель рискнул бы на такую рекламу отбеливателя. В то же время для политической рекламы это более чем типичный ход.

А вот пример того, как воспроизводится практически то же рассуждение, но в гораздо более приемлемой форме. Главная сила этого рассуждения заключается в том, что перед нами фрагмент из самопредставления:

«Сейчас многочисленные партии и движения выступают повсюду со своими программами. Предвыборной агитацией переполнены газеты, радио и телевидение. Знаю, что многих, особенно среди людей нашего с вами поколения, это раздражает. Есть ощущение, что все давно куплено, ничего, власть все равно не будет решать реальные проблемы людей и надо только как-то самим выживать.

И все же я уверяю Вас, что от того, пойдете Вы голосовать или нет, реально зависит многое. Уверяю Вас, что если новая Дума будет хотя бы наполовину состоять из профессионалов, честных, здравомыслящих людей, можно будет, наконец, принять все необходимые стране и каждому из нас законы».

Форма самопредставления позволяет вместо нелепого «я хороший, а все плохие» рассуждать, солидаризируясь с избирателями, говорить о ситуации вообще. Причем, говоря о ситуации вообще, автор не говорит, что предвыборная агитация это всегда плохо и лишь в его исключительном случае хорошо. Он говорит «есть ощущение, что все куплено и т. д.». Такое ощущение есть, и все же от вас «реально зависит многое». Это означает, что его случай не исключение, что выборы не балаган, что таким путем в Думу могут попадать и честные, и компетентные люди. Уступка «хотя бы наполовину» придает его словам оттенокзвешенности.

Анализ материала показывает, что биография кандидата – живой, развивающийся жанр политической риторики, далеко не все возможности которого исчерпаны.

§ 7. Политический лозунг в политической рекламе

Доводы в политическом лозунге. Логико-синтаксическая структура лозунга. Стихотворные лозунги

В политической риторике вообще лозунг выполняет функции призыва, побуждения к определенным действиям, а также функции знамени, символа, вокруг которого консолидируются определенные силы. Но в политической рекламе функция лозунга близка к слогану рекламы торговой. Этот лозунг нередко и называют слоганом. Как и в торговой рекламе, в нем преобладают имиджевые компоненты. Меньшую роль играет мотивирующий компонент. Обычно это аргументы к этосу и пафосу:

«Сердце открыто людям»

«Забота о людях – мое дело»

Первый слоган явно рассчитан на сопереживание. Раз сердце открыто людям – значит человек хороший, его надо поддержать. В слабой степени это еще и обещание: с ним будет легко, у него сердце открыто людям. Но, конечно, содержательная сторона этого слогана не многим отличается от известного «Галина Бланка – это любовь с первой ложки». Второй слоган делает акцент на обещании и содержит в себе – что его не красит – ложный позишинг: я тот, кто специализируется на заботе о людях. Ложным такое позиционирование является по той причине, что под этим девизом подпишется каждый кандидат. Вообще, невозможность антонимического слогана – черта многих политических лозунгов именно в рекламе. Реальные политические лозунги в основном не таковы. Например: «Война до победного конца» или «Ни мира, ни войны».

Реже слоганы содержат логическую аргументацию.

«Порядок в стране – достаток в доме»

Смысл: я наведу порядок в стране, и тогда в доме у вас будет достаток. Правда, это еще не аргумент в пользу кандидата. По-

стулируемая логическая связка: из порядка в стране следует достаток в доме, но сам порядок в стране в лозунге не из чего не выводится. Но этого, как правило, и не требуется. Такие лозунги-связки, связывающие некоторое исходное политическое положение с процветанием, хороши тем, что обозначают политическую позицию.

Синтаксическая и логическая структура слогана разнообразна. Это может быть девиз, сентенция, призыв. Вот пример слогана-девиза:

«Не народ для Думы, а Дума для народа!»

В основе данного девиза лежит хиазм (антиметабола), что делает его запоминающимся. Правда, ход мысли не слишком оригинален. Более того, оборот «не X для Y, а Y для X» давно стал штампом: «Не народ для власти, а власть для народа» и т.п. Банальность противопоказана форме девиза, ибо девиз – это позиционирование, во всяком случае хороший девиз – это позиционирование. Полная абсурдность противоположного девиза «Народ для Думы» снижает его ценность. Надо учесть и то, что политические девизы набили осколки в период советской агитации, когда форма девиза активно использовалась в плакатах. Например: «Народ и партия едины».

Напротив, свежо выглядят слоган-сентенции:

«Скучный политик – богатый народ».

Подтекст такой сентенции: политик должен делать свое дело, а не произносить громкие фразы. Эта мысль тоже достаточно известна, но здесь найдена новая форма. «Скучный» как положительное качество, конечно, привлекает внимание читателей. Подобные сентенции, однако, нехарактерны. Чаще всего в качестве слоганов выступают трехчленные конструкции типа «Свобода, равенство и братство», отражающие ключевые слова предвыборной программы. Например:

«Профессиональность, порядочность и здравый смысл».

Узкое место подобных конструкций – кочевание самих ключевых слов из слогана в слоган. Это особенно относится к слову «порядок» и производных от него, а также к словам «честь», «честность», «достоинство». Ведь подлинная сущность ключевых слов та же, что и у девизов, – позиционирование, обозначение политической программы. В этом смысле сходство таких слоганов производит странное впечатление, ведет к инфильтрованию, а то и компрометированию самих ключевых слов.

Реже в трехчленных конструкциях заложены причинно-следственные отношения, что сближает их с сентенциями, например:

«Здоровые дети – спокойные матери – сильная Россия».

Здесь присутствуют и сочинительные отношения (и дети, и матери, и Россия – приоритеты политической программы), и подчинительные: если дети здоровы, матери спокойны, а если спокойны матери, сильна Россия. Привлекательная сторона таких конструкций – градация, создающая впечатления каких-то конструктивных поэтапных действий: вырастим здоровых детей, успокоятся матери, укрепится Россия. Конечно, чем убедительнее логические переходы между членами градации, тем убедительнее и сам слоган.

Часто слоганы представляют собой прямые призывы, прежде всего призывы голосовать за данного кандидата или движение. Например:

«За объединение государственно-патриотических сил».

«Голосуйте за опыт!»

«Выбери своего защитника».

В последних двух случаях мы имеем дело с перифразическими призывами. Их смысл: «Голосуй за нашего кандидата, вы голосуете за опытного человека», «Выбирая нашего кандидата, вы выбираете собственного защитника». Это довольно распространенный прием. Его преимущество – введение в слоган мотивирующего компонента. Это позволяет также избежать упоминания в слогане имени кандидата. Имя, если оно недостаточно из-

вестно, утяжелит слоган и ослабит мотивирующий компонент. В одном отношении такой слоган сближается с газетным заголовком: у него есть интригующая функция. У реципиента возникает вопрос, в каком смысле он мой защитник, в чем его опыт. Поэтому такой слоган плохо смотрится отдельно от текста листовки, если только кандидат не широко известное лицо.

Близки к таким перифразическим призывам и слоганы-лозунги, например:

«Спасти и сохранить наших детей!»

Смысл лозунга не столько в призывае спасать детей, сколько в том, чтобы поддержать кандидата и тем самым спасти детей. Здесь интригующая функция выражена еще сильней. Естественный вопрос: причем тут дети? Это заставляет обратиться к другим материалам.

Встречаются слоганы-обещания, например:

«М. – в будущее продуманно, твердо, уверенно!»

«Мы вернем старости человеческое достоинство!»

Первый содержит имя кандидата и обещает продуманность, твердость и уверенность. Надо сказать, что продуманность и твердость, очевидно, относятся к власти, а уверенность к избирателям. Это делает сам слоган недостаточно продуманным, несмотря на зрячую твердость. Второй слоган – прямое обещание. В нем, на наш взгляд, не совсем уместно употреблена синекдоха «старость» вместо обычного «старики», «старые люди». Обещание становится настолько абстрактным, что переходит из плоскости актуальной политики в совершенно ненужную здесь плоскость нравственной философии.

Особо следует сказать о рифмованных лозунгах и об использовании в лозунгах стихотворных размеров, тем более что эти явления достаточно распространены. Вот примеры:

«Голосуй за земляка! Выбирай Гребенюка!»

«Богачам не проиграй – Борисенко выбирай!»

«Чтобы не рубить с плеча, Голосуй за Кузьмича!»

Безусловно, рифмованная речь хорошо запоминается, кажется более убедительной, но она таит и определенные опасности. Дело в том, что рифма, примененная в рекламных целях, имеет в России определенную традицию. Это традиция ярмарок, балаганов, трактирных вывесок. Это также связь с раешным стихом, а в конечном счете – со скоморошеством. Вот примеры, приводимые в сборнике «Меткое московское слово»:

«Брюки наши хорошие, люди – не хают, собаки – не лают, с них мадамы вздыхают».

«Пальто не угодно ли на шелку гагачьем, с шелухой рачьей».

Из каскада подобных присказок состоит известный памятник русской сатирической литературы XVII века «Роспись о приданим». Однако в городской незатейливой рекламе это встречается и сегодня:

*Если надо прокатиться,
Вам в Миледи обратиться,
Срочно мы представим Вам
Кадилак от строгих дам...*

Это в меру смешно, но по-своему трогательно, по-домашнему незатейливо, а главное, есть соответствующая традиция.

Иное дело – политическая реклама. Политика – дело серьезное, и совершенно не обязательно быть знатоком русской смеходвой культуры, чтобы рекламные стишкы вызвали шлейф нежелательных автору ассоциаций, ведь традиции этой культуры живы и воспроизводятся в наши дни так же, как и триста лет назад.

Особенно опасна рифма там, где кандидат недостаточно известен и не пользуется достаточным доверием. Ведь рифма «интимизирует» образ кандидата, приближает его к народу, показывает его настолько своим, что можно уже немного и пошутить. Там, где эта интимизация, эта «домашность» не подтверждается народной любовью, рифма выглядит заигрыванием с народом. Если кандидат уже «свой», рифма укрепит его позиции, но завоевывать их с помощью рифмы-дело опасное.

Многое зависит и от характера самих стихов.

«Леонтьев знает дело, голосуй за него смело!»

Здесь есть рифма, но не соблюден принятый в русском силлабо-тоническом стихе размер. Такой стих называется раешным и неизбежно отсылает нас к миру народной сатиры, к пушкинской «Сказке о попе и о работнике его балде», к «военным афоризмам» из Козьмы Пруткова. Такого, конечно, лучше не допускать. О том же кандидате и тоже не вполне удачно сказано:

*«Леонтьев слов на ветер не бросает,
он знает жизнь,
он дело знает!»*

Едва ли не худшее впечатление производит в политической листовке белый стих, когда соблюден традиционный для русского стиха стихотворный размер, но нет рифмы. Вот пример такого стиха.

*«Игорь Ковпак – человек дела
Он наш земляк;
он из большой семьи.
Все, что волнует нас,
ему небезразлично!»*

Вторая, третья, четвертая и пятая строки написаны ямбом, которым обычно изъясняются герои переводных драм. У Ильфа и Петрова этим размером объяснялся со своей женой комический персонаж Васисуалий Лоханкин. Случайное совпадение прозаического фрагмента с тем или иным стихотворным размером обычно воспринимается как недостаток и вызывает улыбку. Иное дело, конечно, ритмизованная проза.

Вообще, стихи деликатное дело, и лучше к ним в политической листовке не обращаться. Вот еще один пример:

*«Гартунг – наш герой!
Парень, в стороне не стой,
не будь равнодушен,
твой голос нужен!»*

Четверостишие начинается как раешный стих (ср.: «Пошел поп по базару посмотреть кой-какого товару»), а затем используется достаточно изысканная рифма «равнодушен – нужен».

Думается, что неудачные стихи и вообще неудачи в слоганах имеют своим источником отсутствие диалогизма. Автор «вбрасывает», как теперь любят говорить, свои слова в общественный дискурс, совершенно не интересуясь контекстом, традициями, возможными оппонентами. В его модель входят лишь определенные политические ожидания электората. Ни о чем больше не заботясь, он строит свой слоган, ориентируясь на подтверждение этих ожиданий. Но жизнь устроена сложнее.

§ 8. Анализ политического манифеста

Если листовка, биография, слоган и политическое имя представляют собой достаточно специфические жанры предвыборных кампаний, то развернутое политическое выступление в этом смысле неспецифично, хотя и интересно как элемент таких кампаний. Не будем предпосылать анализу развернутого выступления теоретических рассуждений (которые мало уместны именно в связи с упомянутой неспецифичностью), а перейдем непосредственно к предвыборным материалам.

Проанализируем для этого конкретный документ – «Манифест – обращение Российского движения политического центризма к гражданам страны» («Политический центризм – России (как выйти из кризиса)», М., 1999).

Манифест представляет собой четырнадцатистраничную брошюру, разбитую на следующие разделы:

Что происходит в стране.

Молчать и бездействовать уже нельзя.

Крайних левых и правых – в прошлое, в будущее – с политическим центризмом.

Заниматься делом!

Своей Программой мы ставим задачу нового курса реформ!

Поворот через выборы!

Кто с нами?

Наши лозунги

В этих восьми разделах разворачивается уже знакомый нам сюжет: сложная ситуация, облегченная ситуация, мотивирующий компонент. В роли слоганов выступают лозунги.

Сложная ситуация в чистом виде представлена в первом разделе. Главная мысль этого раздела выделена в трех внутритекстовых врезках (о врезке как о способе выдвижения см. выше). Первая:

«Недостаток профессионализма в управлении страной привел к серьезным диспропорциям и разрушительным результатам в экономике. Зато избыток коррупции и корыстности, подобострастия перед зарубежными советчиками, дефицит патриотизма, иностранщина в управлении страной проникли на самые верхние этажи».

Вторая:

«Можно уверенно говорить, что оздоровления в стране до сих не происходит».

И третья:

«Ситуация зашла так далеко, что вопрос о сохранении России как государства, вопрос о нашей способности сохранить и защитить Отечество становится реальным и основным».

Надо сказать, и с риторической точки зрения это вряд ли выигрышно, что в приведенных врезках еще не заложена идея об актуальности именно центристских позиций. Констатируется недостаток профессионализма, наличие коррупции и «дефицит патриотизма», затем градация ослабляется и говорится, что нам далеко до оздоровления, а затем – естественное завершение всякой сложной ситуации – утверждение о том, что дальше так жить невозможно.

Весь первый раздел – попытка эмоционально консолидироваться с читателем, для чего авторы программы перечисляют болезненные для него темы, но без продуманной проспекции. Правильнее было бы поступить прямо противоположным образом: вначале указать только на то, что вытекает из отсутствия политического центризма, а на другие вопросы, естественно возникающие у читателя, давать ответы уже в облегченной ситуации. Например, не упоминать о коррупции (читатель и так помнит о ней), а в каком-то месте текста, когда читатель будет готов сказать: все это хорошо, но что вы сделаете с коррупцией? – дать свой ответ на этот вопрос. Однако типичной для современного состояния политической риторики является именно тенденция с самого начала как можно полнее перечислить общественные язвы, что называется «через запятую», так что этот повторяющийся перечень в конце концов теряет эмоциональное содержание и способен вызвать у читателя только мрачное раздражение.

Во втором разделе авторы манифеста делают риторический ход, о котором уже говорилось выше:

«Мы принципиально не входим в хор кликуш и безответственных хулиганов, которые, ругая и критикуя действительность, сами предложить ничего не могут. В отличие от них, за нашим критическим взглядом на действительность следует конструктивный и деловой набор предложений, что и как сделать, чтобы отвести от России беду, чтобы улучшить жизнь большинства в нашей стране».

Понять эту оговорку можно, хотя читатель уже давно сыт критикой. К тому же оборот «принципиально не входим в хор кликуш и хулиганов» делает весь пассаж смешным. Выходит, что «хор кликуш и хулиганов» не эмоциональная оценка каких-то деятелей, а вполне реальный хор, в который можно входить или не входить по тем или иным соображениям, авторы, например, не входят в него по соображениям принципиальным. Вообще же подобные рассуждения напоминают распространенный в советское, да и постсоветское время случай, когда оратор заявлял: «Хватит

говорить, пора дело делать», при этом продолжая говорить. Естественная реакция: «Ну и делай дело! Ну и давай нам конструктивные предложения, а не обвиняй других, что они их не дают, не божись, что ты их дашь. Выкладывай, что у тебя за душой!» Воистину странно, что такая очевидная читательская реакция не приходит в голову людям, собирающимся кого-то убеждать!

Врезка второго раздела показывает нам, что мы еще не выбрались из описания сложной ситуации:

«Почему, уважая право каждого на выбор, на собственную позицию, мы не видим в России партий и движений, организаций, способных решить поставленную задачу?»

В третьем разделе наконец появляется рецепт – переход к облегченной ситуации. Правда, и здесь отдается дань сложной ситуации: показывается, в чем недостаток левых и правых, то есть делается то, с чего, на наш взгляд, следовало бы начать манифест. Врезки этого раздела:

«Необходимы новая политическая организация, новые лица, лидеры идеи, новая надежда».

«Политический центризм – вот та философия, которая нужна сегодня в России. Правым и левым больше предложить нечего!»

«Мы особо подчеркиваем идею политической ответственности и порядочности».

«Мы не хотим противостоять и воевать, мы хотим объединять и созидать. Мы готовы к союзу со всеми, кому близки наши цели и методы, подходы и действия»

Начиная с третьей врезки в облегченную ситуацию включается мотивирующий компонент. Главный упор здесь сделан на этическую аргументацию. Особенно сильной в этом отношении представляется четвертая врезка. Что касается третьей, то здесь авторы вынуждены были иметь дело с инфицированными словами, а кроме того, в соответствующей части текста они совершили ложный, на наш взгляд, ход:

«Мы знаем многих лидеров, руководителей и движения, которые в избирательных компаниях обещали и обещали, но, добравшись до поста, о своих обещаниях забыли».

Снова: все, как правило, обманывают, но мы исключение.

Следующая часть, озаглавленная «Заниматься делом!», содержит собственно манифест политического центризма, однако врезки этой части скорее размыают ее содержание, чем актуализируют. Вот они:

«Мы знаем, что делать, у нас есть конкретная программа действий»

«Высшие руководители СССР, России должны нести моральную, политическую и правовую ответственность. Ответственность за государственную измену, за геноцид собственного народа, за предательство и корысть должна наступить для тех, чья вина доказана. Мы задаем вопросы Горбачеву, Ельцину, Гайдару, Немцову, Черномырдину, Кириенко, Чубайсу, Лебедю, Зюганову по конкретным «судьбоносным» решениям в России, породившим или усугубившим ее тяжелейшие проблемы».

«Нужно уважать интересы и достоинства всех»

Отвлекаясь от стилистической грамотности (об этом ниже), обратим внимание на вторую врезку. Создается впечатление, что она включена в текст, чтобы пощекотать нервы читателя, потому что никакого отношения к сформулированным «базовым принципам» централизма она не имеет.

Следующая часть целиком посвящена мотивирующему компоненту. В ней сформулированы «10 мер нового курса в экономике». На взгляд рядового читателя, меры эти представляют собой пеструю смесь более или менее конкретных и совершенно абстрактных предложений, вроде «восстановить деньги в экономике страны». Врезки этого раздела:

«Мы готовы реализовать новый курс реформ, технологическая карта решений и действий по его претворению в жизнь у нас есть!»

«В решениях и действиях Российское движение политического центризма берет все позитивное, созидающее и прогрессивное из всех периодов прошлого, не страдая при этом идеологической зашоренностью».

«Мы готовы ответить и на вопрос и об общественно политическом строе, который предлагаем народу и стране. Он соединит все лучшее, что дали человечеству в своем историческом соревновании различные политические и социально-экономические уклады. Все, что дали человечеству общества и социалистического и капиталистического путей развития»

Все это пафосные обещания, которым, конечно, не место в части, посвященной мотивирующему компоненту, в части которой должна объяснять, а почему, собственно, этим обещаниям надо верить. В этом смысле особенно неудачной представляется последняя врезка. Ее суть: во всем есть что-то хорошее, так вот это как раз мы! При мало-мальски критическом взгляде на текст приведенная врезка звучит просто смешно.

В следующем пункте обосновывается решение самостоятельно участвовать в выборах в Думу. Здесь в наиболее конкретном виде произведен позишнинг, говорится об экономических приоритетах. Врезка этой части:

«Именно в промышленности рождается новое благо, создаются новые рабочие места, возникает зарплата людям и отчисления на пенсии. Отсюда налоги идут в бюджеты всех уровней и обеспечивают их расходную часть, обеспечивают социальную сферу, Вооруженные силы и флот, правоохрану, государственность, гуманитарные расходы на пожилых и молодежь, культуру и здоровье, науку и образование!»

В предпоследней части «Кто с нами?» говорится о политической и социальной базе движения. Врезки:

«Наše движение как политическая организация системной центристской позиции открыта к союзу, сотрудничеству, к формированию избирательного блока».

«Движение проводит в сентябре 1999 года объединительный блоковый предвыборный съезд. На нем будут объявлены списки кандидатов, руководителей блока, оформлен сам предвыборный блок».

Завершается все лозунгами-слоганами. Находкой авторов является характеристика каждого лозунга:

«Наш лозунг – убеждение: «Правда дороже денег!»

«Наш лозунг – платформа: «Патриотизм – свобода – труд!»

«Наш лозунг – наставление отцов и дедов: «Истина всегда посередине!»

«Наш лозунг – долг: «Сохраним Россию для будущих поколений!»

«Наш лозунг – план действий: «Новый курс – восстановление разрушенного – движение вперед!»

«Наш лозунг – намерение: «Мы идем во власть заниматься делом!»

«Наш лозунг – мотив: «Не за славой гонимся, важны результаты!»

«Наш парламентский лозунг – «Законы пишем для народа и всенародно!»

«Наш лозунг – призыв: «Не верь словам, верь делам!»

«Наш лозунг – избирателю: «Голосуй не за нас, голосуй за себя!»

«Наш лозунг – стране: «Россия, проснись, обрети достоинство!»

«Наш лозунг – улыбка: «Самый лучший в мире «изм» – политический центризм!»

Несмотря на авторскую классификацию лозунгов, без которой такое их скопление было бы наверняка оставлено без читательского внимания, в целом весь блок не оставляет яркого впечатления. Во-первых, за лозунгами не просматривается никакого реального позиционирования, во-вторых, сама идея объединить сентенции, близкие к пословицам, и собственно политические девизы вряд ли выигрышна. «Правда дороже денег», «Истина

всегда посередине», «Не верь словам, верь делам» – все это мало походит на политические лозунги. Рядом с этим почти паремиологическим материалом странно смотрятся обещания: «Мы идем во власть заниматься делом!» (Зачем здесь восклицательный знак? В чем здесь лозунговость?), «Не за славой гонимся, важны результаты!», «Законы пишем для народа и всенародно!» Разумеется, гораздо лучше было бы разбросать лозунги по тексту, выделив их графически.

Суммируя приведенные рассуждения, можно сказать, что основной риторический недостаток рассматриваемого манифеста – рыхлая композиция, неправильное использование врезок, повторение кочующих по политическим текстам утверждений о демагогии и бесчестности других при наличии конкретных (верьте слову!) предложений и честных (снова: верьте!) намерений авторов текста. Этот недостаток довольно типичен и вытекает из «пиаровского», а не риторического взгляда на читателя. Согласно этому взгляду, у читателя есть определенные ожидания и автор должен «отметиться», продемонстрировав, что он эти ожидания разделяет. При этом игнорируется человеческая цельность читателя, который мыслится авторами как кукла с несколькими нитками, за которые ее можно дергать, и целостность самой проблемы, которая вовсе не всегда и не во всем обязана быть изоморфной читательским ожиданиям. В обычной жизни, встретив девушку, мужчина не говорит ей: «Ты а) хочешь выйти замуж, б) встретить надежного и верного друга, в) найти человека, похожего на картинку, которая висит над твоей кроватью и т.п., и все это тебе обеспечу я». Реальная жизнь, интересней, драматичней, люди всегда открывают друг в друге что-то новое для себя. Риторическая концепция убеждения вырастает из реальной жизни, концепция «подтверди ожидания» вырастает из схематичного представления о жизни. Живой человек очень быстро понимает, в какую игру с ним играют. Уже сам факт того, что ему предлагают в точности то, что он ждет, у всякого нормального чело-

века вызывает насторожённость. Вообразите диалог: «Мне снилась красивая девушка» – «Это моя сестра, женитесь на ней!»

В отношении языка и стиля приведенный манифест тоже достаточно типичен. Его язык не выдерживает никакой критики. Вот, например, первые предложения текста:

«За последние годы изменилось многое. Появились свободы, возможность избирать, товары на полках, цена земле, хлебу, исчезли дефициты и очереди. Но на этом перечень успехов реформ завершается. Да и они носят условный характер, поскольку большая часть народа, обнищав, потеряла к ним доступ».

Ряд однородных членов во втором предложении представляет собой зевматическое построение вроде «шел дождь и два студента». *Свободы, возможность избирать, товары, цена земле, хлебу* – таков ряд однородных членов, зависимых от слова «появились»! Другой ряд: *исчезли дефициты и очереди*. Кстати, слова «свобода» и «дефицит» употребляются во множественном числе только в особых случаях, употребление их во множественном числе без зависимых слов лежит за пределами норм русского языка. Впрочем, эти свойства обусловлены тем, что оба существительных относятся к разряду абстрактных. В тексте же они очень легко сопрягаются с конкретными: сказать «исчезли дефициты и очереди» все равно, что сказать «пропали любви и подарки». «Возможность избирать» требует, конечно, продолжения: *избирать кого, что*. Без продолжения это выглядит, как знамение «Книга не представляет». Последнее предложение вовсе не понятно. Кто «они»? Успехи носят условный характер, и народ потерял доступ к успехам? Реформы носят условный характер, и народ потерял доступ к реформам? Или успехи носят условный характер, а народ потерял доступ к реформам. Неизвестно, но грамотных русских предложений ни в каком случае из этого набора не складывается.

Множество ошибок можно найти и в процитированных врезках и в заголовках разделов. Что значит «Крайних левых и пра-

вых – в прошлое, в будущее – с политическим центризмом!»? В норме в таких эллиптических конструкциях подразумевается одно и то же сказуемое. Но здесь общее сказуемое никак не подбирается, и всякий нормальный носитель русского языка споткнется об это предложение. Даже название всего текста «Политический центризм – России» небезупречно. Почему нельзя было пойти по проторенному русским языком пути и сказать: «России – политический центризм»? Какой смысл в инверсии? Ведь в инвертированном виде возникает нежелательная омонимия: «Политический центризм (чего?) России», вместо желательного: «Политический центризм (чему?) – России». Всего бы этого не было, если бы названием послужил обычный девиз «России (что?) – политический центризм».

§ 9. Анализ открытых писем

Подобно тому, как мы анализировали конкретный политический манифест, проанализируем два конкретных письма, имеющих диаметрально противоположную направленность. Однако в данном случае предпошлем нашему анализу общее рассуждение.

Речь пойдет о том, что и политическая листовка, и развернутое политическое обращение кандидата включает в себя наряду с обещанием и самооправдание. Оправдывая себя, кандидат отвечает на вопрос: «Зачем я иду во власть?» Очевидно, в нашей культуре существует некая презумпция виновности человека, идущего во власть. Недаром даже в Смутное время кандидатам на престол положено было сначала отказываться. В русской культуре вообще положено отказываться от властных обязанностей по крайней мере дважды и только на третий раз соглашаться как бы под давлением окружающих. Поэтому самореклама для нас нова и рискованна. Отсюда и оправдание.

Однако неумелое оправдание, превращенное именно в саморекламу и существующее в полном отрыве от реальных обвинений или угроз таких обвинений, сослужит, конечно, говорящему плохую службу. В свою очередь обвинения, пресловутые «потоки грязи» существуют словно на другой планете и не взаимодействуют с оправданием. Продемонстрируем, как это выглядит на конкретном примере.

Вот часть политической листовки, которая так и называется «Почему и зачем я иду в Государственную Думу?»:

«Отец с матерью, тандинские крестьяне, научили меня, что жизнь держится на трех опорах – это уважение труда и труженика, почитание родителей, забота о детях.

Отсюда и нравственность, и порядок и благополучие.

.....
Спросим себя: кто, если не мы сами, постоит за наше Отечество?

Я ответил для себя на этот вопрос. И поэтому, поддержаный мэрами наукоградов России, главами городов нашего округа, трудовыми коллективами и общественными организациями, взяв на себя ответственность за исполнение их наказов, избираюсь в Государственную Думу.

Зачем?

1. Гос. Дума нужна: именно она принимает законы, по которым живет общество. Сегодня Дума занята только собой. Выход один – вытеснить оттуда демагогов и воров, доверить власть профессионалам, уже имеющим результаты, одобренные людьми.

.....

Дальше следуют еще два пункта. Один кончается призывом: «Хватит грабить наши города!» Другой: «На этот раз уральцам нужен в Думе единый мощный голос!» Затем следует еще один патетический абзац. Всей листовке предписан эпиграф из Шукшина, начинающийся словами «Нравственность есть Правда».

Отвлечемся от тех стилистических недостатков текста, которые мы уже отмечали в связи с другими текстами (смесь пафоса с канцеляритом, нарушение грамматических норм: «уважение труда» и др.), и констатируем, что в этой листовке депутат публично объясняет мотивы своего решения баллотироваться в Думу: он, человек крестьянской морали, взял на себя ответственность посторять за Отечество в Думе, где сегодня не все ладно: должен же кто-то вытеснить воров и демагогов!

Но вот другая листовка, касающаяся этого же депутата. Ее заголовок: «*В Государственную Думу за депутатской неприкосненностью?*» Слоган в конце листовки: «*Такой мэр должен сидеть в тюрьме, а не в Думе*» (кандидат в депутаты занимал во время кампании должность мэра). В листовке тоже ставится вопрос, почему кандидат идет во власть, но дается уже совершенно другой ответ:

«Почему?

Данные проверки Контрольно-Ревизионного Управления Минфина....

Вот только некоторые факты хищений, злоупотребления служебным положением и нерационального использования бюджетных средств:

перерасход на оплату труда администрации 62,5 млн. рублей;

.....
36 млн. рублей заплачено за автомашину; автомашина отсутствует.

И это далеко не все!»

Под слоганом подписано: «*Продолжение следует*». Продолжением послужило открытое письмо жителей города Зареченска (около тысячи подписей), озаглавленное «*В Государственную Думу метит проворовавшийся мэр!!!*» Заканчивается письмо призывом: «*Мы призываем всех жителей Каменск-Уральского округа дать достойный отпор мэру-вору такому-то!*»

А вот на обратной стороне листовки самого кандидата приводятся краткие характеристики того же мэра, данные, в частности, благодарными жителями того же города Зареченска. Над этими характеристиками слова: «Живет такой парень». Среди рассказов и такой, который, на непредвзятый взгляд, представляется несколько грутескным:

«Как-то зимой в Заречном [кандидат] со своим комсомольским оперативным отрядом устроил нам, местным хулиганам, натуральное ледовое побоище. Отделали по первое число, связали.

А через несколько лет я его встретил, говорю: спасибо [такой-то, по отчеству] мало ты еще нас воспитывал. Теперь у меня все в порядке – семья, дети, работа. А ведь могло быть по-другому».

Конечно, обвинительные и оправдательные речи всегда дают разные интерпретации одним и тем же фактам, а также приводят разные факты, но ведь не могут же они существовать в абсолютно разном пространстве? Должны же они как-то учитывать друг друга? Каждая сторона вольна приводить свои факты. Факты – это доводы в аргументации. Но должно же быть какое-то общее фактическое ядро? Здесь таким ядром являются только имя, отчество, фамилия и занимаемая должность. То, что стороны не слушают друг друга, делает риторику избыточной, превращает ее в ненужный ритуал, если не в фарс. Не оттого ли и стилистическая небрежность и гиперболизированные хвалы и хулы? Не оттого ли весь спектр политического красноречия предвыборных кампаний сводится к неловким панегирикам и столь же неловким филиппикам? В результате «мастера» такой риторики «совершенствуются» в словесной безответственности: кто больше зачерпнет розовой или черной краски.

Проанализируем теперь еще два реальных документа: открытое письмо-обращение действующего губернатора В. А. С. и открытое же письмо кандидата на пост губернатора В. В. С. той же области. Приведем оба документа полностью.

МЫ ВМЕСТЕ ПОДНЯЛИ ОБЛАСТЬ С КОЛЕН!

(Обращение В. А. С. к избирателям области)

Дорогие земляки!

На 8 апреля назначены выборы губернатора Тульской области. В этот день всем нам предстоит сделать нелегкий выбор, который во многом определит характер региональной власти, пути развития области на ближайшие четыре года, а в конечном итоге – будущее наших детей и внуков. Каким будет этот выбор, решать вам. Но знаю твердо: народ не может ошибиться.

Не жаждой власти, не карьерными устремлениями, не пустым тщеславием и честолюбивыми устремлениями обусловлено мое решение баллотироваться на должность губернатора на второй срок. Моя жизнь сложилась, и с высоты своих лет и в нелегких трудах приобретенного опыта я ощущаю это не просто своей обязанностью, а, если хотите, долгом.

Я должен помочь тем людям, которым по разным причинам не смог или просто не успел помочь за прошедшие четыре года. Это и наши ветераны, чей ратный подвиг и самоотверженный труд в последние годы были бессовестно забыты властью. Это и медики, работники образования, сотрудники правоохранительных органов – люди, делающие большое дело государственной важности и не получающие за него ни всеобщего уважения, ни достойного вознаграждения. Это и рабочие, специалисты промышленных предприятий, многие из которых не находят достойного применения своим талантам и усердию и потому не в состоянии достойно содержать свои семьи. И, конечно, это наши крестьяне, исстари считавшиеся на Руси кормильцами, а сегодня по сути обреченные на вымирание из-за того, что не по своей вине оказались в самой настоящей долговой яме.

Я, не сомневаясь, отказался бы от предвыборной борьбы, если бы был уверен, что появился достойный кандидат, способный решить все проблемы области, помочь людям сделать жизнь благополучной и безопасной.

Но, к сожалению, в последнее время в нашей стране кандидатов на высокие должности зачастую выбирают не по их уму, чести, достоинству, жизненному и профессиональному опыту а по толщине принадлежащего им кошелька, содержимое которого нередко бывает весьма сомнительного происхождения.

Я не раз говорил, что считаю непомерные траты на выборы пустыми и бесполезными. Предпочитаю агитировать добрыми делами. Реальной работой и ее конкретными результатами.

Поэтому сегодня хотел бы обратиться ко всем, кто так или иначе причастен к предвыборной кампании – журналистам, партийным и общественным деятелям и, в первую очередь, к своим соперникам. Если у вас в предвыборный период появится реальная возможность помочь области, ее жителям и вы эту возможность успешно реализуете; если вы сумеете раскрыть какое-то вопиющее нарушение законности и способствовать его устранению, – честь вам и хвала. Но если весь предвыборный "пар" уйдет в агитационно-пропагандистский свисток, поверьте, будет по-человечески обидно.

Понимаю, что главной мишенью предвыборной критики будет действующий губернатор. Не каждый сможет удержаться от искушения – очернить все сделанное чужими руками. При этом упорно не замечая многое хорошего и нужного людям, зато смакуя упущения, недоработки и ошибки нынешней администрации. Да, были и упущения, и недоработки, и ошибки. Но кто из потенциальных критиков нес на своих плечах груз, подобный губернаторскому? Кто вообще в своей жизни обошелся без ошибок и упущений? Думаю, среди действующих руководителей любого ранга и уровня таких людей нет и быть не может. Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Поэтому сегодня я обращаюсь ко всем участникам губернаторской кампании: агитируйте, доказывайте преимущества своей политической и экономической программы, пропагандируйте свои методы руководства, предлагайте новые возможно-

сти и пути развития области. Помогайте людям. Дайте им возможность увидеть свет в конце тоннеля. Но не прибегайте к грязным методам ведения предвыборной борьбы. Откажитесь от клеветы и войны компроматов.

Надеюсь на то, что жесткая конкуренция и навязываемые нынче "специалистами" черных пиаровских технологий изощренные методы ведения предвыборных кампаний не заставят вас поступиться собственными честью и достоинством. А честь и достоинство плохо уживаются с неуважением к соперникам.

Желаю всем тех результатов предстоящих выборов, которых вы будете достойны.

Всего вам доброго!

*Открытое письмо С. В. А. от кандидата
в губернаторы Тульской области С. В. В.*

Как руководитель крупного промышленного предприятия, депутат областной Думы и патриот Тульского края я предлагал Вам, В. А., конкретные шаги по изменению ситуации в экономике области, развитию промышленности и социальной сферы. Все попытки добиться от Вас принятия ответственных решений оказались тщетными.

Экономика области находится в кризисном состоянии.

На предприятиях не обновляется оборудование и технологии, в аварийном состоянии коммунальное хозяйство, село влачит жалкое существование. Треть населения имеет доходы ниже прожиточного минимума. За год стоимость минимального набора продуктов питания в Тульской области выросла на 11 процентов. Такого позора больше нет нигде в России, и во многом это объясняется тем, что Вы не понимаете современных законов экономики.

Мне, как производственнику и экономисту, ясно – надо менять экономическую политику. Бесконечные кредиты, которые Вы берете у коммерческих банков обернутся трагедией для жителей области. Расплачиваться по Вашим долгам будут наши дети. Необходимо по-настоящему заняться хозяйством. Только сильная промышленность станет надежным источником улучшения жизни людей, как в городе, так и на селе.

Четыре года экспериментов на нашей земле обескровили экономику. То, что не удалось сделать людям, развалившим Союз, доверили Вы, тот, кто выдает себя за народного заступника. На Вашей совести – кукурузный, нефтяной, спиртовой проекты. Растрячены средства, которые нужно было направить на доплаты к пенсиям и зарплаты бюджетникам. Каждый ощущал это на себе.

Пока Вы занимаете пост губернатора, никто не рискнет вкладывать деньги в местную экономику. Ваша политика стала тормозом для развития всей области. Вы этого не понимаете, ваше окружение Вам этого никогда не скажет. Пожалейте людей, В. А., не мешайте движению вперед.

Ваш уход с поста губернатора – это единственная возможность навести порядок в области.

Вместо слов пора начать реально заботиться о людях. Всем нужна работа, хорошая зарплата, социальные гарантии, а не Ваши обещания.

В основе народного богатства лежит труд людей. Его надо организовать. У Вас это не получается. Весь предыдущий опыт Вашего правления это наглядно продемонстрировал.

Вы, В. А., многое обещали, но ничего не выполнили. У нас не появилось жилищного кредитования, не уменьшились преступность и наркомания, не сократился штат чиновников.

Мы надеялись, что в случае Вашего избрания улучшится жизнь, но мы обманулись. Пенсионеры, инвалиды, бюджетники, малообеспеченные граждане становятся объектом Вашего внимания только в период выборов.

Ответственно заявляю – для того, чтобы поставить на ноги экономику Тульской области, сегодня необходимо не менее 30 миллиардов рублей. На посту губернатора должен быть человек, способный привести деньги в регион.

Понимаю, что Вы устали. Устарели Ваши знания, у Вас нет команды. Вы не способны управлять областью. Новое время требует новых руководителей: знающих, опытных, энергичных, готовых работать для людей.

Как руководитель крупного промышленного предприятия, депутат областной Думы и патриот Тульского края я предлагал Вам, В. А., конкретные шаги по изменению ситуации в экономике области, развитию промышленности и социальной сферы. Все попытки добиться от Вас принятия ответственных решений оказались тщетными.

Из всех видов аргументации автор первого письма выбрал одну – доводы к этосу, а именно доводы к отвержению. Он призывает голосовать за себя, играя на том, что отрицается, отвергается избирателями как этически неприемлемое: «жажда власти», «карьерные устремления», «пустое тщеславие», «честолюбивые устремления», выбор кандидатов на высокие должности «не по их уму, чести, достоинству, жизненному и профессиональному опыту, а по толщине принадлежащего им кошелька, содержимое которого нередко бывает весьма сомнительного происхождения». Не забывает он и отреститься от черных пиаровских технологий.

Этосной аргументацией продиктован патетический тон, создающий впечатление, что речь идет не об области, а по крайней мере о стране и не о выборах, а по крайней мере об освободительной войне: «Мы вместе подняли область с колен!», «нелегкий выбор» (об очередных выборах губернатора). Все это, конечно, создает впечатление высокой изысканности, а в сочетании с неизбежным канцеляритом порождает смешение стиля.

Активно используя этосную аргументацию, автор ставит себя в положение правдолюбца, несоразмерное с образом представи-

теля действующей власти. Выше уже отмечалась, насколько фигура правдолюбца проработана в нашей культуре, какими авторитетами освящена, каких жертв требует от того, кто претендует на это звание. Заигрывать с этой неподъемной для большинства обычных людей ролью довольно рискованно и уж совсем невыигрышно для действующего губернатора, «не корысти ради», а исключительно из человеколюбия идущего на второй срок. В конечном счете это подрывает достоинство самого говорящего, заставляет подозревать его в том, в чем он, быть может, не виноват.

Для предвыборных материалов вообще довольно типична ситуация, когда автор, не умея позиционировать себя, насилия казенные штампы, пытается подольститься к народу на почве нелюбви ко всякого рода безобразиям. В разбираемом документе особенно слаб абзац «Я должен помочь тем людям...» Люди эти (здесь должна быть аргументация к пафосу) вспоминаются по административно-учетному признаку с привлечением наиболее одиозных, навязших в зубах, заведомо фальшивых штампов: «ветераны, чей ратный подвиг и самоотверженный труд в последние годы были бессовестно забыты властью» (хочется спросить, а вы разве не из власти?), «медики, работники образования, сотрудники правоохранительных органов» («сотрудники», «работники» рядом с «ратным подвигом!»), «наши крестьяне, исстари считавшиеся на Руси кормильцами, а сегодня по сути обреченные на вымирание из-за того, что не по своей вине оказались в самой настоящей долговой яме» («исстари», «на Руси», «долговая яма» после «работников» и «сотрудников»). Вообще этот абзац не отличается силой аргументации, потому что остается непонятным, почему губернатор раньше не помог этим людям, почему выбирает именно их? Потому что этого ждут избиратели?

Заканчивается письмо отведением предполагаемых обвинений, правда, сделанном относительно неплохо.

В отношении культуры речи документ также не безупречен.

В первом абзаце неуместен трехкратный повтор слова «выбор». Если повтор – фигура речи, он должен быть оправдан и усилен, если нет, то к слову «выборы» следует подобрать синонимы.

Во втором абзаце то же с «устремлениями». Странно выглядит словосочетание «в трудах опыта». Вместо того, чтобы сказать «дело большой государственной важности», сказано «большое дело государственной важности». Это что – гипаллага (намеренный перенос эпитета) или небрежность? Небрежностей вообще очень много: «...и не получающие за него ни всеобщего уважения, ни достойного вознаграждения» (уважение зарабатывают, а не получают). В этом же абзаце – синтаксическая двусмысленность: «Это и рабочие, специалисты промышленных предприятий, многие из которых не находят должного применения своим талантам...» Предприятия не находят?

Неоправданными выглядят парцелляции (разрывы предложения): «Предпочитаю агитировать добрыми делами. Реальной работой и ее конкретными результатами» (Зачем точка после «делами»?); «Не каждый сможет удержаться от искушения – очертить все, сделанное чужими руками. При этом упорно не замечая многоного хорошего и нужного людям...» (Зачем точка перед «при этом»?) и др.

В предложении «Желаю всем тех результатов предстоящих выборов, которых вы будете достойны» следовало написать «Желаю вам...».

Нельзя начинать новый абзац со слова «поэтому». Это нарушает естественную импликативную связь и свидетельствует о вязком и нечетком мышлении автора.

Кроме всего уже названного, в небольшом тексте три пунктуационные ошибки.

Теперь об открытом письме оппонента.

Здесь аргументация построена на доводах к пафосу (в данном случае – к угрозе) и в незначительной степени к логосу. Смысл: не выбирайте прежнего губернатора – будете плохо жить. К этому прибавляются какие-то путаные логические рассуждения о

законах экономики. Позитивных утверждений нет и здесь. Другого вида доводов к пафосу (обещаний) нет. Не совсем понятно, что надо делать, чтобы исправить положение дел в области. И вообще, ни о каком прояснении в умах и сердцах избирателей после прочтения письма говорить не приходится. Выбрав аргументацию к пафосу, автор просто обязан быть более эмоциональным и не путаться в безликих штампах. При установке на аргументацию к пафосу не может быть таких фраз, как «Пенсионеры, инвалиды, бюджетники, малообеспеченные граждане становятся объектом Вашего внимания только в период выборов».

С культурой речи и здесь не все благополучно.

В обращении много стилистических небрежностей: «шаги по изменению ситуации в экономике области, развитию промышленности» (можно «предпринять шаги для достижения изменений...», «сделать шаги для...»). Расплачиваться можно лишь за долги, а не по долгам, по долгам можно платить. Смешение стилей: «На предприятиях не обновляются оборудование и технология, в аварийном состоянии коммунальное хозяйство, село влечит жалкое существование» (Что за высокородные после конкретики?!). «Ваша политика стала тормозом для развития всей области». «Тормозом для»? Неужели губернатор искал механизмы, позволяющие затормозить развитие области?

Имеются и пунктуационные ошибки, в том числе одна грубая.

Все это мелкие небрежности, но зачем они в агитационном письме? Вообще, стиль мог бы быть гораздо более энергичным, если бы автор обратил внимание хотя бы на порядок слов.

Проанализированные здесь недостатки – отсутствие диалогизма, однобокая и неумелая аргументация, несоответствие языка характеру аргументов, смешение стилей – отнюдь не специфичны именно для данных текстов. Напротив, они типичны для предвыборных кампаний и наводят на мысль о причинах более глубоких, чем небрежность. Очевидно, мы имеем дело с уклонением от риторической концепции убеждающей речи в сторону концепции «поддакивания».

Глава 2. Правильность политической речи

Как уже было сказано, владение правильностью речи относится к дориторическому уровню речевой культуры. Однако анализ конкретной политической речи наводит на мысль о том, что читателю этой книги было бы интересно узнать об основном круге проблем, охватывающих понятие «правильность речи», о том, какие дисциплины ее изучают и какова учебно-справочная литература, позволяющая работать над речью в этом направлении. Этому и посвящена настоящая глава.

§ 1. Литературный язык

Определение литературного языка. Диалект. Жаргон. Просторечие

Центральными понятиями этого раздела являются понятия литературного языка и нормы.

Литературный язык – не следует отождествлять его с языком художественной литературы – определяется как «*форма исторического существования национального языка, принимаемая его носителями за образцовую; исторически сложившаяся система общеупотребительных языковых элементов, речевых средств, прошедших длительную культурную обработку в текстах (письменных и устных) авторитетных мастеров слова, в устном общении образованных носителей национального языка*

²».

Такое определение дано в энциклопедии «Русский язык». Выделим в нем два момента: во-первых, то, что сами носители считают его образцовым, во-вторых, то, что он сложился как обработанная форма языка. Первое ставит литературный язык в выделенную позицию в отношении нормы. Второе – в выделенную

² Ю. А. Бельчиков *Литературный язык // Русский язык. Энциклопедия*, М., 1998, с. 221.

позицию в отношении возможностей передавать сложные смысловые и стилистические нюансы. Именно в этом и состоит обработанность литературного языка.

Приведенное определение вызывает вопрос о других формах национального языка. Итак, что же не входит в литературный язык?

На этот вопрос можно ответить так: диалекты (в широком смысле слова) и просторечие.

Диалект в широком смысле слова – «разновидность языка, являющаяся средством общения коллектива, объединенного территориально или социально, в частности профессионально»³

Территориальные диалекты (или диалекты в узком смысле слова) – это говоры определенных мест. Их носителями выступают прежде всего жители деревень. До бурного развития средств массовой информации основным фактором, ведущим к сокращению диалектной базы, была служба в армии, вследствие чего диалектные особенности лучше сохранялись в речи женщин. С развитием средств массовой информации, особенно телевидения, диалектная база существенно сократилась. Это не означает автоматически перехода носителей диалектов к литературной форме языка, но это, безусловно, означает сглаживание диалектных различий.

Более низкий в сравнении с литературным языком рейтинг территориальных диалектов вовсе не означает, что они не могут быть использованы в художественных или риторических целях. Художественная литература широко использует диалектизмы (диалектные слова или диалектные формы, диалектное произножение) для создания местного колорита и для речевой характеристики персонажей. Оратор же может использовать местные диалектные особенности для демонстрации «местного патриотизма», в отдельных случаях для того, чтобы его лучше поняли. Следует, однако, помнить, что сами носители диалектов не воспринимают

свою речь как образцовую, считают ее «простой», «деревенской». И все же надо иметь в виду рассуждение: «Раз говорит по нашему, значит, свой».

Социальные диалекты иначе называются жаргонами (в последнее время также сленгом). Это могут быть и диалекты профессиональных групп (горняков, моряков), и молодежный жаргон, а также воровской жаргон, развившийся из особого тайного языка.

Жаргоны тоже активно используются в художественных и риторических целях. В художественной литературе жаргон – это средство создания социального колорита и способ дать социальную характеристику персонажа через его речь. В риторике жаргон – это и способ сближения с аудиторией, и способ создания комического эффекта, в частности, в целях снижения образа оппонента.

В последнее время воровской язык и молодежный жаргон широко проникли в публистику. Многие слова этих жаргонов стремительно утрачивают свою диалектную окраску и находятся на стадии перехода в литературный язык. Таковы слова «беспредел», «разборка», «наезжать» и некоторые другие. Для оратора главное – чувствовать степень литературности слова. Чувствуя эту степень, он может решить стоит или не стоит включать в речь те или иные жаргонизмы. Конечно, это решение может быть ошибочным: он может пересолить, перенасытить свою речь словами нелiterатурного языка, может, напротив, говорить слишком пресно. Но одно дело – ошибочно оценить ситуацию, а другое – не знать норм литературного языка самому, не чувствовать, где кончается литературный язык, а где начинается жаргон или территориальный диалект.

В отличие от жаргона просторечие не связано с определенным местом или социальной группой.

Его определяют как «социально обусловленную разновидность национального русского языка, в которой реализуются средства, находящиеся за пределами литературной нормы»⁴ (А. Ф. Журавлев, с. 390).

³ Н.Н. Пшеничная Диалект // Русский язык... с. 112.

⁴ А.Ф. Журавлев Просторечие // Русский язык... с. 391.

Как видим, в определении не уточняется, что это за разновидность, а говорится лишь о ее социальной обусловленности.

Просторечие объединяет в себя всевозможные отклонения от литературной формы речи, вызванные недостаточностью языковой культуры. В прошлом просторечие подпитывалось носителями территориальных диалектов, которые, переселившись в город, утрачивали связь с родным диалектом, но недостаточно овладевали и нормами литературного языка. Такие люди легко могли перенять черты других диалектов. В настоящее время просторечие формируется в основном за счет «обломков» разных жаргонов. Сегодня в нем отчетливо выделяется пласт старых средств, которыми пользуются в основном пожилые люди, таких, как «туды», «хочут», «бежат», и новых элементов, таких, как «верняк», «втихаря», «кидалово», которыми широко пользуется молодежь.

К просторечию относят также грубую лексику, остающуюся за пределами литературного языка из-за табуированности или нежелательности. В литературном языке таким словам соответствуют эвфемизмы, то есть их смягченные синонимы. В последнее время эта лексика стала часто звучать в публичном пространстве. Ее можно встретить в письменных формах речи. Конечно, употребление такой лексики – яркая речевая характеристика говорящего, характеристика, в громадном большинстве случаев складывающаяся не в его пользу.

Говоря о словах, приведенных в словарях с пометкой «грубо» или «грубо-просторечное», не надо забывать, что реальная грубость просторечия не сводится только к этим бранным словам, а тем более к словам нецензурным, отсутствующим в обычных словарях. Грубость просторечия заключается в том, что оно не способно адекватно передавать нюансы смыслов. В языке всегда существует много вариантов для высказывания одной и той же мысли. В литературном языке в силу его обработанности за каждым вариантом стоит оттенок смысла или тонкий стилевой нюанс. «Выпить чай» и «выпить чаю» – разные вещи, и эта их

разность зафиксирована в языке и подтверждена многочисленными примерами из художественной литературы. А вот просторечные слова «похрявать» и «потрамзать» различаются в значении только ситуативно, интонационно. Это различие нигде не зафиксировано, и у говорящего не может быть уверенности, что слушатель поймет его именно так, как он хотел.

Грубость нелитературных форм языка, их низкая различающая способность – вот естественное препятствие для проникновение этих форм в риторику. Желание быть демократичным, говорить на одном языке с аудиторией – вот основные стимулы для включения этих форм в риторическую практику. Дополнительный мотив для введения таких форм в речь – создание комического эффекта.

Из всего сказанного здесь следует один вывод: для того, чтобы правильно пользоваться различиями литературных и нелитературных форм, надо хорошо чувствовать, где эти различия проходят.

§ 2. Норма литературного языка

Норма. Варианты. Источники нормы

Принятое в литературном языке употребление языковых средств называется нормой литературного языка.

Наличие нормы предполагает выбор из какого-то числа вариантов. Языковая система, следовательно, шире нормы. Ничто не мешает говорящему по-русски произнести слово «километр» с ударением на «о» по аналогии со словами «спидометр», «барометр» (которые, однако, обозначают не единицу измерения, а прибор). Многие люди так и произносят это слово. Теоретически возможно и ударение на первом слоге, хотя в узусе (реальном употреблении) такое ударение не встречается. А вот вариант с ударением на последнем слоге является нормой. Еще ясней зазор

между языковой системой и нормой проявляется в грамматике. Система языка позволяет образовать от слова «курица» родительный падеж множественного числа «курей» (по аналогии с «голубей») и даже «куров» (по аналогии с «буров» от «бур»), но нормой является только форма «кур». За пределами системы русского языка как такового находятся варианты, опирающиеся на нерусские показатели числа, например, английское «-с» как показатель множественного числа. Невозможно «курс» вместо «кур».

Таким образом, есть система, за пределы которой человек, говорящий на русском языке как на родном, никогда не выходит. Но система внутри себя оставляет возможность выбора из двух-трех (иногда и больше) вариантов. Литературный язык отличается от нелитературного тем, что он либо закрепляет один из вариантов как норму, а другие отвергает («кур» можно, а «курей» нельзя), либо закрепляет за каждым из вариантов разный смысл или стилистический оттенок. Можно «выпить все молоко», но можно «выпить немного молока» (выбор между падежами обусловлен смысловым различием), но нельзя «выпить молоку». Это уже за пределами нормы.

В некоторых случаях, когда происходит изменение, обновление нормы, в пределах литературного языка остаются два варианта. Например, в слове «творог» можно сделать ударение и на первом, и на втором слоге. Однако равнозначные варианты обычно не удерживаются в литературном языке, один вариант остается нейтральным, а другой приобретает какой-либо стилевой оттенок, например, оттенок архаичности. Например, «учителя» нейтрально, а «учители» архаично.

Термином «норма» обозначают и сам правильный вариант, и совокупность правил, определяющих выбор варианта. Норма современного русского литературного языка кодифицирована в словарях, справочниках и грамматиках.

Необходимо отметить, что литературный язык имеет не только письменную, но и устную форму. У многих людей языковые

нормы ассоциируются только с орфографией, что вполне понятно, ибо на этом делает акцент школа. Акцент этот вполне оправдан, так как именно правописание допускает наибольшее число вариантов. Но норма – это и выбор правильной грамматической формы (что необходимо соблюдать и в устной, и в письменной речи), и выбор правильного ударения (что свойственно именно устной речи). Другая распространенная ошибка – это отождествление литературного языка с книжным. В действительности нормы литературного языка распространяются не только на тех, кто пишет книги, не только на официальное общение. Для развитых обществ характерно утверждение норм литературного языка и в устной форме речи, в том числе и в обстановке неофициального общения, дома, в кругу друзей.

Откуда берется норма? Главным нормозадающим механизмом выступает художественная литература. Национальные писатели, обладая повышенным чувством языка, создают прецеденты красивых словоупотреблений. Возникает желание подражать им. Начинается консолидация нормы. У истоков русского, английского, итальянского, любого другого литературного языка стоят авторы, создавшие на этих языках литературные произведения, вошедшие в историю этих языков.

Современный русский литературный язык начал формироваться в петровскую эпоху, когда обозначились такие проблемы, как преодоление двуязычия (на церковнославянском языке велось богослужение и была обширная литература, на русском говорили в быту и вели дела; существовали тексты, испытавшие влияние обоих этих языков) и освоение большого числа заимствований, связанных с обозначением новых реалий, с развитием языка науки и государственного строительства. Следующий период формирования русского литературного языка называют ломоносовским, отмечая этим заслуги М. В. Ломоносова в решении только что обозначившихся проблем. Затем следует карамзинский этап, названный так по имени Н. М. Карамзина, стремившегося сбли-

зить устный и письменный язык и преодолеть тяжеловесность последнего. Наконец, под пером Пушкина сформировался современный русский литературный язык. Пушкинский период считается завершающим, и современный русский язык определяют как язык «от Пушкина до наших дней». Конечно, со временем Пушкина многое утекло, многие формы тогдашнего языка воспринимаются как архаичные, многое ушло из нормы литературного языка, многое, естественно, появилось. Но коренных изменений, соизмеримых с процессами, протекающими, скажем, в восемнадцатом веке, не произошло.

Другим нормозадающим механизмом является сословная иерархия общества. Люди стараются говорить как представители высших сословий, тянутся к их языковым нормам, обычно эстетизированным не только в письменных текстах, но и в устных этикетных формах.

Известную роль играет и престиж образования, уважение к книжности, к культурным людям, в последние сто лет – к науке.

Когда норма складывается, лингвисты кодифицируют ее, разбирая спорные случаи. Фиксация в норме живых языковых процессов всегда вызывает научные споры, в которых иногда участвует и общественность.

§ 3. Орфография

Орфографией называется наука о правописании, а также система правил, регулирующих правописание, и сама система исторических форм написания – русская орфография. Главная задача русского языка как школьного предмета – это заложить основы орфографии.

На первый взгляд, совокупность правил русской орфографии выглядит как хаотический набор всевозможных исключений, но

на самом деле в основе орфографии лежат определенные принципы, направленные на координацию написания и произнесения слов. Перечислим их, ибо это дает определенный ключ к пониманию орфографии, к пониманию ее духа. Назвав их, нам останется лишь отослать читателя к соответствующим справочникам.

Итак, основной принцип русской орфографии – морфологический. Он состоит в том, что одна и та же морфема (то есть корень, приставка или суффикс) пишется одинаково независимо от того, как она слышится в данном слове или в данной форме слова. Нет смысла писать «галава», если во множественном числе мы ясно слышим «головы». Логично слова с одним корнем (тем более формы одного слова) писать одинаково. Нет смысла и писать «потфарник» вместо «подфарник», потому что в других словах та же самая приставка ясно звучит как «под-» («поджог») и есть предлог «под».

Однако вся орфография к морфологическому принципу не сводится.

Фонетический принцип орфографии диаметрально противоположен морфологическому. Он может быть сформулирован так: «Как слышится, так и пишется». В качестве ведущего он был бы неадекватен, но в отдельных случаях оправдан функционально. Например, в написании *разыскивать* мы не сохраняем единообразное начертание корня (ср. *искать*). Всякому говорящему по-русски и так ясно, что слова не начинаются со звука *ы*, а написание «*подыскивать*» могло бы лишь неблаготворно повлиять на само произношение.

Есть случаи, когда морфологический принцип невозможно соблюсти из-за того, что ни в одной форме слова морфема не слышится ясно. Мы не можем, например, подобрать проверочное слово для существительного «балда», и у нас столько же причин писать его через «о», сколько и через «а». С другой стороны, чередования звуков могут создать такое положение дел, когда в родственных словах ясно слышатся два различных звука: «заре-

во» и «зорька». В таких случаях действует традиционный принцип орфографии, состоящий в том, что данное написание узаконено просто на основе традиции.

Иногда с помощью написания достигается различие смысла слов или их грамматических значений. Например, «презреть» (выказать презрение) и «призвать» (приютить) илиходить (инфinitив) и «ходит» (третье лицо). Этот принцип орфографии называется дифференцирующим.

Особый (лексико-сintаксический) принцип используется при определении слитного или раздельного написания (здесь учитывается значение слова, а также его синтаксическая функция).

При выборе прописной или строчной буквы используется семантический (смысловой) принцип.

Нормы орфографии зафиксированы в орфографических словарях. Существует четыре типа таких словарей: школьные, словари-справочники для работников радио и печати, общие и отраслевые. Самый известный из школьных словарей *«Орфографический словарь» Д. Н. Ушакова*, выдержавший сорок одно издание.

Из словарей-справочников назовем *«Справочник по орфографии и пунктуации для работников печати» К. И. Былинского и Н. Н. Никольского* (последнее издание 1970 г.).

Общих словарей существует множество. Среди них есть словари, специально посвященные отдельным вопросам орфографии, например, слитному и раздельному написанию слов. Наиболее авторитетным является *«Орфографический словарь русского языка», изданный Институтом языкоизучения АН СССР* (последнее издание вышло в 1991 г.).

Отраслевые словари фиксируют правописание слов, относящихся к определенной отрасли знания.

Полный свод орфографических и пунктуационных правил дан в *«Правилах русской орфографии и пунктуации»* (М., 1956).

В заключение стоит сказать, что при наборе текста на компьютере не следует слишком полагаться на текстовый редактор. Он способен отсеять только те буквосочетания, которые невозможны ни в какой словоформе. Не следует слишком доверять и печатной продукции, особенно современной. Полагаться можно только на словари и справочники.

§ 4. Пунктуация

Энциклопедия «Русский язык» дает следующее определение пунктуации:

«1) Система внеалфавитных графических средств, главным образом знаков препинания, образующих – вместе с графикой и орфографией – основные средства письменного (печатного) языка. 2) Нормы и правила употребления знаков препинания, исторически сложившиеся в русской письменности. 3) Раздел языкоизучения, изучающий закономерности системы пунктуации и функционирования знаков препинания»⁵.

Нас будет интересовать второе значение термина. Надо сказать, что нормы и правила, регламентирующие постановку знаков препинания, гораздо прозрачней, чем орфографические нормы. Главная функция, которую они выполняют, – облегчение понимания текста. Известно, что отсутствие знаков препинания или их неправильная расстановка порождают синтаксическую омонимию. Известный пример: в словосочетании «статую золотую чашу несущую» ценность статуи определяется местом запятой: «статую, золотую чашу несущую» или «статую золотую, чашу несущую». С риторической точки зрения, знаки препинания являются своеобразным первичным выдвижением. Отличие от настоящего выдвижения (например, с помощью подчеркивания или курсива) состоит в том, что знаки препинания нормативны, а выдвижение целиком зависит от воли автора.

⁵ Б.С. Шварцкопф Пунктуация //Русский язык... с. 401.

Функции, выполняемые знаками препинания, немногочисленны: они либо отделяют одну синтаксическую структуру от другой, либо обозначают внешнюю границу синтаксической структуры, либо выделяют одну структуру внутри другой. Примером первого может служить запятая между однородными членами, примером второго – точка в конце предложения, а третьего – обособление причастного оборота. Сложности в постановке знаков препинания возникают из-за неясности грамматической структуры предложения для самого пишущего. Например, вводные слова не являются членами предложения и обособляются с двух сторон, но те же самые лексические единицы могут и являться членами предложения, и тогда они не обособляются. В предложении «Наконец он пришел» слово «наконец» относится к описываемой действительности. Его ждали, и вот он пришел. А в предложении «Наконец, рассмотрим последний вопрос» слово «наконец» относится к порядку изложения мысли. Без запятой смысл состоял бы в том, что мы, испытывая большое облегчение, наконец-то имеем возможность рассмотреть последний вопрос.

Во многих случаях постановка знаков препинания или выбор между знаками оставляет пишущему свободу. Но свобода эта означает лишь то, что в распоряжение пишущего поступило еще одно графическое средство, которое он может употребить для прояснения своей мысли, а вовсе не то, что он можетставить любой знак по собственной прихоти.

Нормы пунктуации закреплены в названных выше «Правилах» и разнообразных справочниках. Мы рекомендуем «Справочник по пунктуации» Д. Э. Розенталя (М., 1984).

§ 5. Орфоэпия

Орфоэпию определяют как «совокупность норм литературного языка, связанных со звуковым оформлением значимых единиц: морфем, слов, предложений. Среди таких норм различают-

ся произносительные нормы (состав фонем, их реализация в разных позициях, фонемный состав отдельных морфем) и нормы суперсегментной фонетики (ударение и интонация)⁶.

Поясним это определение. Итак, различают произношение и ударение (об интонации скажем несколько слов в конце параграфа). Вот пример, связанный с произношением. На юге сохраняется диалектное произношение фонемы «г» – «г» фрикативное, похожее на звук, обозначаемый в некоторых европейских языках буквой h. При оглушении этого звука получается «х»: «на юхе», «юх». Литературное произношение предполагает взрывное произношение «г», которое оглушается в «к»: «снега», «сnek». Лишь в немногих словах следует произносить фрикативное «г»: «Бох». Под «реализацией фонем в отдельных позициях» подразумевается, например, произношение «о» в безударном положении. В литературном произношении: «вада», в окающих говорах: «вода». Говоря о реализации отдельных морфем, имеют в виду случаи типа «что» и «што» (норма).

Особые сложности связаны с ударением. В русском языке ударение разноместное и к тому же подвижное (в разных формах одного слова оно может падать на разные слоги). На письме ударение с восемнадцатого века в большинстве текстов не фиксируется. Все это и осложняет ситуацию.

Об ударении можно узнать и в обыкновенном орфографическом словаре, но следует помнить, что словарь дает одну (начальную, или словарную) форму слова и не дает ударения во всех остальных словоформах. О произношении в орфографическом словаре ничего узнать нельзя.

Существуют специальные орфоэпические словари, отражающие ударение и произношение. Мы рекомендуем «*Орфоэпический словарь русского языка* под редакцией Р. И. Авансова, 6-е изд. М., 1999.

⁶ Л.Л. Касаткин Орфоэпия // Русский язык... с. 307.

Интонация – это совокупность просодических средств предложения, главным из которых является тон. Являясь многофункциональным и сильным инструментом, интонация тоже подчиняется норме, но эта норма не отражается в словарях. Сведения о ней можно почерпнуть в академической грамматике «Русская грамматика», т. 1, (М., 1980) и в учебном пособии Н. В. Черемисиной-Ениколовой «Законы и правила русской интонации» (М., 1999).

§ 6. Выбор грамматических форм

Выбор грамматических форм тоже допускает варианты и в ряде случаев вызывает затруднения. Например, затруднение вызывает отнесение несклоняемого существительного к тому или иному роду и, соответственно, выбор формы для зависимого от него слова: «мой какаду» (норма), «мое какаду» (ошибка), «моя какаду» (возможно, если имеется в виду особь женского пола). Варианты возникают при выборе падежных форм (выпить коньяка – коньяку, находиться в саду – саде). Сложности возникают в связи с существованием разных типов склонения и спряжения. Так, разноспрягаемые глаголы «бежать» (в единственном числе спрягается по второму спряжению, во множественном – по первому) и «хочетъ» (в единственном спрягается по первому, во множественном – по второму) дают просторечные формы «бежат» и «хочут».

Для того чтобы справиться с грамматическим нормой, обыкновенного словаря может оказаться недостаточно, а что касается правил, то в них, естественно, не отражены особенности каждого конкретного слова. Существуют специальные грамматические словари. Таков «Грамматический словарь русского языка. Словоизменение» А. А. Зализняка (М., 1987). Можно рекомендовать «Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка» А. В. Текучева и Б. Т. Папова (М., 1985).

Глава 3. Уместность речи

§ 1. Функциональный стиль

В связи с категорией уместности встает вопрос о соответствии речи речевой ситуации. В самом деле, речь может быть абсолютно грамотной, но совершенно неуместной. Бессмысленно говорить с политической трибуны сухим научным языком, неуместен разговорный язык в научной дискуссии, невозможна деловая записка, написанная цветистым стилем и т.д. Иными словами, уже в пределах правильного литературного языка встает вопрос о выборе тех языковых средств, которые уместны в данной речевой ситуации.

При типизации речевых ситуаций основополагающим становится понятие сферы общения, а самым общим понятием становится функциональный стиль.

«Функциональный стиль – разновидность литературного языка, в которой язык выступает в той или иной социально значимой сфере общественно-деловой практики людей и особенностями которой обусловлены особенностями общения в данной сфере»⁷. Это определение позаимствовано нами из «Лингвистического энциклопедического словаря», в нем констатируется выделение функционального стиля внутри литературного языка. Определение ссылается на понятие «социально значимая сфера общественно-деловой практики людей». Речь идет об официально-деловой сфере, о научной сфере, о сфере массовой коммуникации и сфере неофициального общения. Соответственно, выделяют официально-деловой стиль, научный стиль, газетно-публицистический стиль и обиходно-разговорный стиль. Кроме того, иногда говорят о специфическом литературно-художественном стиле, хотя в художественной литературе обыгрываются все функцио-

⁷ В. П. Мурат Функциональный стиль // Лингвистический энциклопедический словарь, М., 1990, с. 567

нальные стили, а сама литература как сфера общения весьма специфична, так как это асимметричное общение, в котором писатель выступает всегда в роли говорящего, а читатель всегда в роли слушающего.

Читателей «Политической риторики» прежде всего должен интересовать газетно-публицистический стиль.

Публицистический стиль определяется как «исторически сложившаяся разновидность литературного языка, обслуживающая широкую сферу общественных отношений: политических, экономических, культурных, спортивных, повседневного быта и др. Публицистический стиль используется в общественно-политической литературе, периодической печати (газеты, журналы), радио- и телепередачах, документальном кино, некоторых видах ораторской речи (например, в политическом красноречии)⁸

Наиболее яркой чертой этого стиля является оценочность. Такие оценочные слова, как «дешевый» (в значении «низкопробный»), «благородный», «трусливый», «подачка», «шутовство», «чаяние» и т.п., не характерны ни для научного, ни для делового стиля.

Другой яркой стилевой чертой публицистического стиля является призывность, обращенность к волевой и эмоциональной сферам реципиента. Деловой стиль тоже вовлекает волевую сферу человека. Например, приказ или запрос предполагает определенные ответные действия реальные или словесные. Но при этом он не опирается на сферу эмоций. Художественный стиль обращен именно к сфере эмоций, но никаких действий со стороны читателя не предполагает. Описание особенностей публицистического стиля можно найти в следующих книгах: «Язык и стиль средств массовой информации и пропаганды» (под ред. Д. Э. Розенталя (М., 1980); Вакуров В. Н., Кохтев Н. Н., Солга-

ник Г. Я. «Стилистика газетных жанров» (М., 1978); Лазарева Э. А. «Системно-стилистические характеристики газеты» (Екатеринбург, 1993).

«Официально-деловой стиль – один из функциональных стилей литературного языка, обслуживающий сферу письменных официально-деловых отношений. В соответствии с их характером принято различать три подстила: канцелярско-деловой, юридический, дипломатический⁹. Такое определение дает энциклопедия «Русский язык».

Главные особенности официально-делового стиля связаны с его тремя функциями: арбитражной, координационной и эвфемистической. Арбитражная функция особенно важна для канцелярско-делового и юридического подстила. Термины этих подстила «приказ», «приговор», «закон» являются точными деловыми обозначениями, за каждым из которых стоит определенная административно-правовая реальность, и поэтому могут выступать в роли арбитров при возможных спорах. Координационная функция также важна для этих подстила, в первую очередь – для канцелярско-делового. С помощью этой функции осуществляется координация делопроизводства, требующая унификации выражений, выработки штампов делового языка. Эвфемистическая функция – сглаживание в речи острых углов, употребление взаимоприемлемых форм выражения – особенно важна для дипломатического стиля.

В связи с официальным стилем можно порекомендовать следующие книги: Рахманин Л. В. «Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов» (М., 1988); Веселов П. В. «Аксиомы делового письма: культура делового общения и официально-деловой переписки» (М., 1993).

Что касается стиля научного, то его основные особенности – точность и доказательность. Центральная проблема научного стиля – проблема терминологии. Думается, что для изучающих

⁸ Н.Н. Кохтев Публицистический стиль // Русский язык... с. 399

⁹ Б.С. Шварцкопф. Официально-деловой стиль // Русский язык... с. 312.

политическую риторику этот стиль интереса не представляет. Обиходно-разговорный стиль как самостоятельная категория тоже не представляет собой интереса для практического владения риторикой. Вопрос здесь может стоять лишь о границах применимости разговорной лексики и разговорной манеры в публичном слове оратора. Выше мы касались этого вопроса в связи с применимостью просторечия. Никаких специальных разработок на этот счет, заслуживающих внимания начинающего, нет.

§ 2. Высота стиля. Смешение стилей. Квазистили

Наряду с делением стилей по сферам общения существует шкала, определяющая высоту стиля, что также связано с уместностью. Высота стиля определяется темой речи и отношением к ней. Неуместно, например, говорить о бытовых предметах высоким языком. Никто не скажет ребенку: «О мой длани, чадо!», но скажут: «Вы мой руки!» Неуместно, напротив, говорить сниженным стилем о высоком. Нельзя сказать: «Национальные святыни и прочие прибамбасы».

С античных времен принято выделять три стиля, и это отражалось в различных риторических системах. В первоисточнике это были азианский, аттический и родосский стили, характеризующиеся, соответственно, цветистостью, скучностью и уравновешенностью. В русской риторической и стилистической традиции этому соответствуют «три штиля» Ломоносова: высокий, низкий и средний. Ломоносовская теория «трех штилей» проектировала стилистическую трихотомию на ситуацию русского двуязычия (церковнославянский – собственно русский).

Высокий стиль у нас и сегодня создается за счет церковнославянских элементов. Многие слова русского языка образуют синонимические пары, в которых одно слово высокое, другое – среднее, например: глава – голова, чело – лоб, длани – рука, врата – ворота и т.д. В ряды синонимов входят также и слова со снижен-

ным значением, принадлежащие просторечию: голова – башка, лоб – лбяра, рука – грабля и т.п. Использование таких слов создает низкий стиль. Вообще, для того чтобы играть на стилевых регистрах, надо владеть всем богатством синонимических средств языка. Подспорьем здесь могут оказаться словари синонимов. Это такие словари, как З. Е. Александрова «Словарь синонимов русского языка» (М., 1995; «Словарь синонимов. Справочное пособие» под ред. А. П. Евгеньевой (М., 1976).

Сочетание в одном тексте элементов высокого и низкого стиля, а также элементов различных функциональных стилей, явно имеющих разные функции (например, научного и обиходно-разговорного), называется смешением стилей. Такое смешение бывает непреднамеренным и снижает качество текста. Выше приводились случаи, когда высокие слова публицистического стиля смешиваются с заведомо нейтральными в отношении высоты стиля канцеляризмами. Но смешение стилей может быть и преднамеренным таким образом достигается комический эффект. Часто так высмеивается оппонент.

Другим проявлением стилевой игры являются квазистили. Квазистили – это пародирование функциональных стилей. В художественной литературе часто пародируется деловой стиль, когда его черты доводятся до нелепости или он применяется не в своей области. Пародируется также научный стиль и даже публицистический.

§ 3. Функциональная стилистика и культура речи

Вопросами стиля ведает специальная наука – стилистика. В частности, функциональными стилями занимается функциональная стилистика языка. Для практического владения языком большее значение имеет так называемая практическая стилистика, или стилистика языковых единиц (лексических, синтаксических и т.д.), функционирующих в текстах разных типов. Можно

порекомендовать выдержавший пять изданий учебник Д. Э. Розенталя «Практическая стилистика русского языка» (М., 1989), а также работу М. Н. Кожиной «Стилистика русского языка» (М., 1993).

Вопросами уместности наряду со стилистикой занимается особая научно-практическая дисциплина – культура речи. Энциклопедия «Русский язык» дает следующее определение культуры речи: «Область языкоznания, занимающаяся проблемами нормализации речи, разрабатывающая рекомендации по умелому пользованию языком. Культура речи содержит в себе, таким образом, три составляющих компонента: нормативный, этический и коммуникативный»¹⁰.

Как видим, объем понятия «культура речи» несколько шире интересующего нас аспекта. Нормативную сторону мы уже рассмотрели в разделе «правильность». Под этическим аспектом здесь понимается этика общения, или речевой этикет. Речевой этикет проявляется в таких речевых актах, как приветствие, прощание, извинение, просьба, благодарность, поздравление. Правила речевого этикета продиктованы общественными привычками. В качестве пособий по речевому этикету можно порекомендовать следующие две книги, выдержавшие по три издания: Акишина А. А., Формановская Н. И. «Русский речевой этикет» (М., 1975); Акишина А. А., Формановская Н. И. «Этикет русского письма» (М., 1979).

Под коммуникативным аспектом понимается учет функционального расслоения языка и прагматических условий общения. В этом смысле девизом культуры речи могут быть слова известного филолога Г. О. Винокура: «Для каждой цели – свои средства, таков должен быть лозунг лингвистическикультурного общества». По культуре речи мы рекомендуем следующую книгу: «Культура русской речи», учебник для вузов под редакцией Л. К. Граудина, Е. Н. Ширяев (М., 1999).

¹⁰ Е.Н. Ширяев Культура речи // Русский язык... с. 204.

Глава 4. Красота политической речи

§ 1. Красота как качество речи

Красота, ясность и уместность как качества политической речи. Составляющие красоты политической речи. Источники красоты политической речи

Эффективность речи зиждется на четырех качествах: правильности, ясности, уместности и красоте. Как уже не раз отмечалось, для риторики ключевым качеством является ясность. Именно она непосредственно связана с убедительностью.

Правильность лишь избавляет речь от неприятных черт. Низкая речевая культура, конечно, производит плохое впечатление, в конечном счете снижает и убедительность речи. Правильность, грамотность политической речи – одно из её необходимых качеств. Разумеется, этого качества недостаточно для того, чтобы слово убеждало.

Уместность снижает вероятность коммуникативных неудач, избавляет говорящего от смешных положений, подобных объяснению в любви канцелярским языком. Неуместность политической речи – один из ее пороков, но одной уместности мало, чтобы убедить своего собеседника.

Красивая речь тоже сама по себе не убеждает. Скорее она доставляет удовольствие. Но – и это тоже отмечалось в начале нашей книги – красота вполне может рассматриваться как дополнительный, факультативный источник убедительности. К красивой речи прислушиваются, ее запоминают, к ней охотно возвращаются.

Есть и еще одна причина для специального разговора о красоте политической речи. Дело в том, что это качество общественно-го дискурса до сих пор находится у нас в глубоком в дефиците. Это объясняется рядом причин и прежде всего недостаточной

окультуренностью зоны делового языка. Высокие нравственные категории выражались либо на языке церкви, либо на языке художественной литературы. Деловой язык развивался в отрыве от «этосных» формул на базе спорадических заимствований из западноевропейских языков. Единый язык права и морали до сих пор не сформировался. Политическая речь, практикуемая сегодня, изобилует словами и выражениями канцелярского или – что не лучше – научного стиля. В сочетании с высокой пафосностью и аргументацией к этосу, к народным традициям и тот и другой стили выглядят нелепо. Получается что-то вроде «не пощадим живота своего ради малоимущих граждан и бюджетников». Смешение высоких слов с бытовыми издавна было источником комизма. Сегодня комично выглядят политические выступления, в которых необработанная деловая речь сочетается с попыткой говорить торжественно или апеллировать к национальным традициям. Но есть случаи, когда политик просто не может не говорить высоким слогом, не может не апеллировать к народу.

Красота речи складывается не только из правильного выбора слов, но и из эвритмии и эвфонии.

Эвритмия – это достижение гармоничного ритма речи, это хороший синтаксис, уравновешенные, правильно организованные предложения. Основные требования к эвритмии – это соблюдение соразмерности в предложениях, использование так называемого исоколона, когда синтаксическое членение речи (на простые предложения, словосочетания) совпадает с ритмическим членением, так что выделяются ритмически соразмерные части – колоны.

«Верьте нам, Государь, мы приложим все наши силы, все наши познания, весь наш опыт, чтобы укрепить обновленный Манифестом 17 октября Вашею Монаршею волею государственный строй, успокоить отечество, утвердить в нем законный порядок, развить народное просвещение, поднять всеобщее благосостояние, упрочить величие и мощь нераздельной России и тем

оправдать доверие к нам Государя и страны» (из текста приветственного адреса, обсуждаемого в Государственной думе 13 ноября 1907).

Однородные члены *все наши силы, все наши познания, весь наш опыт* ритмически уравновешены. Это триколон – исоколон, состоящий из трех частей. Обычно трехчастные конструкции передают идею замкнутости. Далее, вслед за *укрепить... государственный строй* снова идет ряд однородных членов, уравновешенных синтаксически, однако последней однородный член *упрочить величие и мощь нераздельной России и тем опправдать доверие к нам Государя и страны* ритмически выбивается из всего ряда. Такой прием называется *синтаксическим уравновешиванием*: длинный отрезок уравновешивает предшествующие короткие, избавляя слушателей от утомительной симметрии. Вообще всю эвритмию можно рассматривать как игру в симметрию – асимметрию высказывания. Принцип эвритмии таков: соблюсти достаточно симметрии, чтобы не было ощущения хаоса и достаточно асимметрии, чтобы не было ощущения механистичности.

Эвфония – это благозвучие, достижение приятного звучания речи за счет правильного подбора и сочетания звуков. Первая задача эвфонии – избежать заведомо неблагозвучных звукосочетаний. Это неблагозвучие может быть чисто фонетическим. Например, для русского языка не характерно скопление гласных звуков (так называемое зияние): например, *просить разрешения у ООН*. Неблагозвучно и избыточное скопление согласных без гласных: *с вспомогательными мерами*. Неблагозвучие может возникать также по причине нежелательных лексических ассоциаций. Вторая задача эвфонии сложней: надо не только избежать неблагозвучия, но и создать благозвучие. Это достигается звуковыми повторами, введением и сменой звуковых тем. Приятна для слуха та речь, в которой звуки чередуются не хаотично, но располагаются как сменяющие друг друга ряды ненавязчивых повторов. Такая эвфония свойственна высокохудожественным текстам. Для политической речи она существует лишь как идеал.

Для создания красоты политической речи особенно значимы правильный выбор слов и хороший синтаксис.

Можно ли научиться говорить красиво? Известный афоризм Цицерона гласит, что поэтами рождаются, ораторами становятся. Стать поэтом, конечно, нельзя. Но можно указать образцы для подражания. Это будет правильней, чем выстраивать курс поэтики для политических ораторов. Поэтому наша цель – указать читателю на источники красоты русской политической речи. Таких источников по большому счету два: древнерусская литература и русская классика. Причем если первая может служить лишь очень общим стилевым ориентиром, то вторая дает образцы и для прямого подражания, своеобразные прописи.

§ 2. Древнерусская литература как источник красоты политической речи

Стиль монументального историзма и эмоционально-экспрессивный стиль древнерусской литературы. Размах, сочетание разномасштабности и ритмическое равновесие как черты монументального стиля

Древнерусское политическое красноречие существовало в совершенно ином политическом и языковом контексте, чем наше. Оно представляло собой торжественные и учительные «слова», обращенные к единомышленникам, широко опиралось на библейский контекст, не содержало сложных политический идей. Тем не менее в нем можно увидеть образцы, на которые впоследствии ориентировались многие ораторы.

Древнерусская литература знала два больших стиля. Их называют еще стилями эпохи, или эпохальными стилями, поскольку они были не индивидуальной характеристикой отдельных авторов или даже школ, но принадлежали целой эпохе, определяя в ней и особенности словесности, и особенности архитектуры,

и особенности живописи и даже, в известной степени, особенности образа жизни человека соответствующей эпохи. Эти стили подробно описаны в работах Д. С.Лихачева.

Первый стиль получил название стиля монументального историзма. В Западной Европе ему соответствует романский стиль. Этот стиль определял речевую культуру Киевской Руси. Слово «монументальный» подразумевает присущий этому стилю размах, обращение к огромным географическим и времененным масштабам. Слово «историзм» имеет в виду опору на исторический контекст и прежде всего на священную историю. Сутью этого стиля была демонстрация величия Бога и созданного им мира. Человек должен был чувствовать свою малость и вместе с тем сопричастность вечности.

Второй стиль получил название эмоционально-экспрессивного. В Западной Европе ему соответствует готика. Именно проявлением этого стиля был знаменитый стиль «плетения словес». Эмоционально-экспрессивным он назван из-за эмоциональной насыщенности. Авторы, исповедующие этот стиль, пытались передать экстатическое религиозное чувство, выразить невыразимое. В этом стиле повторы и амплификации достигают такой концентрации, что происходит как бы десемантизация слова. Прямое значение слова ослабляется, и слово становится знаком эмоционального напряжения.

В современной ситуации из двух названных стилей образцом может, наверное, послужить первый, да и то образцом не для обычной политической речи, а для речи сугубо торжественной.

Вот фрагмент из описания Русской земли в «Слове о погибели русской земли», выдержаный в стиле монументального историзма:

«Отсюда до угров и до ляхов, до чехов, от чехов до ятвягов, от ятвягов до литовцев, до немцев, от немцев до карелов, от карелов до Устюга, где обитают поганые тоймичи, и за Дышиацее море, от моря до болгар, до бургусов, от бургусов до черемисов, от черемисов до мордвы – то все с помощью Божьей покорено было христианскому народу...»

Здесь характерна сама синтаксическая формула «от и до» (ср.: «от тайги до британских морей») и обилие названий всевозможных народов. Подобные перечисления (в риторике их называют энумерациями) создавали особую красоту, многоцветность описания. Уже в семнадцатом веке этим приемом пользуются авторы упомянутой нами «Повести об Азовском осадном сидении донских казаков». Они так же подробно перечисляют ополчившихся на них неприятелей. Некоторую тягу к энумерациям можно заметить в красноречии имперского периода, а также периода советского, особенно в связи с темами союзных республик и вообще этнического и природного богатства СССР.

Одной из ярких примет стиля монументального историзма было сочетание большого и малого, сведение разных по масштабу конфигураций в единый ансамбль. Это проявлялось и в городской застройке, и в способе организации текста. Например, в русском летописании под разными годами стояли неравномерные по значимости и объему тексты. Были «пустые годы», когда ставилась одна только дата, или годы, которым соответствовала краткая запись. И в то же время встречались такие тексты, как знаменитая «речь философа», т.е. рассказ об основах христианской веры. В этом разномасштабном сплетеении состояла особая красота стиля монументального историзма, игра на контрастах большого и малого. На синтаксическом уровне это проявлялось в приеме «синтаксического равновесия», когда череда длинных фраз неожиданно замыкалась короткой, а короткие фразы уравновешивались длинными. Это создавало особую ритмичность ораторской прозы. Иногда такую ритмичность называют русским молитвенным стихом. В игру «великое и малое» охотно, хотя и не всегда успешно, играла и советская риторика

Вот ритмизованный отрывок из «слова» оратора киевской школы Серапиона Владимирского:

«Если кто из вас разбойник – разбоя не бросит, если крадет – воровства не оставит, если кто обижает и грабит – не насы-

тится, если кто ростовщик – не перестанет проценты взимать, ибо, согласно пророку «Суетятся бесцельно, накопляя, не знает, кому собирает».

Для этого отрывка, как и для стиля в целом, не характерна механически воспроизводимая симметрия текста (ср. гораздо более слабое: «Если кто разбойник – разбоя не бросит, если кто крадет – воровства не оставит, если кто обижает – продолжит обижать, если кто грабит – не оставит грабить»). Игра в симметрию – асимметрию не была свойственна советской риторике. Постепенно в нашем дискурсе возобладало именно механическое воспроизведение симметричных конструкций либо полная аморфность.

В выборе слов стиль монументального историзма был относительно аскетичен. Отсутствовали чрезмерно утяжеленные эпитеты, слишком яркие краски. Постоянно ощущался библейский контекст. Это проявилось и в открытом цитировании со ссылками на библейские книги и в цитировании скрытым.

«Прославляет похвальными словами Римская сторона Петра и Павла, которыми приведена она к вере в Иисуса Христа, сына Божия, восхваляют Азия, Эфес и Патамос Иоанна Богослова, Индия – Фому, Египет – Марка. Все страны и города, и люди чтут и славят каждого из своих учителей, которые научили их православной вере. Восславим же и мы по силе нашей своими малыми похвалами великое и дивное совершившие – нашего учителя и наставника, великого князя земли нашей – Владимира, внука старого Игоря, сына же славного Святослава, которые в свое время владычествуя, мужеством и храбростью прославились во многих странах, их победу и силу вспоминают и поныне и славят».

Это отрывок из «Слова о законе и благодати» митрополита Иллариона. Он открывается знакомой нам зевгмой, сочетающейся с ритмическим равновесием. Монументальный историзм проявляется в постоянном присутствии масштаба.

Думается, что буквально подражать данному стилю не имеет смысла, но он задает некоторую стилистическую парадигму, ко-

торая окажется полезной в тех случаях, когда возможна и потребна достаточная высота стиля.

Подведем итог тому, что может быть заимствовано. Это масштабность («от и до»), энумерации, игра на контрастах большого и малого, игра на асимметрии – симметрии, ритмизация ораторской прозы.

§ 3. Русская классическая литература как источник красоты политической речи

Пушкинская, карамзинская, гоголевская и толстовская линии и их стилевые доминанты

Художественные стили русской классической литературы не поддаются такому простому исчислению, как стили древнерусские, ибо в новой литературе мы имеем дело не со стилями эпохи, а с индивидуальной манерой каждого автора. Мало помогает в этом и представление о литературных направлениях: классицизме, сентиментализме, романтизме и реализме. Внутри этих направлений нет стилевого единства. Так, синтаксис реалиста Тургенева меньше похож на синтаксис реалиста Толстого, чем на слог сентименталиста Карамзина. И все же, чтобы политическая риторика могла вынести какой-то урок из лучших образцов русской прозы, нужна определенная систематика. Имея в виду такую чисто рабочую систематику, мы и наметим ряд линий, по которым условно можно расположить индивидуальные стили русских писателей.

Первую линию обозначим как пушкинскую. Ее стилистические приоритеты – краткость и точность. Вспомним слова самого Пушкина: «Краткость и точность – вот первые достоинства прозы». Синтаксис, присущий этой стилевой манере, отличается обилием простых, коротких предложений, большим удельным весом сказуемых, отчего язык приобретает особый динамизм. Большая смысловая нагрузка ложится на определения и обстоя-

тельства, так как эти члены предложения призваны заострять и конкретизировать мысль. Пушкинские эпитеты «поток проворный», «ветреная младость», «ума холодные наблюдения», «горестные заметы сердца», «однообразный и безумный» ритм мазурки – это не простые украшения, не простые довески, придающие словам нужную долю изобразительности, а предельно точные классификаторы. И в поэзии, и в художественной прозе, и в письмах они выполняют одни и те же функции – передают точные оттенки смысла. Пушкинская стилевая линия – это ориентации на лаконизм и благородную простоту. Последние качества в высокой степени присущи прозе Чехова. Кredo этой линии – ничего лишнего. Все, что есть, предельно нагружено смыслом. Слово предельно ответственно.

Вот хрестоматийный отрывок из «Капитанской дочки», дающий представление об описываемом стиле:

«Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было сперва за отдаленный холмик. Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало буран. Я слыхал о тамошних метелях и знал, что целые обозы бывали ими занесены. Савельич, согласно со мнением ямщика, советовал воротиться. Но ветер показался мне не силен; я понадеялся добраться заблаговременно до следующей станции и велел ехать скорее. Ямщик поскакал; но все поглядывал на восток. Лошади бежали дружно. Ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облегала небо. Пошел мелкий снег — и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Все исчезло. «Ну, барин,— закричал ямщик,— беда: буран!»...

Яглянул из кибитки: все было мрак и вихорь. Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным; снег засыпал меня и Савельича; лошади шли шагом — и скоро стали».

Обратим внимание на концентрацию глаголов: «увидел – принял – изъяснил – предвещало – слыхал – знал – бывали – советовал – показался – понадеялся – добраться – велел – поскакал – поглядывал – бежали – становился – обратилось – поднималась – росла – облегла – пошел – повалил – завыл – сделалась – смешалось – исчезло – закричал – выглянул – было – выл – засыпал – шли – стали». Сравним количество глаголов в соизмеримом отрывке из современного газетного текста:

«Междуд тем на прошлой неделе стали известны некоторые другие подробности скандала вокруг энергетической монополии, которые проливают дополнительный свет на подоплеку этого скандала. В прессе высказываются предположения, что близкие к Кремлю алюминиево-нефтяные магнаты Абрамович и Дерипаска крайне не заинтересованы в реформе РАО «ЕЭС», поскольку она может ударить по прибылям алюминиевой монополии «Русский алюминий», которой владеют Абрамович и Дерипаска. Расходы на энергетику являются основной составляющей при производстве алюминия, и чем дешевле электричество, тем выше выручка «Русала». Отсюда стремление «Русала» поставить под свой контроль гидроэлектростанции, поставляющие электричество на все заводы Красноярской, Иркутской и Саяно-Шушенской ГЭС. Реформа Чубайса может лишить их такой возможности и привести к повышению тарифов на электроэнергию для предприятий «Русала» в два-три раза, а следовательно, и к снижению прибыли Абрамовича и Дерипаски».

Цепочка глаголов: «стали – проливают свет – высказывают – заинтересованы – ударить – владеют – являются – поставить – может – лишить – привести».

Предложения Пушкина гораздо проще и легче, чем процитированный газетный текст. Обратим внимание и на то, что на весь отрывок у Пушкина всего одно сравнение. А ведь это текст художественный! Сравнение, как и эпитеты, отличается простотой и точностью: «Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным». Пушкин избегает избитых сравнений, ли-

тературных штампов, модных перифразисов. На последние он часто обрушивался в своих письмах. Если нет какого-то особого перифразиса, заостряющего мысль, то зачем вообще прибегать к этому приему, к тропу – вот мысль Пушкина, которую разделяют с ним авторы названной стилевой линии. Авторы, следующие этим эстетическим идеалам, никогда не станут без особой нужды называть нефть «черным золотом», телевизор «голубым экраном», а места вооруженных столкновений «горячими точками планеты».

Вторую линию условно можно назвать карамзинской. Ее кредо – гладкость, приятность, удобочитаемость. Синтаксис авторов этой линии напоминает езду в удобном экипаже с хорошими рессорами. Фразы бывают длинны, встречается много сложносочиненных предложений, но главная задача писателя заключается в том, чтобы читатель чувствовал себя покойно. Отсюда тщательная отделка фразы, внимание к ее звучанию и ритмическому рисунку. Этот стиль достиг своего расцвета в прозе Тургенева, но черты его можно найти и в «Герое нашего времени», и у Гончарова, и в русской мемуаристике. Вообще эта стилевая линия представлена в русской литературе девятнадцатого века достаточно широко. Именно она содержит в себе наиболее дефицитные сегодня качества речи: заботу о читателе, внутреннее спокойствие автора, отсутствие какой бы ни было судорожности, истерики, несуettность, плавность изложения.

Приведенный ниже отрывок взят из знаменитой повести Карамзина «Бедная Лиза»:

«Но всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные, готические башни Си...нова монастыря. Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, которая представляется глазам в образе величественного амфитеатра: великолепная картина, особенно когда светит на нее солнце, когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных златых куполах, на бесчисленных крестах, к небу возносящихся! Внизу расстилаются тучные, густозеленые цветущие луга, а за ними, по желтым пескам, течет

светлая река, волнуемая легкими веслами рыбачьих лодок или шумящая под рулем грузных стругов, которые плывут от плодоноснейших стран Российской империи и наделяют алчную Москву хлебом. На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленные стада; там молодые пастухи, сидя под тению дерев, поют простые, унылые песни и сокращают тем летние дни, столь для них единообразные. Подалее, в густой зелени древних вязов, блестает златоглавый Данилов монастырь; еще далее, почти на краю горизонта, синеются Воробьевы горы. На левой же стороне видны обширные, хлебом покрытые поля, лесочки, три или четыре деревеньки и вдали село Коломенское с высоким дворцом своим».

Нас не должна смущать некоторая архаичность этого текста, создаваемая устаревшими формами слов и инверсиями. Обратим внимание на его спокойный, ритмически уравновешенный синтаксис. Описание не петляет: о каждой веци сказано весомо и один раз. Хотя описание статично, мы ощущаем плавное движение, которое нигде не останавливается и ничем не затруднено.

Следующую линию можно назвать гоголевской. Она пафосна и патетична. Это стиль риторичный в узком смысле этого слова. Если карамзинской линии предшествуют некоторые тенденции древнерусской литературы позднего периода – кроткий и спокойный житийный стиль, то гоголевская линия уходит корнями в еще более глубокие пласты древней литературы. Для гоголевской линии характерен внешне неровный синтаксис, напоминающий асимметрию средневековой ритмической прозы с ее обилием вопросов и восклицаний, с яркой, эмоциональной лексикой, с красочностью и гротеском. Именно эту линию разрабатывает – не всегда успешно – актуализующий синтаксис современной прозы. Если пушкинская линия предполагает эпиграмматическое острумие, если карамзинской свойственна ирония, то патетическая линия Гоголя допускает и предполагает безудержный смех и даже ерничество, восходящее в своей стилевой манере к «Молению» Даниила Заточника.

«Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он составляет все. Чем не блестит эта улица — красавица нашей столицы! Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта. Не только кто имеет двадцать пять лет от роду, прекрасные усы и удивительно синий сюртук, но даже тот, у кого на подбородке выскакивают белые волосы и голова гладка, как серебряное блюдо, и тот в восторге от Невского проспекта. А дамы! О, дамам еще больше приятен Невский проспект. Да и кому же он не приятен? Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гуляньем. Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но, взошедши на него, верно, позабудешь о всяком деле. Здесь единственное место, где показываются люди не по необходимости, куда не загнала их надобность и меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург. Кажется, человек, встреченный на Невском проспекте, менее эгоист, нежели в Морской, Гороховой, Литейной, Мещанской и других улицах, где жадность, и корысть, и надобность выражаются на идущих и летящих в каретах и на дрожжах. Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга. Здесь житель Петербургской или Выборгской части, несколько лет не бывавший у своего приятеля на Песках или у Московской заставы, может быть уверен, что встретится с ним непременно. Никакой адрес-календарь и справочное место не доставят такого верного известия, как Невский проспект. Всемогущий Невский проспект! Единственное развлечение бедного на гулянье Петербурга! Как чисто подметены его тротуары, и, Боже, сколько ног оставило на нем следы свои! И неуклюжий грязный сапог отставного солдата, под тяжестью которого, кажется, трескается самый гранит, и миниатюрный, легкий, как дым, башмачок молоденькой дамы, оборачивающей свою головку к блестящим окнам магазина, как подсолнечник к солнцу, и гремящая сабля исполненного надежд прaporщика, проводящая по нем резкую црапину,— всё вымешивает на нем могущество силы или могущество

во слабости. Какая быстрая совершается на нем фантастическая в течении одного только дня!»

Это отрывок из «Невского проспекта» Гоголя. Сразу обращает на себя внимание обилие восклицаний, гиперболических эпитетов и гипербол: «всемогущий Невский проспект», сапог, под тяжестью которого трескается гранит, «никакой адрес-календарь и справочное место не доставят такого верного известия, как Невский проспект». Все это говорится в быстром темпе, фразы обрушаются каскадом, сравнения экспрессивны («голова гладка, как серебряное блюдо»). Характерно появление лирического «я»: автор говорит от первого лица, включает себя в повествование. Это тоже одна из черт патетического стиля.

Наконец, можно выделить линию, доминантой которой является договаривание до конца, предельная безыскусность стиля, граничащая с тяжеловесностью, но свидетельствующая об искренности и додумывании мысли до ее логического конца. Это толстовская линия. Ее красота в обаянии умственной честности, в отсутствии лукавства. Ключевое слово здесь – обнаженная правда.

Вот известное рассуждение Льва Толстого из романа «Война и мир»:

«И благо тому народу, который не как французы в 1813 году, отсалютовав по всем правилам искусства и перевернув шапку эфесом, грациозно и учтиво передает ее великодушному победителю, а благо тому народу, который в минуту испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие в подобных случаях, с простотою и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорблений и мести не заменяется презрением и жалостью.

Стоит только признать, что цель волнения европейских народов нам неизвестна, а известны только факты, состоящие в убийствах, сначала во Франции, потом в Италии, в Африке, в Пруссии, в Австрии, в Испании, в России, и что движения с запада на восток и с востока на запад составляют сущность и цель этих событий, и нам не только не нужно будет видеть исключи-

чительность и гениальность в характерах Наполеона и Александра, но нельзя будет представить себе эти лица иначе, как такими же людьми, как и все остальные; и не только не нужно будет объяснять случайности тех мелких событий, которые сделали этих людей тем, чем они были, но будет ясно, что все эти мелкие события были необходимы.

Отрешившись от знания конечной цели, мы ясно поймем, что точно так же, как ни к одному растению нельзя придумать других, более соответственных ему, цвета и семени, чем те, которые оно производит, точно так же невозможно придумать других двух людей, со всем их прошедшим, которое соответствовало бы до такой степени, до таких мельчайших подробностей тому назначению, которое им предлежало исполнить».

Перед нами три абзаца, каждый из которых представляет собой большое и громоздкое по структуре предложение, но ощущения некрасивости, словесной нагроможденности нет. Сложный синтаксис удерживается единством мысли и убежденности автора, который говорит только о том, в чем он глубоко уверен, и только то, что он глубоко продумал. В первом и третьем абзаце автор прибегает к уподоблению. Это ориентация на притчевое изложение, восходящая к евангельской традиции и подкрепленная древнерусским красноречием.

Помимо перечисленных, можно, наверное, выделить и другие стилевые линии. Можно, видимо, и оспорить предложенные. Но цель, которую мы здесь преследовали, проста: для политической риторики необходимо дать определенные, пусть самые общие, стилевые ориентиры. Для этого и были намечены четыре линии и приведены образцы стилей. Думается, что эта классификация по крайней мере позволит уловить общий дух тех направлений, в которых может совершенствоваться политический слог.

Вместо заключения

Представление о наивной риторике

- Концепция наивной риторики. Риторическая рефлексия в СМИ.
- Общественное значение наивной риторики в массовом обществе.
- Взаимодействие политического красноречия и наивной риторики

Современная гуманитарная наука испытывает большой интерес к так называемым *наивным картинам мира*, или *наивным моделям мира*. Слово «наивные» означает, что речь идет не о взглядах на те или иные предметы специалистов, обладающих особыми знаниями об этих предметах, а о взглядах обычных носителей языка и культуры. Так, например, с точки зрения «наивной энтомологии» (т.е. с расхожей точки зрения) паук, бесспорно, относится к насекомым, а с точки зрения «наивной ботаники» арбуз никак не является ягодой. Специалисты могут поправлять «обывателей», но даже знание того обстоятельства, что паук относится к особому классу, ничего кардинального в сознании «обывателя» не меняет.

Наивная модель мира привлекает внимание ученых тем, что она «впаяна» в язык: мы автоматически воспроизводим ее, думая и разговаривая на родном языке. Разумеется, наивная картина мира может медленно, исподволь меняться, неспеша следуя за достижениями большой науки. Но язык консервативен, в его распоряжении этимология, «сидящая» в слове, фразеология, зафиксировавшая старый взгляд на мир, наконец, просто речевая привычка. Так, всеобщий астрономический ликбез не отменил заложенного в этимологии представления о «светиле», как о том, что светит, будь то звезда или планета. Мы по-прежнему говорим, что солнце «восходит» или «заходит», хотя и знаем, что именно Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Мы до сих пор говорим о «падающих звездах», хотя знаем, что звезды никуда не падают, падающими звездами мы называем метеоры.

Значение наивной модели мира резко возрастает тогда, когда речь идет о гуманитарной сфере. От того, как большинство людей представляет себе звезды, мало что меняется, а от того, как это же большинство представляет себе общество, зависит многое. Одно дело называть метеор падающей звездой, другое – называть владельца магазина буржуем. В слове «буржуй» запрятано осуждение, представление о незаконном присвоении собственности и возможность (даже общественная необходимость) перераспределения этой собственности. Следовательно, наивная социология имеет гораздо большее значение, чем наивная энтомология или астрономия.

Особую роль играют представления неспециалистов о языке и речи. «Наивная грамматика» позволяет рядовым носителям языка спорить о словах, уточнять значение сказанного, поправлять речевые ошибки собеседника, вообще говорить о языке. Причем благодаря школьному образованию зазор между «обывательскими» представлениями о языке и представлениями о нем специалистов, хотя и велик, но не катастрофичен. Одни только названия частей речи и частей слова, вынесенные нами из школы, позволяют нам говорить о словах, переспрашивать друг друга, просить уточнить сказанное.

Хуже обстоит дело с «наивной риторикой». Школьных знаний о воздействующей речи явно недостаточно для того, чтобы обсуждать реплики в риторическом споре. Такие категории, как «доказывай к пафосу» или «доказывай к логосу» заведомо отсутствуют в общественном дискурсе. Даже журналисты, имеющие филологическое образование, затрудняются ответить на вопрос вроде: «Должна ли журналистика быть этосной?» Что же касается знания обширной – как мог убедиться читатель настоящей книги – терминологии теории фигур, то поддерживать диалог на соответствующем уровне могут пока только узкие специалисты. Даже средний лингвист не ответит на вопрос, что такое иллеизм или антиметабола. Встретившись с этими языковыми явлениями, он вынужден будет рас-

сказывать о них описательно, к чему и прибегали многие ученые до возникновения риторического бума. Так, хиазм еще в шестидесятые годы называли таким неуклюжим словосочетанием, как «оборот каламбурного соотнесения», только из-за того, что термин не был тогда на слуху. Сами авторы курса риторик далеко не всегда и далеко не все чувствуют себя здесь уверенно.

Зазор между риторической теорией и наивной риторикой губительно оказывается на риторической практике. Если интуиция способна помочь в создании речей, то в их обсуждении и содержательной критике она оказывается бессильной. Инструменты, с помощью которых общество может говорить об убеждающей речи, бедны и грубы.

Чем же все-таки располагает наивная риторика?

Среди немногих категорий, которые она имеет в своем распоряжении для описания речей, есть такие категории, как сама «риторика», некоторые категории для описания аргументации и совсем немногие для описания языковых средств.

В обществе распространены представления о риторике, как о наборе искусственных речевых приемов, граничащих с уловками. Вместе с «пиаром» такая «риторика» входит в понятие «словесные технологии». Слово «технология» в оценочном отношении нейтрально. Однако акцентированы в сознании именно «грязные технологии», «грязный пиар», «пустая риторика». Характерно, что эпитет «грязный» относится скорее к «пиару», а «пустой» – к «риторике». «Риторика» бывает «трескучей», «дешевой», «показной» и даже «жалкой».

В общественном сознании «риторика» – это такая технология, которая достигается за счет чисто внешних эффектов в ущерб содержанию и которая очень часто оказывается бесполезной, неэффективной. «Пиар» – это технология, основанная на заведомо «нечестной игре». Однако иногда «риторика» (реже «пиар») оказывается «тонкой», «искусной». Крайне редко «риторика» характеризуется как «безыскусная», тем более «правдивая» («пиар» – никогда).

На периферии «риторики» находятся хорошо известные по советским временам «агитация» и «пропаганда». Под ними наивная риторика понимает насилиственное навязывание каких-то мыслей, часто под прикрытием полезных сведений. «Агитация» и «пропаганда» бывают «скучными», «унтыми», «навязчивыми». Гораздо реже «пропаганда» оказывается «действенной». Как положительные качества речи «пропаганда», и особенно «агитация», связаны с пожеланиями и встречаются в предложениях с ирреальным наклонением: «Необходимо развернуть пропаганду...», «Должна быть проведена целенаправленная агитация...» Как свершившиеся, реальные факты они чаще всего оцениваются отрицательно.

В роли довода в наивной риторике сегодня главным образом выступает «миф». «Мифом» называют и общее место, и политический символ, и общественно значимую метафору, и ложную доктрину, и просто прямую ложь. В наивной риторике категория «миф» в силу своего расплывчатого значения оказывается мало продуктивной. При этом слово «миф» не является нейтральным. «Миф» – это всегда передержка, рассчитанная на простачков. Излюбленная дело СМИ – разоблачение «мифов». При таком разоблачении «мифу» (зачастую обыкновенной метафоре) противостоит «реальность».

Но аргументировать можно не только, опираясь на лживый «миф», но и правдиво, опираясь на «факт» и «логику». Эти две последних категории вполне способны заменить риторический argumentum ad rem. Однако argumentum ad hominem остается для наивной риторики белым пятном. С ее точки зрения, непонятно, имеют ли вообще такие аргументы право на существование, могут ли они считаться вполне лояльными, а если могут, то какие из них. Аргументация к пафосу может быть передана словами «быть на чувства», а чаще ярлыком «нагнетание истерии». Аргументация к этосу практически невидима. И это очень серьезная лакуна наивной риторики, лакуна в общественном сознании.

Вопросом о композиции наивная риторика не занимается, а из речевых средств знает «риторический вопрос», «фигуру умолчания» и «метафору».

Естественной средой наивной риторики являются СМИ. Именно там даются оценки чужим речам, осуществляется в пределах возможного их риторический анализ. Через СМИ штампы наивной риторики входят в сознание. Через СМИ осуществляется сегодня и расширение ее границ.

Следует отметить, что сближение наивной риторики с риторикой научной имеет определенные перспективы. Дело в том, что наивная риторика не имеет такого глубокого проникновения в язык, как, скажем, наивная астрономия. В частности, все отрицательные коннотации концепта «риторика» достаточно позднего происхождения. В свое время неприятие риторики возникло в старообрядческой среде, а вторая волна риторического отрицания была связана с деятельностью писателей-романтиков. В последние сто лет сам интерес к риторике был достаточно незначительным, ложные представления о ней не успели пустить корни. Вот почему в наивной риторике больше белых пятен, лакун, чем искашенных или примитивных представлений, а это открывает благоприятные перспективы для риторического просвещения.

Чем «умней» будет наивная риторика, чем выше будет ее разрешающая способность, способность различать нюансы языка, тем выше поднимется и сама риторическая практика, тем меньше будет коммуникативных неудач, тупиковых ситуаций, когда всякое словесное воздействие оказывается дискредитированным и стороны прибегают к силе. Развитая риторика подобна развитой правовой системе, риторика примитивная, охотно прибегающая к обману и манипуляции, подобна примитивному праву, грубо говоря – «закону джунглей».

Разумеется, наивная риторика никогда не догонит риторику научную. Но этого и не требуется. Для общества не имеет значения, относится ли, например, сравнение к фигурам или тропам.

Но для общества огромное значение имеет сам концепт риторики, то, какое содержание вкладываем мы в понятие риторики, как отличаем мы убеждение от манипулирования, что считаем допустимым, а что нет. Не лишне и представлять себе систему риторической аргументации, иметь общие представления о словесных приемах. Было бы идеальным, если бы наивная риторика находилась на уровне наивной грамматики.

Можно уверенно сказать, что в риторическом просвещении одинаково заинтересованы и говорящий, и слушающий. Наивная, или народная риторика, – естественный спутник массового общества. Общество, в котором язык и информация играют такую важную роль, как сегодня, не может довольствоваться только «жреческой» наукой о языке, наукой для немногих. Чтобы уметь убедительно говорить и критически воспринимать услышанное, потреблен определенный уровень массовой риторической культуры.